

1997

-4

ОКтябрь

ОКтябрь

4 1997

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

4

1997

АПРЕЛЬ

Общественный совет: Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, Р. САГДЕЕВ, Л. САРАСКИНА, Вад. СОКОЛОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е :

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Григорий КАНОВИЧ. Парк забытых евреев. Роман	3
Ольга БЕШЕНКОВСКАЯ. Беззапретная даль. Стихи	58
Алексей ВАРЛАМОВ. Затонувший ковчег. Роман. Окончание	61
Послесловие. Беседа с Алексеем Варламовым	116
Александр ЛЕОНТЬЕВ. Новые стихи. Из книги «Зрение»	118
Евгений НЕКРАСОВ. Некоторые аспекты драконологии. Рассказ	121
Ян ШЕНКМАН. Молитва о прошлогоднем снеге. Стихи	136
Юрий ЧЕРНЯКОВ. Байки смутного времени	137

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

В. Р. ФИЛИППОВ, Е. И. ФИЛИППОВА. Крах российской деревни	149
Ирина МЕДВЕДЕВА, Татьяна ШИШОВА. Эбьюз нерушимый...	159

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Панорама

В. КАНТОР. **Состояние независимости** (Евгений Шкловский. Заложники); Данила ДАВЫДОВ. **Гольдштейн и другие** (Олег Юрьев. Франкфуртский бык); Андрей РАЙЧИН. **Знакомый незнакомец** (Ирина Паперно. Семиотика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи реализма); Валерий ВОЛКОВ. **Маленький человек из Мекленбурга** (Филипп Ванденберг. Золото Шлимана); Наталья КОРНИЛОВА. **Вот другая история** (Подлинные приключения на вымышленных территориях); М. ШАПОВАЛОВ. **Верлен сегодня** (Поль Верлен. Избранное); Анатолий НАЙМАН. **Парад уродов** (Михаил Ямпольский. Демон и лабиринт) 172

Записки литературного человека

Вячеслав КУРИЦЫН. **Медленно, иногда внимательно** 185
Галина ЕРМОШИНА. **Letter** 187

В стиле реплики

Анатолий НАЙМАН. **Витёк и Алик** 189

В несколько строк

Рубрику ведет Б. ФИЛЕВСКИЙ 191

Распространением журнала «Октябрь» в зарубежных странах занимаются государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» и акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах.

Адреса фирм-агентов «Науки-экспорт» вы можете узнать

по факсу: (095) 334-74-79, 334-71-40,

по телефону: (095) 334-76-10, 334-70-49.

Адреса фирм-агентов А/О «Международная книга» —

по факсу: (095) 238-46-34,

по телефону: (095) 238-49-67,

по телексу: 411160.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (заместитель главного редактора),

Н. К. ЛОШКАРЕВА (заместитель главного редактора),

И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь).

Редакция: **А. Н. АНДРЕЕВ** (проза), **И. А. БРЯНСКАЯ** (публицистика),

А. В. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ (критика), **И. Ю. КОВАЛЕВА** (проза).

Технический редактор **Т. С. Трошина.**

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Сдано в набор 03.03.97. Подписано к печати 24.03.97. Формат 70x108%.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.

Тираж 10 310 экз. Заказ № 1295. Цена 14 500 руб.

Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 1794 экз.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор — 214-62-05, заместители гл. редактора — 214-63-64, 214-69-37, ответственный секретарь — 214-34-44, отдел прозы — 214-51-68, отдел поэзии — 214-69-37, отдел критики — 214-71-34, отдел публицистики — 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

Типография издательства «Пресса». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

© «Октябрь». 1997. Электронная версия журнала в: Русский клуб <http://russia.agama.com>.

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Григорий КАНОВИЧ

Парк забытых евреев

РОМАН

Внучке Еве Канович

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Ицхак всегда приходил туда первым. Не потому, что жил ближе всех к Бернардинскому саду, где все дни недели, кроме воскресенья, они собирались под старыми княжескими липами, бесшумно и благостно шелестевшими своими листьями, как ангельскими крыльями, а потому, что он, Ицхак, как служка Мейер, открывал их общую, раскинувшуюся под открытым небом молельню, в которой каждый из собиравшихся был и богомольцем, и раввином, и старцем, и юнцом. Служки Мейера давно не было в живых, но Ицхак неизменно вспоминал о нем с какой-то тихой и благодарной грустью, с почти что греховной завистью: ему, мол, хорошо, он там, у Божьего престола. Ицхак вспоминал Мейера чаще, чем своих родных братьев Айзика и Гилеля, расстрелянных в светлое, прозрачное, как подвенечное платье, утро, при самом въезде в местечко, в березовой рощице, сбегавшей с пригорка прямо к реке, к быстротечной таинственной Вилии, в которой он, Ицхак, неслух, любознательный, как только что родившийся козленок, дважды тонул. Видно, суждено ему было распрощаться с миром не в воде, а на суше, хотя в воде было бы лучше — плывешь себе, как живой, кругом рыбы и водоросли, плотва и уклейки торкаются в твои бока, щечкочут — благодать.

Если бы Ицхаку, безусому долговязому юнцу, кто-то сказал: дотянешь, парень, до восьмидесяти пяти с гаком, дождешься дня, когда твои глаза потускнеют, как припрятанное скупцом серебро, и ты не сможешь отличить, где река, а где небо, Ицхак ответил бы: «На кой черт мне восемьдесят пять несчастий, восемьдесят пять хомутов, которые натирают шею и которые ни на один час не скинешь?!»

В те неразумные времена Ицхак хотел жить столько, сколько птица, — лишь бы щебетать с утра до вечера, лишь бы воспарять все выше и выше. Он не хотел жить столько, сколько лошадь дяди Рахмиэля, что за жизнь, когда тебя день-деньской хлещут кнутом, хотя и кормят досыта и, стреноженную, выпускают на лужайку?

Ицхак Малкин всегда приходил в Бернардинский сад, в эту молельню под липами, первым и потому, что мог какие-нибудь четверть часа спокойно предаваться воспоминаниям, — ему не докучали ненужными вопросами, он был один, как Бог, никого из посторонних вокруг не было, только он и листья, только он и небо, только он и растаявшая в утреннем тумане, изорванная в клочья его жизнь. Правда, никто из тех, кто приходил позже, чем он, не был посторонним, они были для него роднее родных. Да простит ему за такое кощунство Господь, но что толку в мертвых родственниках? Разлетелись в разные стороны и живые — кто в Америку, кто в Канаду, кто в Израиль, кто в Германию, в ту самую Германию, где он, рядовой Красной Армии Ицхак Малкин, встретил По-

беду и где почти что полгода, до самой демобилизации, обшивал полководцев-победителей. Он-то что, все-таки вернулся из Потсдама с трофеем — с машинкой «Зингер». А что досталось гвардии сержанту Натану Гутионтову? Две медали «За отвагу» и деревяшка, которой его наградили в военном госпитале. За деревяшку — спасибо. Но попробуй-ка выстоять на ней перед зеркалом целый день, целую оставшуюся жизнь! Гутионтов приходил обычно в Бернардинский сад, или, как он его величал, парк ненужных евреев, вторым.

Чаще всего Ицхак почему-то вспоминал не родительский дом, не отца Довида, знаменитого на всю округу сапожника, не мать Рахель, торговавшую пухом и пером, не братьев Айзика и Гилеля, да будет память их благословенна, а реку, полноводную, кишащую тайнами, как мальками, ее темно-зеленый окрас, ее изогнутые берега, на которых паслись ленивые коровы с печальными вдовьими глазами, заглянешь — а в них, словно на дне Вилии, плавают причудливые рыбы и колышутся диковинные водоросли.

Ицхак любил смотреть на коров, следить за тем, как они спускаются к водопою, медленно и жадно пьют бессмертную воду и сами, казалось, обретают бессмертие. Закончат свой земной круг отец и мать, умрет он, Ицхак, уйдут в небытие братья Айзик и Гилель, а эти большеголовые, большеглазые животные с поступью древних цариц пребудут вечно — до скончания дней топтать и топтать им сочную прибрежную траву, поворачивать тяжелую голову, как унизанную жемчугом корону, к закату солнцу. И так же до скончания дней с их влажных и непроницаемых морд будет стекать утепленная дыханием струйка.

С тех давних пор она, эта струйка, втекает в его душу. Втекает и сейчас, когда в Бернардинском саду, в парке забытых Богом евреев, он ждет своих собутыльников, тех, с кем целыми днями под сенью дружелюбных лип пьет самый сладкий и самый горький напиток на свете — воспоминания. В наспех вырытых окопах под Алексеевкой и Прохоровкой перед его, Ицхака, заметенными порошей безысходности глазами сверкала эта стекающая с коровьих морд струйка. Он припадал к ней искореженным жаждой ртом и втягивал пересошшими губами. Но — о, чудо! — вода не убывала, не иссякала, не кончалась.

Ицхак то и дело оглядывался по сторонам, но Натана Гутионтова нигде не было видно. По правде говоря, Малкин не жалел, что друг запаздывает. Он наслаждался одиночеством. Ему хотелось все больше и больше хмелеть. Хмель разливался по всему его телу, туманил глаза, усыплял. Еще миг — и Ицхак уснет, ему приснится какой-нибудь сон: берег той Вилии, коровы, солнце, шмели. Хмелеть, хмелеть, хмелеть...

Сразу же после войны — кажется, в сорок шестом — он поехал с Эстер (Господи, сколько уже прошло после ее смерти!) на родину, в свое местечко — туда, где в тесной каморке, под засиженным перекармливаемыми мухами оконцем, не разгибая спины, корпел с шилом в руках его отец Довид, туда, где на дворе стояла пустая телега его дяди — балагулы Рахмиэля, торчащие оглобли которой вонзались в равнодушное небо, туда, где на бессмертном прибрежном луже паслись бессмертные коровы и окунали унизанные жемчугом короны в бессмертную темно-зеленую воду.

Ицхак вспомнил, как он и Эстер слезли с неспешного, почти пустого поезда и по теплой, как парное молоко, весенней грязи потопали с местечкового вокзала, еще по-зимнему стылого и понурого, в ту сторону, у которой нет и никогда не будет другого имени, как родина. Когда они приблизились к местечку настолько, что можно было легко разглядеть белую, засахарившуюся, словно варенье, кладку костела, чудом уцелевшего в лихолетье, деревянную мельницу, напоминавшую огромную засушенную стрекозу, и бросившиеся от них врассыпную дома, их охватило знобкое волнение.

— Ицхак,— прошептала Эстер и притронулась к его рукаву,— ты уверен: мы сошли, где надо?

Он отчетливо слышал в Бернардинском саду ее голос, тот давний, звучный, не сравнимый ни с какими другими, голос, не искаженный болезнью, не тронутый старостью, голос, а не хрип, не жуткое бормотание смертницы.

— Не знаю, где надо, где не надо, но сошли.

— Там, где надо? — по обыкновению, переспросила Эстер.

— Там! — закричал Ицхак и сам испугался своего крика.

На кого он тогда кричал? Ицхак наморщил лоб, пытаясь вспомнить. Не на Эстер, конечно. На нее он никогда не кричал. Наверное, на страх, на время — воплощение страха; хотя время — кричи, не кричи — все равно не переме-

нишь. И еще на войну, на немцев, на их холуев-литовцев и еще на себя, оставшегося в живых. Зачем он остался в живых? Чтобы через десять лет похоронить Эстер, чтобы сорок лет быть прикованным к «Зингеру»? Строчи, не строчи, заново не сошьешь ни братьев Айзика и Гилеля, ни Эстер, ни время. Никого и ничего.

Впереди забелела простроченная птичьими трелями березовая рощица. По преданию, березы посадил какой-то русский дворянин по фамилии не то Белокуров, не то Белобородов, бежавший после революции в Литву. Он купил под Каунасом землю, привез саженцы и в память о России и о своих четырех погубленных во время смуты сестрах решил соорудить шелестящее надгробие.

Отец Ицхака Довид уверял, что у этого русского барина из головы выпали все гвоздочки, как из сношенного башмака. Рабби Мендель, наоборот, не скупился на похвалы христианину.

— Он не только богаче нас, но, может, и умнее, — убеждал всех Мендель. — Что такое деньги? Ведь они не отбрасывают в зной тень для других, не дарят прохладу безымянному страннику, не дают приют залетной птице.

Ицхак снова огляделся по сторонам. Куда же подевался Гутионтов? Может, с ним, не дай Бог, что-то случилось? В таком возрасте всякое бывает: сегодня — жив, над другими смеешься, а завтра, не про Натана да будет сказано, глядишь, уже тебя оплакивают. Нет, нет, лучше не думать о смерти. Лучше вместе с Эстер дальше топтать по знакомой дороге от кирпичного вокзала до родного местечка.

От местечка до вокзала провожала в двадцать третьем Эстер статного, голубоглазого, черноволосого Ицхака в Литовское войско. Ицхак служил в уланах — то была немалая честь для новобранца-еврея (в уланах и обмундирование красивее, и харч куда лучше). Только его отца Довида одолевали страхи: а вдруг его Ицикл выкрестится, превратится из Малкина в Малькявичуса или в Малкаускаса? Отцовские страхи были напрасны. Как ушел Ицхак в войско евреем, так евреем и вернулся, хотя мать в первую же ночь задрала у спящего рубаху, но креста на груди, слава Богу, не обнаружила. На проселочной дороге, соединявшей местечко с миром, встречала его Эстер в двадцать пятом. В руках у нее, словно огромный одуванчик, желтел пирог, ибо она хотела, чтобы жизнь их пахла не разношенными башмаками, а корицей и изюмом, как в доме лавочника Пагирского.

Ицхак Малкин прислушивался к усыпляющему шуму лип в Бернардинском саду и беспечному пересвисту птиц, и у него из памяти, загроможденной событиями, одна за другой вылетали птицы его молодости. Они слетались на пирог Эстер, но та отпугивала их и, переполненная счастьем от его возвращения, приговаривала:

— Кыш, кыш! Не для вас пекла... Потерпите, неугомонные, вот сыграем свадьбу, я куплю мешок крупы и весь рассыплю...

По этой раскисшей, хлюпкой дороге они (уже муж и жена) провожали в Америку сперва брата Эстер Хаима, потом сестру Ицхака Лею. Америка была далеко-далеко, но она сияла для них, как старинный свиток Торы в позолоченном переплете. Лею пришли провожать все парни местечка: такой красавицы не видывали ни Литва, ни хваленая Америка, ни земля обетованная.

Ничего не скажешь, Лее повезло: ее не расстреляли, ее не заставили перед смертью раздеться догола. Внуки и правнуки унесли ее на Детройтское кладбище.

Ицхак снова прислушался, но на сей раз он услышал не шелест листьев, не пересвист птиц, а веселый ор молодых жеребчиков, провожавших первую красавицу местечка в Америку:

— Лея, Лея! Останься!

— Лея, Лея, — повторил Ицхак пересохшими губами.

Ицхак давно убедился в том, что, если хорошенько прислушаться, если выбраться из-под завалов случайных и неслучайных событий, застрявших в памяти, можно услышать и гул минувшего времени, и голоса покойников. Можно не только все услышать, но и увидеть, даже след журавля в небе, ибо все остается, все откладывается и запечатлевается, если любишь. Разве наша память — не любовь к тем, кто никогда не вернется ни на проселочную дорогу, ни на скамейку под липой, ни за сапожничий верстак, ни за свадебный стол?

Ицхак сидел на скамейке и, не мигая, гляделся в уже недосыгаемую дорогу, пролегушую как бы по небу. Усилиями слабеющего, похожего на старый

приемник с севшими батарейками мозга он настраивался на какую-нибудь отзвучавшую волну, пытаясь вернуть ей прежнюю чистоту, выталкивал из забвения кровотокащие куски жизни в надежде, что ему еще удастся сложить из них что-то живое — ну хотя бы пульсирующее, трепыхающееся, еще не отдающее тленом.

Господи, как хорошо, что его друг и вечный собеседник Натан Гутионтов задерживается! Ничего удивительного. Пока приладит деревяшку, пока доберется до третьего номера троллейбуса, пока доедет до площади имени великого князя Гедиминаса (по его милости евреи и оказались шестьсот лет тому назад в Литве), пока перейдет через улицу, глядишь, час и пролетит, может, даже два. Главное, чтобы с ним ничего не случилось. Хватит с него и одного инфаркта.

Вдвоем, конечно, веселей. Недаром они кучкуются все дни недели, кроме воскресенья. Хотя что это за кучка — пять-шесть человек?! Грамотей Моше Гершензон недаром сказал: «Вместе жечь костер воспоминаний приятнее. Каждый подбрасывает в огонь свою охапку хвороста. А у кого хвороста нет, тот на него дует. Подует — и пламя ярче». Какой хворост, такое и пламя, вздохнул Ицхак. Но, как ни крути, вместе лучше. Правда, бывает, и другу всего не расскажешь, даже дереву не поведаешь. Но разве молчание уберегает от пересудов и неприятностей? Ведь тебя слышат, даже когда ты молчишь. Ты молчишь, а твои мысли как на ладони. Ну, в первую очередь слышит Он, Господь, нас сотворивший, и записывает в свою книгу. А книга Его — без конца и края, страниц на всех хватит, Он никого не забудет.

Слышат тебя и деревья, и этот вот замурзанный воробей, прыгающий в поисках крохи покрупнее от одной скамейки до другой, как евреи из одной страны в другую. И ветер слышит.

Ничего не поделаешь, когда никого на свете не остается, поймал себя на мысли Ицхак, надо научиться жить в ладу и в согласии с ними — с листьями липы, с ветром, с этими замурзанными воробьями (ротный Тюрин называл их жидками). Не дай Бог, листья перестанут шуметь, ветер — ворошить седые патлы, воробы — чирикать!

Моше Гершензон, выхваливающийся своей грамотностью, правду ищет в газетах. Кому что. Одному воробы интересны, другому подавай наводнение или землетрясение, свадьбу английского принца или бунт в Китае. Моше Гершензон, между прочим, о китайцах все знает. Послушать его, так он в прошлой жизни был не евреем, даже не литовцем, а китайцем. Ицхак сам знал евреев, не желавших ими быть. Они во что бы то ни стало хотели быть русскими или литовцами. Кем угодно, но только не Ицхаками и Натанами. Но чтобы евреи рвались в китайцы?!

Может, он, Ицхак, в прошлой жизни был серым воробышком, который прыгает от одной скамейки к другой и заглядывает ему по-братски в глаза, воробышком, никогда не служившим в уланах, не мерзшим в окопах под Прохоровкой и Алексеевкой, не привозившим никаких трофеев из Германии, — заурядной, как горошина, птичкой, у которой, кроме клюва, маленьких крыльев и маленького сердца, ничего не было?

Да Бог с ней, с прошлой жизнью! Куда важнее, кем судьба судила ему быть в будущей. Раз есть прошлая жизнь, то, наверное, и будущая каждому уготована. Не в раю, а на земле. Может, в том же городе Вильнюсе, где он, Ицхак Малкин, прожил почти полвека и даже изредка, до кончины Эстер, был глупо счастлив.

Если бы Господь Бог, скажем, посчитался с его пожеланиями, то он хотел бы быть не китайцем, не русским, не евреем, не богачом, не властителем, а ветром. Ну, конечно, не всяким, а обязательно юго-западным, стужи на его веку хватило вдоволь.

Разве можно для себя придумать участь более прекрасную: ветер никогда не стареет, его никогда не мучают никакие хвори, ветер — не еврей и не китаец, он ветер, для всех и для каждого. Умаявшись под вечер, он укладывается на ветки липы или на перистое облако, чтобы поутру проснуться и облететь весь земной шар.

Мысль Ицхака металась между прошлым, настоящим и будущим, и всюду ей было неуютно, всюду она искала для себя покойную нишу, как ласточка для гнездовья. Она, его мысль, то втискивалась, как Натан Гутионтов в третий номер троллейбуса, в узкую, выбитую тележными колесами колею проселочной

дороги, которая вела к его детству, к его молодости, то сверзалась в сырую траншею под русской деревенской Алексеевкой, то на цыпочках входила в коридор Генштаба Второго Белорусского фронта с мундиром из английского сукна на рукав, сшитым для командующего Рокоссовского, то вместе с могильной глиной падала в свежевырытую яму, где нашла свое упокоение Эстер.

Прошло два часа, но Натана Гутионтова все еще не было. Чтобы избавиться от дурных предчувствий, Ицхак встал со скамейки и зашагал не по аллее Бернардинского сада, а по той проселочной дороге, пролегшей как бы не по земле, а по небу.

Уже повеяло печным дымом — провозвестником жилья. Ицхак напряг глаза и всмотрелся вдаль. Клубы дыма вились над местечковой синагогой. Мало что вьется в памяти, подумал Малкин. Но разве рядом с молельней не осталось ни одного дома, ни одной литовской хаты с печью? Разве в них перевелись хозяйки, что-то варящие и пекущие? Это мертвые уже никогда не сядут за стол. Это расстрелянные в белой рошице не выковыряют ни одной изюминки, ни одной маковой росинки — их пироги и булочки сожрали равнодушные черви.

Запах дыма Ицхак любил чуть ли не с колыбели. Ему нравилось, когда над крышами на рассвете зарождались верткие голубые кольца, поднимающиеся к самому небу. Он, не отрываясь, следил за их причудливыми извивами. В непредсказуемом струении дыма было что-то загадочное, непостижимое, влекущее, как в речном зазеркалье. Однажды отец, сапожник Довид, сказал:

— И наши души воспарят после смерти, как печной дым, и ангелы встретят их за облаками и на белых крыльях бережно унесут к сияющему Божьему престолу.

С тех пор Ицхак верил (он эту веру сохранил и поныне), что, когда он умрет, когда умрут его близкие, их души совьются в легкие голубые кольца, воспарят к небосводу и будут долго плыть в утреннем мареве, пока не сольются с небесной синевой и не станут невидимой частью неба. С тех пор Ицхак верил, что холст неба и впрямь соткан из отлетевших душ. Правда, через много-много лет в гибельных окопах под Орлом он вдруг усомнится, сможет ли его вымокшая в крови, задубевшая на морозе душа воспарить в небо, ибо кровь и небо несовместимы.

Малкин не мог взять в толк, кому понадобилось топить печь в пустой послевоенной синагоге, ведь в местечке не осталось ни одного еврея. Может, печь топится сама? Может, ее топит дьявол? А может, через трубу в небо взлетают, превратившись в дымки, души убиенных, и, пока они не поднимутся к Божьему престолу, труба будет дымить. Господи, сколько же еще лет, сколько веков?..

Вот воспарила к небесному престолу душа рабби Менделя, чистая, как зоревое облачко. За ней медленно вознеслась душа дяди Рахмиэля — балагулы, и вместе с ней — душа его лошади. Разве не похож вон тот дымок на ее гриву? Вон поплыла вверх душа волоокой Брахи, дочери мельника Гольдштейна, которая была влюблена в Ицхака по уши и которую своими запретами отец временно свел в могилу («Выбирай его или мельницу!»). Вот поднялась к небосводу душа портного Шимшена Яновского, учителя Ицхака, знаменитого мастера и знатока Торы. Вот отправилась на свидание со Всевышним душа местечкового сумасшедшего Мотеле — тающий кренделечек синевы.

Может, печь топит какой-нибудь доброхот — мало ли их на белом свете! — литовец, поляк или старовер с густой, как чаща, бородой. Приволок бревно, распилил, наколол поленьев и развел огонь, чтобы всем было теплее — и мышам, и Богу, и душам перед тем, как они воспарят к Нему.

Чем ближе они подходили к синагоге, тем суше и ровнее становилась дорога, пока совсем не влилась в мощенную булыжником улицу. Боже праведный, сколько раз он шагал по ней с бабушкой в молельню. Старуха, нарядная, непривычно торжественная, в цветастом, как весенняя поляна, платке, плетется, бывало, сзади, а он бежит впереди, первым распахивает дверь, взбегаёт по каменной лестнице туда, где молились женщины, и, притаившись в углу, ждет. Бабушка, близорукая, одышливая, оглядывается в испуге и вызывает в пустоту:

— Ицикл, солнышко мое! Ицикл, сердце мое!

Никто и никогда на свете не называл его так ласково, так щемяще печально, как она. Ему казалось, пока его окликают с такой простодушной верой, с такой готовностью жертвовать собой, с ним ничего дурного не может случиться.

Грамотей Моше Гершензон говорит, что нет на свете ничего страшнее того дня, когда, как Лея Ставиская, забываешь свое имя. Лучше наложить на себя руки. Лучше в петлю... Не дай Бог забыть свое имя, ибо тот, кто его забывает, несчастнее, чем камень. А с камня какой спрос?

Не успел Ицхак войти во двор местечковой синагоги, как у входа в Бернардинский сад замаячила чья-то фигура. К скамейке под липами не спеша, осанисто, как пава, шла немолодая женщина. В одной руке она держала большую казенную метлу, которая не только не портила осанку, но даже подчеркивала ее; в другой — такое же казенное ведро с помятыми боками и ржавым ободком, похожее на то, которое когда-то к задку своей допотопной телеги подвешивал дядя Рахмиэль. Ведро позвякивало в утренней тишине, и от этого глухого равномерного позвякивания Ицхаку казалось, что женщина идет не по аллее, а по выжженной пустыне за верблюжьим караваном, груженным серебром и златом, шелком и шерстью.

Как ни странно, но образ пустыни частенько возникал в голове у Малкина. Может, оттого, что грамотей Моше Гершензон задурил им всем головы своими рассказами о древней Иудее, о царях иудейских. Каждый из них прошел через свою пустыню — только не было ни кладов, ни чудотворных колодцев, ни серебра, ни злата, ни шелков, ни шерсти. Слава Богу, хлеба хватило, и пуля миновала. Пустыня и сегодня велика и бескрайня, а их шаг ничтожен и мал — шагаешь, и кажется, Бог весть, сколько отшагал, а оглянешься и увидишь: почти что с места не стронулся, впереди тот же зной, тот же песок, раскаленный от собственного бессилия.

Женщина подошла и, крутанув бедрами, поздоровалась:

— Дзень добры, пан Малкин. Як сон маш?

— Дзенькую, пани Зофья, допуки жиемы.

— Никого нема? — не то разочарованно, не то обрадованно пропела женщина. — Навет пана Натана?

Разговор по-польски давался Ицхаку нелегко, чужая речь утомляла его. Лучше, конечно, было бы говорить с пани Зофьей на идише. Но кто сейчас его знает? Было время — на маме-лошн нельзя было и слова сказать. Скажешь, а на тебя так посмотрят, как будто ты Богородицу обесчестил. А ведь каждому охота мяукать и чирикать по-своему.

— Тшеба трохи одпочинуть, — объявила пани Зофья, еще не начав работу, и, не церемонясь, опустилась на скамейку.

По правде говоря, Ицхак давно отвык от женщин. После того, как вторую его жену разбил паралич и ее отвезли в дом престарелых, он остался один. Женятся люди и в восемьдесят, и в девяносто, но Малкин сказал себе: хватит. Хорошее слово «хватит», не хуже, чем лекарство, хватит — каждый день по три пилюли. Что за радость, если рядом в постели мумия, как и ты, кресало и дрова отсырели, вздохами и храпом пламени не раздуешь.

А если второй брак — ошибка, и вовсе худо. Корчишься в постели и затуманенной мыслью притрагиваешься к другой женщине, которая всю жизнь спешила навстречу к тебе с пирогами, у которой родинка на щеке сияла, как звезда на небе, а каждый ее волос привязывал к себе навсегда, как смерть. Над Ицхаком смеются, когда он говорит, что даже от ее брани пахло маком и корицей.

Что с того, что у них не было детей. Мало ли у кого на белом свете нет детей! Беда, когда король и королева бездетны — у них обязательно должны быть наследники. И потом, что такое вообще дети? Вещи, взятые на время в долг: сына одалживаешь у невестки, а дочь — у зятя. Отдал — и не проси обратно. Даже если те их вернут, то ты получишь их не такими, какими они были.

— О чим пан тэраз мисле? — неожиданно и, как Ицхаку показалось, чресчур кокетливо спросила пани Зофья.

— О жене. О первой жене, — поправился он.

— Пан ее любил? Она давно умерла?

— Она никогда не умрет. Мы только что вошли во двор синагоги. В местечке над Вилией. Мы там с ней под хупой стояли. Пани что-нибудь слышала про хупу?

— Так, — не задумываясь, ответила уборщица. — Я сама мечтала о хупе. — И, как бы испугавшись своего признания, продолжала: — Пану подобёнсь польки?

Ему было неловко от ее вопроса. Листьев за ночь намело в Бернардинском саду уйму — ветер озоровал до утра. Пани Зофья хоронит их каждый день: она — могильщик облетевших листьев, — либо закапывает их, либо сжигает на пустыре. Он в детстве слышал, что когда придет Мессия, то из могил восстанут не только люди, но и животные, оживут увядшие растения, воскреснут опавшие листья. Ветер, который всегда возвращается на круги своя, развесит их там, где сорвал, и все снова встретятся: и листья, и ветер, и одноногий парикмахер Натан Гутионтов, и Эстер, и грамотей Моше Гершензон, и рабби Мендель, и пани Зофья, и все братья Малкины, и обретшая память Лея Стависская, — и все начнется с начала, с первого крика, с колыбельной...

— Нех пан не муве, же не подобенся. Вам они завше были до густу. Фремде вайбер — зисе вайбер (чужие женщины — сладкие женщины).

— Ты говоришь по-еврейски? — остолбенел Ицхак.

— А бисэлэ, — сказала пани Зофья и показала ему кончик заскорузлого мизинца.

— Кто тебя научил? Может, отец был евреем?

— Отец был подпоручиком в Армии Крайовой, а мать — учительница польской гимназии. Лучшая учительница, пан Малкин, — любовь. Мой Яцек называл меня ночной еврейкой, — сбивчиво, почти захлебываясь, прошептала пани Зофья.

— Ночная еврейка? — пробормотал в замешательстве Малкин.

Впервые за тридцать пять лет ему захотелось затянуться дымком. Он огляделся, метнул взгляд под скамейку, увидел смятый окурок, устыдился своего желания и снова уставился на пани Зофью. На вид ей было лет шестьдесят, не больше. Крашенные, словно остекленевшие волосы, напоминавшие жнивье, не молодили ее, а старили. Продолговатое, еще миловидное лицо было вспахано преждевременной старостью: неровные бороздки морщин тянулись по щекам вниз, к полным загаившейся страсти чувственным губам, которые она то и дело покусывала от волнения.

На ней было грубое платье, какие обычно носят больничные санитарки. Дешевый ситец облегал ее еще зазорные груди и бедра. Единственным украшением были большие цыганистые серьги, от которых исходило неверное сияние.

— Настоящее его имя было Йосель. Йосель Копельман. Может, слышали такую фамилию?

На своем веку Ицхак не раз слышал фамилию Копельман. Один из них — сержант Зелик Копельман — погиб под Алексеевкой. Шальная пуля попала ему в голову, когда он, хлебая солдатский борщ, рассказывал возле полевой кухни про хелмских глупцов. Мертвое лицо было растянуто в улыбке. Его так и похоронили.

Малкин смотрел на нее и диву давался. Надо же, ходит рядом с тобой человек, ты каждый день видишь его, но знать не знаешь, ведать не ведаешь, кто он и что он. То ли святой, то ли мерзавец, то ли мученик, то ли мучитель. Все у него как бы под замком — стучись не стучись, ни за что не откроет. Что говорить о других, если к самому себе до гробовой доски ключа не подберешь, а, не ровен час, откроешь и содрогнешься.

— Днем я была полькой... работала посыльной в тогдашнем магистрате, всякие бумажки разносила. А ночью... ночью... ночью бегала в гетто, к своему Йоселю-Яцеку. Дура была, ох, какая дура! — едва сдерживая скорые бабьи слезы, сказала она.

— Где же вы встретились? — осторожно спросил Ицхак, боясь отпугнуть ее своим любопытством.

— В гимназии.

Малкин вытаращил на нее глаза.

— Нас до войны учила моя мама.

Эстер с порога местечковой синагоги смотрела, как Ицхак (Господи, неужели он такой старый?) ворковал с чужой женщиной на скамейке под липами Бернардинского сада, и безропотно ждала, когда он откроет дверь в молельню. Пусть Эстер не ревнует. Минуло то время, когда на него, даже семидесятилетнего, заглядывались молодухи. В семьдесят лет он еще крепко держал иголку в руке, одевался, как иностранец, посмотришь — залобуешься. Прощли те денки, когда он спиной чувствовал, кто за ним идет — женщина-огонь или женщина-пепел.

— Я, наверное, вам голову задурила,— пробормотала пани Зофья.— Вы не поверите, но я никогда об этом не рассказывала.

Ицхак понимал, что ей хотелось излить душу. В самом деле, кому расскажешь о Йоселе-Яцке, если не еврею? Что для другого слова «гетто», «немец», «полицай»? Место жительства, национальность, должность. Пани Зофья жаждала погреться у чужого костра, подбросить в него свою чурку. Когда вокруг стужа, каждый может кинуть свое полено в огонь и протянуть над ним руки.

— Мы ютились на чердаке... На углу Конской и Рудницкой... В голубятне.

— В голубятне? — изумился Ицхак.

И вдруг над его головой, над Бернардинским садом затрепыхали крыльями голуби его местечка. Стая висела над его седыми взлохмаченными патлами, не уплывала, как облако, не таяла, и Ицхак видел крылатый полог так же зримо, как крону липы над скамейкой.

— Первые полгода мы были все вместе,— журчало контральто пани Зофьи.— Я, Йосель и они... Голуби. Дом с голубятней принадлежал пану Шварцбанду,— объяснила она обескураженному Малкину.— Пан Шварцбанд был завзятым голубятником. Когда Яцек был студентом, он работал на его кондитерской фабрике и приносил мне конфеты.

Ицхак боялся, что она не успеет закончить рассказ до прихода Натана Гутионтова, а уж при любезнейшем, рожденном как будто только для поклонов Гирше Оленеве-Померанце и вовсе рта не раскроет. Но она никуда не торопилась. Не будь над ней начальства, пани Зофья рассказывала бы и рассказывала.

— Ну что ж ты замолчала? — поторопил ее Малкин.

— Сейчас, сейчас! С вами можно говорить обо всем.

— С мертвыми можно говорить о чем угодно,— подтвердил Ицхак.— Нет более благодарных слушателей, чем мертвые.

— Да какой же вы мертвый! Вы еще о-го-го! Мы еще вас женим.

Малкин почувствовал, как стыдным румянцем залило его лицо.

— Вы только ничего не подумайте. Я знаю, сейчас на вас, евреев, у бабонек спрос, как на французские духи. Всем хочется отсюда вырваться, уехать куда глаза глядят. А то хотя бы после их смерти ордер на квартиру отхватить. Но вы не подумайте ничего... У меня своя крыша: комната и кухня в старом городе.

— Да я ничего и не думаю,— не очень твердо произнес Ицхак.

— Вот и чудненько,— сказала пани Зофья.— Я совсем о другом. Кто бы мне объяснил, почему я так ненавижу голубиное воркование, но и жить без него не могу? — вдруг призналась она.

— Ты сама, наверное, знаешь лучше всех, почему.

Пани Зофья закусила губу. Она сидела в прежней позе, опершись о черенок метлы, как о земную ось, и вокруг него, замусоленного, захватанного руками, вращалась вся ее жизнь, вращались ее беспечные детство и молодость, о которых Ицхак ничего не знал, кроме того, что отец у нее служил в какой-то Армии Крайовой; вокруг черенка вращались поляки и литовцы, немцы и евреи, венские голуби и опавшие листья, вращались серые казенные здания, над которыми реяли в разные времена разные флаги-штандарты; вращались чиновники, исполнявшие волю четырех ненавидевших друг друга властей и похожие друг на друга, как ржавые прутья в железной ограде.

Ицхак терялся в догадках, почему она столько и с такой настойчивостью рассказывает о голубях, пусть даже и привезенных из Вены, почему растягивает свое короткое горестное удовольствие. Впрочем, разве Натан Гутионтов и Моше Гершензон, Гирш Оленев-Померанц и он, Ицхак Малкин, не занимаются тем же? Разве по глоточку, по капельке не пьют ту же благословенную, сладостную отраву? Только отними у них стакан, и на свете не сыщешь несчастнее их — смерть покажется им избавлением. Их держат не лекарства, прописанные докторами, не письма, наспех написанные из заморского рая, а эта отравка. Дай только им лизнуть языком прошлое, их грехи, кажущиеся сейчас добродетелью, их добродетель, кажущуюся сейчас греховной, дай им войти дважды, трижды, тысячу раз в ту же реку, не стопой, а их любовью и их верой. Ведь вера сама по себе река, крошащая все пустыни во все времена. Господи, подумал Ицхак Малкин, как много вокруг несчастных, как много вокруг обиженных!

— Прошлое, — сказал вдруг Ицхак вслух, — погреб, где даже камень кажется застывшим бабушкиным вареньем. Вот почему — может, я ошибаюсь — ты до сих пор не можешь спуститься со своей голубятни на землю. Вот почему и над моей головой летают и духи, и птицы, и вурдалаки с ведьмами, и я летаю с ними.

— И Яцек приходит ко мне, вырывает ведро и метлу, берет меня под ручку, и мы идем в ресторан — в «Нерингу» или в «Янтарь» у вокзала. Мы садимся в углу, напротив оркестра, все глазают на нас: какая пара! Только сосед, заезжий немец, хватив лишку, говорит: почему у вашего кавалера на груди желтая лата?

Пани Зофья снова прослезилась. Сердце Ицхака сжималось от жалости. Ему было невдомек, почему для исповеди она выбрала его, а не грамотея Моше Гершензона или Гирша Оленева-Померанца. Тот, глядишь, не только бы выслушал ее, но и на флейте сыграл бы про несчастную любовь.

— Я боялась, что вы скажете: выдумала. Ведь все с какой-нибудь целью можно придумать. Вся жизнь — выдумка. Придумывают те, кто внизу, кто в пропасти, кто день-деньской в грязи. Они и Господа Бога придумали. Вот если бы он жил тут, среди вони и копоти, крови и дерьма, разве мы молились бы ему? Прости и помилуй? — Пани Зофья перекрестилась.

— Разве любовь — дерьмо? Разве печаль — дерьмо? Разве листья — дерьмо?

— Пан Малкин! Пан Малкин! Какой вы... — она не знала, какое слово подобрать, — ребенок...

Птицы удивились их молчанию и сами притихли.

— Яцек тоже был как ребенок. Недоверчивый ребенок. Пан Малкин, что — все евреи такие недоверчивые?

— Когда тебя три тысячи лет бьют и в хвост и в гриву, от такого битья доверчивым не станешь. У меня уже времени не осталось ни для доброты, ни для злости.

— Долго еще я тебя буду ждать? — обрушился на Ицхака далекий голос Эстер.

Он не мог ей объяснить, что пани Зофья еще недосказала ему историю про голубей и про своего возлюбленного. Эстер слыхом не слыхала ни про пана Шварцбанда, ни про ночную еврейку.

— Каждый вечер Яцек ждал меня в подворотне, — не замечая странного и непонятного волнения Малкина, продолжала пани Зофья. — Юркну в темноту — и через пять минут уже на чердаке.

Ицхак слушал ее рассеянно, в ушах все еще звучал строптивый голос Эстер, но пани Зофья не унималась.

— Чердак тесный, словно келья, — с нескрываемым пылом, как провинциальная актриса, рассказывала она. — На одной половине — огромная, купленная в Вене клетка... Кормушки.

Рассказчица перевела дух, глухо кашлянула, достала сигарету, чиркнула зажигалкой, закурила.

— Дым вам не мешает?

— Нет. Я махорочник с дореволюционным стажем.

— Первым делом Яцек открывал дверцу и насыпал в кормушку раскрошенный хлеб — четверть буханки, не меньше. Потом я меняла в поилке воду. За сутки они выпивали почти что литр. Пан Шварцбанд велел поить их чистой водой, от ржавой, мол, у них портится желудок. Хм, за окном облавы, стрельба, смерть, а он печется о голубиных желудках. Бывало, поедят и давай хлопать крыльями, давай ворковать, сердито и сладострастно. Самые отчаянные вырываются, когда открываешь дверцы, и, пока их не выловишь, перелетают с балки на балку. Хорошо еще, что дом стоял во дворе, вдали от патрулей. Вы же знаете, как было: куры ферботен, индюки ферботен, утки ферботен, даже кошки ферботен. Если бы не Яцек, все было бы кончено в первую ночь. Он умел с ними ладить. Сам был голубем и их уговаривал по-голубиному.

— Простите, вы не подскажете, как пройти на площадь Гедиминаса? — раздался вдруг фальцет раннего прохожего.

— Прямо по той вон аллее, — процедила пани Зофья.

— Спасибо, — словно окурок, бросил прохожий и исчез.

— Пан Малкин, вы не поверите, но первое время я стыдилась раздеваться. Потом привыкла. «Выпусти их на волю, пока они нас не погубили, — умоляла я

его, — твои же сородичи с удовольствием купят. Голубиное мясо — кошерное». А Яцек: «Нет и нет. Что я скажу пану Шварцбанду, когда он вернется?» А я ему: «Пан Шварцбанд никогда не вернется, никогда. Твои родители вернулись? Твои братья вернулись?»

Она вдруг осеклась, воровато оглянулась и прошептала:

— Идет! Ваш приятель, пан Натан. — Она произносила его имя с ударением на первом слоге.

— Слава Богу, слава Богу! — обрадовался Малкин, но радость его не была такой искренней, как обычно. Мог бы Гутионтов прийти и попозже. Пани Зофья недолгоблывает его и потому сегодня больше рассказывать не будет. Что поделаешь: Натан — парикмахер, а парикмахер на всех смотрит свысока. Да это и понятно — у них в руках не иголка, а бритва.

— Здравствуйте, здравствуйте, — пропел Гутионтов. — Какая парочка — гусь да гагарочка.

Как всякий еврей, Натан любил выражаться поговорками, но пользовался ими невпопад.

Пани Зофья быстро встала и откланялась.

— Довидзенья, пани Зофья, довидзенья, — пробасил Гутионтов. — Тиха вода бжеги рве.

— Довидзенья, — из приличия произнес Ицхак и обратился к своему другу: — Я уже не знал, что и подумать.

— Кто рано встает, тому Бог подает. Вот он мне и подал новую заботу. Джеки заболела. Пришлось везти ее к ветеринару.

— Ну что он сказал?

— На всякую старуху бывает проруха. Велел завести новую.

Что я тут разболтался, корил себя Ицхак. Меня же Эстер ждет. Но до метечковой синагоги снова было полвека.

Пани Зофья обернулась и победоносно подняла вверх метлу. Малкин помахал ей рукой. Надо созвать большой хурал, подумал он, и принять ее в наше братство. В братство ненужных евреев, ночных или дневных, не важно каких. Голоса Гутионтова и Гирша Оленева-Померанца — у него в кармане. Под сомнением только грамотей Моше Гершензон. И все-таки большинство будет «за». А с большинством — пусть и ненужных евреев — не считаться нельзя.

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Хлебом пахнет, — растерянно сказала Эстер, когда Ицхак, оставив наконец пани Зофью и своего друга Натана Гутионтова, подошел к синагогальной двери.

Молельня была и впрямь продута горячим хлебным сквозняком. Свежим хлебом пахло от облупившихся, давно не беленных стен, от черепичной крыши, на которой вместе с воробьями и воронятами сидели, как Ицхаку казалось в детстве, смиренные ангелы, дождавшиеся чьей-нибудь души, чтобы подхватить ее и унести на белых свадебных крыльях к Всемогущему из всемогущих и Справедливейшему из справедливейших.

Свежим хлебом пахло от чахлах, страдавших какой-то таинственной болезнью кленов, под которыми, не чинясь, на виду у отмолвившихся евреев мочились всегдагдай корчмы братьев Кучинских. Возмущенные евреи требовали, чтобы бургомистр распорядился спилить эти клены, и, получив отказ, грозились их срубить сами, но так и не отважились — негоже, дескать, размахивать топором на чужой земле. Заведенным тестом, казалось, пропахли даже весенние лужицы, сверкавшие неподалеку от синагоги на солнце. Да и оно само как бы уподобилось круглому караваю, заброшенному в небо.

— Пахнет, — мечтательно произнес Ицхак.

— Хорошо еще хлебом, а не конской мочой! — раздраженно бросила Эстер. — Немцы в синагогах лошадей держали.

Настроение у Ицхака вдруг сломалось. Чувство странной приподнятости сменилось печалью, запах хлеба вытеснился запахом беды, случившегося с ними несчастья. Ицхака охватило желание повернуть назад, добраться до вокзала, дожидаться поезда и, плюнув на все, вернуться в Вильнюс, как будто никогда ничего и никого не было. Немецкие самолеты и танки; brave земляки в белых повязках, согнавшие полместечка в рощицу, высаженную беглым русским

барин; хлебопекари, дружно выполняющие пятилетку там, где пек свои хлебы милосердный, справедливый, безжалостный и ничему не научившийся Бог евреев, — их не прогонишь из памяти, как пернатых с крыши: они не оголодавшие воробьи и не крикливые воронята, а он, Ицхак Малкин, не пушистый кот рабби Менделя.

— Может, вернемся? — обронил он.

— Нет! — твердо, с не свойственной ей решительностью ответила Эстер. — Мы что, зря столько в поезде тряслись, по грязи топали? Я хочу помолиться.

— Где? В хлебопекарне?

Толкуй ей, не толкуй, все равно сейчас ее не переубедишь.

Было время, когда дом молитвы и благочестия отличался от других домов в местечке, он был не жильем, хотя в нем и жил служка Мейер, а сутью, не строением из кирпичей и досок, из стекла и жести, не местом, а вместилищем — бесплотным и осязаемым одновременно. Во что же оно, вместилище, сегодня превращено?

Эстер сама все видит. Ей ничего не надо объяснять. Дом молитвы был для их дедов и прадедов, для отцов и матерей, для них самих не плотом, гонимым ласковыми волнами по чужому вздыбленному морю, не островом, затерянным среди пучин, а родиной. Нет у них больше родины. Нет.

В раздумья Ицхака вдруг вторгся озабоченный голос Натана Гутионтова:

— Доктор велел мне купить другую собачонку. Денег мне не жалко, но зачем она мне? В могилу с собой не возьмешь.

Малкин не отвечал. Запах ржаного хлеба сорок шестого года все еще плыл над его седой головой, и странно было, что Натан Гутионтов его не чувствует. Как можно не чувствовать этот запах, если на него слетаются даже парковые воробьи и голуби!

— Что же мне делать? — допытывался Гутионтов.

Ицхаку не хотелось обижать друга, но и разговаривать о Джеки среди чанов с пузырящимся тестом, на виду у пекарей, в раскаленном, как пустыня, це-ху он не мог. Оставил бы его Гутионтов в покое со своей собачонкой.

— Не до собак мне сейчас, Натан, не до собак. Я думаю сейчас не о собаках, а о коте рабби Менделя, — на свое несчастье, признался Ицхак.

— Ага, о коте — так можно, а о собаках — нет.

— О каждой твари можно думать, как о Боге. Бог — в каждом из нас. Он и в человеке, и в дождевом черве.

— Думай. Не буду тебе мешать. Когда кончишь думать о коте, поговорим о моей Джеки.

Гутионтов погрузился не то в молчание, не то в дремоту. Он не слышал, как Ицхак снова вошел в синагогу-пекарню.

Возле чанов с тестом хлопотали распаренные женщины в надвинутых на лоб белых косынках, напоминавших Ицхаку воздушных змеев, которых он в детстве запускал на пустыре за школой. Змей, как бы пританцовывая, устремляется в недосыгаемую голубизну, где на золотом престоле в окружении ангелов и серафимов восседает Господь Бог. Господь Бог спрашивает у ангелов: чей это змей? И ангелы и серафимы дружно отвечают: сына сапожника Довида Малкина — Ицхака, — и имя его разносится под голубым куполом и плывет во все пределы, во все концы.

Ицхак покосился на работниц, и на миг грешная мысль проклюнулась в его голове: ах, если бы и они, не сотворившие никакого зла, никого не убившие, взмыли вверх над столами, уставленными противнями с булочками, над чанами с пузырявшимся тестом и, подгоняемые струями ветра от трескучего вентилятора, вылетели через распахнутые окна синагоги во двор! Ах, если бы их, как бумажных змеев, подхватили воздушные потоки и унесли к родным деревьям, под соломенные родительские крыши! Ах, если бы сюда вошел белоголовый рабби Мендель и вслед за ним влетел стремительный, как молния, его пушистый кот!

Он, Ицхак Малкин, и она, Эстер Малкина, в девичестве Минес, чего бы только не отдали за то, чтобы все было, как полвека тому назад, за то, чтобы рабби Мендель и его пушистый кот привели сюда, в дом благочестия, на их поруганную родину и братьев Ицхака, и пятерых сестер Эстер — всех, всех... Но в синагоге-пекарне властвовала не память, а удушающая жара.

Никто, кроме заведующего пекарней, не обращал на пришельцев никакого внимания. Заведующий был рослый, крепко сколоченный мужчина, пышно-

волосый и пышноусый. Усы служили как бы ширмочкой, за которой свое тайное существование вели слова, — казалось, ни одного лишнего, неосторожного не услышишь. Военная выправка выдавала в нем офицера-отставника. Он носил брюки галифе, заправленные в хромовые сапоги, и выцветшую гимнастерку, к которой был приколот орден Красного Знамени. В глаза бросались именные часы, большие, как компас, на которые он то и дело поглядывал.

— Шаркинас, — представился он.

Ицхак понял — местный русский, может, даже старовер.

Шаркинас долго и сочувственно вглядывался в пришельцев.

— Я понимаю вас, — неожиданно сказал он и вздохнул. — Прийти в синагогу и вдруг увидеть чаны с тестом, печи... — Он помолчал и добавил: — Ничего не поделаешь, людей надо кормить.

Он ждал, когда Ицхак согласно кивнет головой, но тот отрешенно глядел на молчащих женщин.

— Всех ваших богомольцев немцы перевели, никого не осталось. — Он погладил ширмочку усов, за которой ждали своей очереди такие же округлые, взвешенные слова.

Ицхака коробила его снисходительность. Эстер же, наоборот, была благодарна ему за понимание, за приветливость. Гости долго молчали, бессмысленно переминались с ноги на ногу, не зная, что делать: уходить неприлично, а оставаться неумоготу. Они и ушли бы, если бы не вопрос, буравивший мозг и сердце.

— Скажите, пожалуйста, — почти виновато начал Малкин, — может, кто-нибудь из вас слышал о судьбе детей сапожника Довида Малкина и жестянщика Хайма Минеса?

Ицхак и Эстер все-таки надеялись на чудо.

— Товарищи женщины! — громко выкрикнул Шаркинас. — Может, кто-нибудь из вас слышал о Малкиных и Минесах?

Работницы испуганно переглянулись. Раз ищут кого-то, значит, дело нечистое, не важно кого — еврея, русского, литовца... Теперь ищут либо мертвых, либо тех, кто их умертвил...

— Таких, вижу, не имеется, — после паузы обратился он к гостям. — Поверьте, я очень сожалею. К нам уже приходили, спрашивали про Драгацких, Перских, Сагаловских, Эпштейнов. Ни слуху ни духу.

Шаркинас повернулся к своим подчиненным и произнес:

— Давайте, как у нас водится, завернем гостям в дорогу буханку литовского хлеба и булочек к чаю.

— Спасибо, спасибо, — зачастила Эстер.

Но Ицхак взглядом дал понять: не отказывайся, возьми. Женщины завернули в неприглядную бумагу хлеб и с десяток булочек. Булочки, чуть завьюженные сахарной пудрой, были теплыми, как только что снесенные куриные яйца. Эстер передала их Ицхаку, и странная, неожиданная мысль залила его глаза печальным и призрачным светом. Сейчас, подумал он, на глазах у орденноносного, молодцеватого Шаркинаса и его покорных работниц из них, из этих булочек, вылупится его родной дом на Каунасской улице; тесная каморка, заваленная изношенными ботинками; отец Довид; потом мать Рахель; потом братья Айзик и Гилель; праздничный стол с зажженным семисвечником; потом появится и она сама — веселая Ханука.

Нехорошо, конечно, что в синагоге пекут хлеб, подумал Ицхак, но это лучше, чем если бы ее превратили в конюшню. Мысль так громко стучала в его висках, что ее услышал и Шаркинас. Он принялся терпеливо объяснять Малкину, что у них пока другого выхода нет, рады были бы печь хлеб в другом помещении, но — сами видите — уцелели только почта, костел и синагога, на которую и пал выбор. Но этот выбор временный. Когда построят химзавод — а его строительство намечено новым пятилетним планом, — тут вырастут всякие подсобные производства. К концу пятилетки, даст Бог, освободят синагогу и отдадут ее краеведческому музею. Такой музей, по мнению Шаркинаса, очень и очень нужен. Пусть люди приходят и знакомятся с жизнью евреев местечка в недавнем и далеком прошлом.

— Хорошая затея, — сказал Ицхак. — Жаль только, что посетители не увидят на стендах будущего евреев.

— Ваше будущее зависит от вас самих.

— А не может ли так случиться, — съязвил Малкин, — что будущее наступит для всех, но не для евреев?

— Побойтесь Бога! — возмутился Шаркинас. — За что же мы воевали?

Эстер незаметно ущипнула мужа: молчи, мол, старый осел.

— Чем зря спорить, лучше поднимемся на женскую половину, — предположил сойти с ломающегося льда на берег Шаркинас. — У вас, оказывается, мужчины и женщины молятся раздельно.

Ицхак в детстве три раза на дню поднимался с бабушкой по этой лестнице, он знал все ступеньки как свои пять пальцев, каждая из них имела даже свое прозвище, но сейчас он ничего не узнавал. Все было переделано, перекрашено, переименовано. Он испытывал какое-то чувство вины перед своим совсем еще недавним прошлым, перед своими богобоязненными родителями, перед рабби Менделем. Он, рабби Мендель, и обвенчал его и Эстер здесь в далеком двадцать пятом году в только что отстроенной после пожара синагоге. Была смущена и Эстер, которая с теплым свертком в руке шла по ступенькам так, как будто на них были рассыпаны недотлевшие угли.

Ицхак в душе корил себя за то, что свой поминальный путь они начали не с пепелища родного дома, не с кладбища, где похоронены их деды и прадеды, не с белой рощицы, а с синагоги. Не такими уж примерными богомольцами они были. Но что сделано, то сделано.

Держа под мышкой буханку, Ицхак вслед за Шаркинасом юркнул в узенький, заваленный всякой рухлядью коридорчик и вскоре очутился перед знакомой дверью. «Комната рабби Менделя», — высеклось искрой в памяти. Сюда приходил он готовиться к бармицве — совершеннолетию. Ицхака так и подмывало открыть дверь, войти внутрь и выдохнуть в пустоту:

— Добрый день, рабби. Это я, Ицик Малкин.

Память искрилась, как костер, искры летели во все стороны. Искра осветила комнату старосты синагоги Ноаха Шперлинга. Заносчивый, с лицом старорого, полуслепшего бульдога, следивший за всеми в местечке ревностнее, чем сам Господь Бог, он всегда оставлял у входа свои замысловатые галоши.

Малкин силился угадать, что же могло остаться от синагогальной утвари, но, кроме галош Ноаха, в его воображении ничего не возникало. Было бы чудом, если бы их не присвоили. Ведь после того, как одни бежали из местечка, а оставшихся под дулами погнали в белую рощицу, у евреев забрали все. Только мертвых не присвоили.

Ицхак на миг представил себе чудом сохранившиеся галоши Шперлинга — стоят под толстым стеклом в местном краеведческом музее, на задниках надпись: «Обувь евреев в буржуазной Литве». Представил себе, как в одно прекрасное утро они выбираются из-под музейного стекла, шмыгают в двери и пускаются по опустевшему местечку, где когда-то жили не музейные, а настоящие евреи, и зычным голосом Ноаха Шперлинга возглашают:

— Евреи, на утреннюю молитву! Молитва слаще, чем сон!

И евреи просятся — кто ото сна, кто от смерти. Наплевывают на себя что попало и сломя голову бегут сюда, в синагогу, к рабби Менделю, под его голубиное крыло.

Шумели липы в Бернардинском саду, сладко, как убаюканный няней младенец, посыпывал Натан Гутионтов. Его сопение возвращало Малкина из сорок шестого года, со второго этажа местечковой синагоги сюда, на эту скамейку. Ицхак старался не шелохнуться — пусть Натан спит, он недоспал в войну. Хотя на войне, пускай и урывками, каждый старался спать в любом положении: стоя, сидя, даже на марше. Когда затихала канонада и в тишине комариный писк воспринимался, как пение ангелов, даже командир не отваживался будить прикорнувшего солдата: спящий мог выпустить в него спросонок всю обойму.

Что снится ему? Наверное, Балахна. Тихий городок под Нижним Новгородом. Сорок второй год; холодные, пропахшие хлоркой казармы, в которые их, местечковых Ициков и Зеликов, Хаймов и Довидов, — молодых литовских евреев, согнали и наспех обучили военному делу и бросили прямо в пекло — под Орел.

Может, ему снится Нинка или, как ее прозвали полковые остряки, Нинка-осетринка. Ицхак до сих пор никак не может взять в толк, чем Натан приворожил русскую красавицу. Он говорил на языке возлюбленной так, что все помирала со смеху.

В праздничные дни Нинка прибегала к проходной, приносила ему, ненасытному, пирожки с капустой и невесту где добытую осетрину. Когда дивизия отправлялась на фронт, она подарила ему, своему суженому, шелковый кисет с вышитыми вензелями «Н. З.» и надписью «Милому Николаю».

Никто на фронте не получал столько писем, сколько счастливчик Николай-Натан Гутионтов. На каждом конверте было крупно и размашисто выведено «Н. З.», а на каждом листочке рисуночек — голова рыбы, конечно же, осетра.

Пусть Натан спит, пусть сладко посапывает и хотя бы на полчаса забудет о своей деревушке.

— Милости прошу в мой кабинет,— сказал Шаркинас,— пропуская вперед Ицхака и Эстер.

Сбитые с толку Малкины протиснулись в дверь.

— Садитесь,— предложил заведующий,— небось притомились.

— Немножко,— ответил Ицхак, сел и устремил взгляд на стену.

На стене красовался большой, обрамленный массивной дубовой рамой портрет Сталина в парадном мундире, со всеми регалиями, пестревшими на груди, как грибы-мухоморы. Вождь был застеклен; стекло сверкало чистотой, и Ицхак не мог отделаться от ощущения, что все перед ним плавает, как в аквариуме,— и мухоморы-ордена, и усы, и погоны генералиссимуса.

— Раньше там висел Рамбам,— сказал Ицхак и тут же замолк.

— Кто, кто? — вежливо переспросил Шаркинас, и Малкин впервые почувствовал в его голосе нотку неприязни.

— Рамбам,— повторил Ицхак.— Наш великий рабби.

— Чем же он был так велик? — осведомился заведующий.

— В двух словах не расскажешь,— благоразумно уклонился от прямого ответа Малкин.

— У каждого в жизни свои учителя,— назидательно произнес хозяин пекарни.

Он вынул из глубокого кармана галифе ключ, подошел к приземистому, как надгробие, сейфу, открыл его и, порывшись, достал сложенное вчетверо молитвенное покрывало — талес и бархатный чехольчик с вышитыми на нем древнееврейскими письменами — в такие набожные евреи вкладывали свои молитвенники.

Эстер и Ицхак застыли от неожиданности. Шаркинас стоял, не двигаясь, держа в руках находку. Первой пришла в себя Эстер. Она шагнула к Шаркинасу и схватила бархатный чехольчик. Пялясь близорукими глазами, она принялась читать древнееврейские слова, повторяя каждое из них вслух и поглядывая на мужа.

От чехольчика пахло подвальной сыростью. Но для Эстер он пах чем-то другим — далеким и невыразимым. Может, потому память ее, как выловленная и брошенная в садок рыба, металась в поисках того, кому принадлежал чехольчик, кто вытаскивал из него перед молитвой сидур. Всех евреев вспомнила она поименно, но почти у каждого были такие же бархатные чехольчики, даже у тех, кто приходил в синагогу только по большим праздникам.

Ицхак погладил талес и совершенно произвольным движением набросил на себя — на свою выцветшую гимнастерку, и плечи его вдруг согнулись под бременем невесомого полотна, как будто он, Ицхак Малкин, сподобившийся великого и горестного счастья выжить после страшной, кровавой войны и вернуться на свою истерзанную родину, взвалил на себя все грехи мира, весь пепел, черневший на месте жилищ, все сломанные надгробия, все артиллерийские снаряды, которые четыре года летели в еврейских и нееврейских солдатиков, все оторванные руки и ноги, которые остались на полях сражений, как забытые Богом плуги, всех близких, расстрелянных в белой рошице.

— Спасибо,— сказал он Шаркинасу.

— Не за что,— не понял тот его благодарности.

Ицхак смотрел на него с почтительным удивлением. Он-то поначалу думал, что Шаркинас сухарь, чинуша, даже антисемит. Недаром же отец Довид учил: «Не спеши судить других. Никто не рождается на свет навеки хорошим или навеки плохим. В плохом человеке в один прекрасный день просыпается хороший, а в хорошем всегда бодрствует плохой».

— Послушайте,— несмело начал Малкин,— у меня к вам небольшая просьба.

Эстер в испуге глянула на мужа.

— Зачем же остановка? Если это будет в моих силах...

— Я вам его обязательно верну,— пообещал Малкин и прошелся, как по клавишам, пальцами по полотну талеса.— Часа через два, а может, и раньше.

— Ну что ж, пока вещь не музейная, берите. Надеюсь, никто вас в таком виде не остановит и в участок не заберет.

Малкин протянул Эстер завернутую в бумагу буханку подаренного хлеба— всю жизнь Ицхак получал его не в подарок, не за так, а зарабатывал честно: до войны — потом, на войне — кровью; поклонился Шаркинасу, тот заговорщически подмигнул, и гости быстро спустились по лестнице и вышли во двор.

Весеннее солнце стояло уже высоко над местечком. Ицхак шел медленно, все время оглядываясь по сторонам, как будто выискивал знакомых, но никого из прохожих не узнавал. Ему было безразлично, кого он встретит первым. Казалось, от этой встречи что-то зависит. Что? Малкин сам не мог себе ответить. Как же он удивился, когда первым знакомым оказался местечковый ксендз.

— Не сын ли вы Довида Малкина? — спросил настоятель.

Они стояли друг против друга, один — в черной сутане, другой — в белом талесе. Местечковый ксендз состоял в родстве то ли со вторым, то ли с третьим президентом Литвы. Фамилия его была Гринюс. Перед войной святой отец чинил у Довида Малкина ботинки. «У ремесла, — говорил он, — нет веры. Кто лучше шьет, кто крепче подошвы подбивает, тот и ближе к Господу».

— Надолго приехали?

— Нет, — коротко бросил Ицхак.

Разговор явно не клеился.

— Жаль. Жаль... — сказал ксендз и раскланялся.

Ицхака и Эстер не оставляло желание расспросить кого-нибудь о своих семьях, хотя, спрашивай не спрашивай, ничего утешительного не услышишь. Когда правда в крови, каждый ждет, чтобы ее смысл другой. Все охотно перекладывают правду друг на друга: мол, вы что, я ни капли чужой крови не пролил, я все четыре года пахал, косил, торговал, рыбу ловил, молился. Господи, как мало тех, кто ее проливал, и как много почему-то убитых!

Чего греха таить, и он, Ицхак Малкин, проливал чужую кровь. Два с половиной года, весной и летом, осенью и зимой, и он день-деньской в кого-то без усталости стрелял, в кого-то бесперывно целился, нажимал, зажмурившись, на курок и, вероятно, в кого-то попадал. Что с того, что это было в смертельном бою, а не в белой рожице при въезде в родное местечко? Что с того, что противник был вооружен до зубов и тоже нажимал на курок, палил круглые сутки и попадал, может, чаще, чем они, наспех обученные в Балахне? Как ни тяжело признаваться, и на нем, Ицхаке, чужая кровь. Это его братья Айзик и Гилель были безоружными. На них даже талесов не было — а вдруг пули отлетели бы от священного покрывала, как от брони?

Что за безумное время, что за проклятый век: вокруг столько смертей и так мало, так ничтожно мало правды! Он, Ицхак Малкин, не мудрец, у него вся голова не премудростью, а иголками забита, но даже он понимает то, чего не понимают вожди и полководцы: убивая друг друга, люди убивают и ее, правду.

Ицхак и Эстер не заметили, как очутились на Каунасской улице, там, откуда когда-то колокольню на все местечко раздавался стук сапожничьего молотка. От дома сапожника Довида Малкина остались только руины. В первые дни войны в него, видно, попал снаряд или бомба.

Эстер стояла посреди пепелища, и взгляд ее искал следы еще недавно живой, не очень зажиточной, но и не бедной жизни.

— Тут, — тихо произнесла она, — была наша комната.— И ткнула пальцем в кучу мусора — смесь щебня, толченого стекла, полусгнившего тряпья.

— Да, — пробормотал Ицхак.— Вон там стояла кровать.

— А тут висело зеркало, — подхватила Эстер.

— Да, — упавшим голосом повторил он вслед за ней.— Ты очень любила смотреться в него. Мама добродушно ворчала: смотришь не смотришь, красивее не станешь.

Эстер вздохнула.

— Четыре года мы в зеркало не смотрелись — не до зеркал было, — промолвил Малкин.— Может, ты хочешь посмотреться? Давай повернемся в ту

сторону. Ты нисколько не изменилась. Только поседела. Но тебе идет седина. Ей-богу, идет.

— Ври, ври,— болезненно улыбнулась она.

Они не сводили глаз с кромки горизонта, освещенного солнцем и сиявшего, как огромное зеркало с не подверженной порче поверхностью, в которое могут глядеться все погорельцы и изгнанники, все сироты, лишившиеся крова, все несчастливцы.

Ицхак никак не мог поверить, что когда-то — в кои веки это было! — тут, под потолком, качалась его люлька, тут, на этом пятачке земли, по скрипучим половицам он сделал свой первый шаг, тут он первый раз в жизни прикоснулся к нагой женщине. Как же так, неужели тут больше никогда не раздастся стук молотка, не вспыхнет субботняя свеча, не прозвучит ни одна молитва?!

— Послушай,— сказал он Эстер,— мне пришла в голову хорошая идея. Зачем нам таскать весь день этот хлеб и эти булочки? Давай все раскрошим и рассыплем. Днем прилетят птицы, ночью сбегутся мыши, и снова в доме Довида Малкина забурлит жизнь.

— Ну уж,— хмыкнула она,— так уж и забурлит. Но если тебе так хочется...— Она вынула из свертка булочку и стала ее крошить.

Раскрошила и рассыпала. Потом взялась за другую...

Эстер ходила по руинам, как крестьянка-сеятельница. Ходила и что-то сквозь слезы приговаривала. Звала не птиц и не мышей, а своих родителей и братьев сестер, расстрелянных в белой рошице.

Раскрошив и рассыпав булочки, они переломили буханку, сперва пополам, потом — на четыре доли, потом — на восемь и разбросали по кругу мягкие, еще хранившие тепло катыши.

Первыми с крыши соседнего дома, где жил путевой обходчик Игнас Довейка, спасший в войну Эстер, прилетели зоркие воробьи.

— Шолем алейхем,— сказал Ицхак и под их чирикание стал читать поминальную молитву — кадиш.

Вслед за воробьями пожаловала крикливая ворона. Она громко закаркала, замахала своими поминальными крыльями над Эстер и над Ицхаком. Карканье врывалось в молитву, пятнало ее, и Эстер, шепотом повторявшая за Ицхаком каждое слово, отгоняла незваную гостью. Но катыш хлеба был для крикуньи более желанной добычей, чем молитва.

Наконец, Ицхак выщедил из сердца весь кадиш.

Ворона, забыв про все опасности, смело вышагивала по толченому стеклу и то тут, то там выклевывала свою добычу.

— Не трогай ее,— сказал Ицхак Эстер.— Что с того, что она ворона! Может, она нас помнит лучше других.

Молитва преобразила Малкина. Прежняя печаль оставила его. Скорбь не утихла, но обрела какую-то несуетную меру.

Поправив сползающий с плеч талес, Ицхак зашагал к дому соседа — Игнаса Довейки. Если бы не Игнас, он, Малкин, приехал бы сюда один, без Эстер. Это Довейка спас ее. Сперва спрятал в товарном вагоне на железнодорожной станции, потом отвез в лес к дяде-леснику под Паневежисом, где скорее надо было опасаться оголодавших кабанов, чем немцев и их поделщиков.

В Паневежисе в сорок пятом Ицхак и встретился первый раз после войны с Эстер. Лесник Йеронимас привез ее на телеге и передал Малкину. Прошел год, а Малкины еще ни разу не наведались к Довейке. То Эстер долго болела, то Довейка куда-то уезжал и в письмах просил приехать в другой раз. У Ицхака даже закралось подозрение, что Довейка их и не очень-то хочет видеть. Малкин толкнул знакомую калитку, и пес Довейки Лушис — Барс сердито залаял.

— Не узнает,— пожаловался Ицхак жене.

— Забыл, наверное.

— Забывают люди, а не собаки.

Отвыкший за четыре года от еврейской речи Лушис залаял еще громче.

От его непрекращающегося лая проснулся прикорнувший на скамейке в Бернардинском саду Натан Гутионтов. Он уставился исклеванными сном глазами на друга и пробасил:

— Не поверишь, мы все были в талесах, и ты был в талесе.

— Откуда ты знаешь? — удивился Малкин.— Ты что, умеешь, как Вольф Мессинг, угадывать чужие мысли?

— При чем тут Вольф Мессинг! — отрубил Гутионтов. — Тюрин выстроил всех нас... Всю роту. Скомандовал: «Смирно!» Стоим, не шелохнемся. Тишина такая, что слышно, как его португез скрипит. И вдруг — бывает же такое во сне! — ротный начинает читать кадиш. По Яше Кривоносу, по Иделю Хейфецу, по Исааку Шапиро, по Баруху Пузайцеву, по Ханону Лейпскеру, по Зелику Копельману...

— Ничего не скажешь, хорошенькие сны тебе снятся, — выдохнул Ицхак.

— А где их, другие, возьмешь? Для других снов другая жизнь требуется. Какое поп, таков и приход.

Поговорка, как всегда, отношения к разговору не имела.

— А кончилось все для меня нарядом вне очереди.

— За что? — пожалел Натана Ицхак.

— За пустяк. Подошел я к Тюрину и сказал: «Товарищ лейтенант, у нас без головного убора нельзя говорить кадиш, наденьте, пожалуйста, пилотку». Все обошлось бы, если бы вся рота не грохнула от смеха.

— Послушай, Ицхак, ты у нас отгадчик снов. К чему мой сон?

— К новому наступлению, — попытался сострить Малкин.

— К какому, к черту, наступлению? Все наши наступления давно отбиты. Сейчас идет полное отступление. И не говори, что я свихнулся. Нас уже знаешь куда отбросило? К воротам еврейского кладбища. Скоро нас туда всех снесут поодиночке.

— Снесут, — согласился Ицхак. — Тебе хорошо, у тебя есть носильщики — жена, дочь. А у меня — никого. Может, портные из моего ателье соберутся, вынесут и...

О чем бы они ни спорили, ни судили, ни рядили, все их разговоры кончались кладбищем. По сути дела, кладбищем были и все их бесконечные воспоминания, призраки по нему бродили, как живые, а живые — как призраки.

— А у нас новость, — бодрясь и неестественно оживившись, без всякой связи с только что приснившимся сном произнес Гутионтов. Глаза его были печальны, как у мученика на русской иконе.

Ицхак всегда относился к сообщениям Гутионтова снисходительно-недоверчиво. Они повторялись и, уже несвежие в зародыше, от повторения покрывались еще большей плесенью. Опять расскажет что-нибудь смешное и трогательное о своей Джеки или примется поругивать Горбачева и Ландсбергиса: первый, мол, литовцев не отпускает, а второй слишком спешит.

Но на сей раз Малкин в словах Гутионтова уловил что-то и впрямь новое, не зачерствевшее, как старый хлеб. У этой новости был другой запах, от нее пахло если не бедой, то чем-то тревожным и неотвратимым. И Малкин не ошибся.

— Ты не поверишь, но Лариса прислала вызов, — сказал Гутионтов и испуганно замолк.

Он не знал, как это известие воспримет Ицхак. Столько лет вместе провели, и вдруг расставайся навеки. Случись с ним в Израиле что-нибудь — Ицхак плечо под его гроб не подставит. И он, Натан, оттуда не приедет, не прилетит, когда наступит час...

— Ни я, ни Нина у нее никаких бумаг не просили. Про кофе писали, про таблетки от астмы. Я на новую бритву намекал, но чтобы вызов... — стал почему-то оправдываться Гутионтов.

Ицхак не отвечал, сидел, зажмурившись, как слепой. Солнечный свет, разлитый над Бернардинским садом, раздражал его. С ним не раз так бывало, особенно когда захлестывала печаль. Еще отец учил: радоваться хорошо на свету, а горевать — во мраке.

— Ну скажи, не сдурела ли девка?.. Зачем мы Израилю? Зачем Израиль нам?

Ицхак молчал. Его мысли витали где-то во тьме, где не было ничего, кроме крыш родного местечка.

— Там что, русских жен не хватает? — тормозил Гутионтов Ицхака.

И до русских жен Малкину не было никакого дела.

— Нина если и поедет, то только обратно в Балахну. Ее Израиль — Россия. Там ее земля обетованная. Сам, говорит, поезжай.

Натан ждал, когда Малкин оставит свою тьму, но тот и не думал из нее выбираться.

— А без Нины Андреевны что мне там делать? — скорбно вопрошал Гутионтов. — По-твоему, кто дороже — жена или дочь?

— Не знаю. У меня никогда не было ни сына, ни дочери.

За калиткой исходил злобой Лушис. Он метался на длинной цепи и рвался в бой. Лай его заглушал все вопросы и ответы.

— Ты меня не понял, — обмяк Гутионтов. — Я хочу, чтобы она не уехала в свою Балахну. С моей деревяшкой ее не догонишь.

— Хорошо, — пообещал Малкин, — поговорю. Нечего ей ехать ни туда, ни туда. Как говорил мой дядя Рахмиэль, приехали — распрягай лошадь, прячь кнут.

Мимо с метлой прошествовала пани Зофья. Она бросила взгляд на разморенного исповеда Ицхака — ему все исповедуются. Хмыкнула и скрылась за деревьями.

— Я давно распряг лошадь, а кнута у меня никогда не было.

— У тебя был пряник, — пошутил Малкин.

— Ты шутишь, а мне страшно. Приду однажды домой из парка, а дом пустой. И на столе записка: «Счастливого пути. Н. З.» Как на кисете. И ищи ветра в поле. Я никогда от тебя ничего не скрывал. Мне уже никуда не хочется, ни куда. Есть у тебя таблетка? — тяжело дыша, спросил он.

— Есть, — засуетился Ицхак и достал из пиджака валидол.

Натан положил под язык лекарство, подождал, пока таблетка рассосется.

— Ни к дочери, ни к внуку меня уже не тянет. Мне все равно, где лежать: весь мир — одна могила. Как от других ни отгораживайся, а дотлевать приходится всем в одной земле. Есть один человек на свете, который меня понимает, — это ты. Ведь и ты небось не согласился бы мерзнуть или потеть на том свете отдельно от жены только потому, что она русачка. Вместе с Ниной столько прошли, вместе и лежать должны. Если дочка захочет над нами слезу пролить, то купит себе билет на самолет и прилетит. Нам много слез не надо. Иногда одна слезинка целого моря стоит, потому что в ней умещаются все моря на свете, если плачут не глаза, а сердце.

Ицхак никогда от Натана ничего подобного не слышал. Речь Гутионтова, очищенная тревогой от житейского сора, пламенела, как подоженный спирт. Полная горечи и смятения, легко разгадываемых недомолвок, она изумила Малкина и повергла в уныние. Гутионтов никогда не был говоруном. В отличие от своих собратьев по ремеслу он не докучал своим клиентам неумеренной болтовней: в прилавочной парикмахерской народу — уйма. Гул, галдеж, ругань, спешка — только поворачивайся, только стрекочи ножницами, посеркивай бритвой. Стрижка — копейки, бритве — чуть ли не задарма. У Гутионтова все привиленские деревни стриглись да еще пол-Белоруссии. Клиенты любили его, хотя за глаза и «дешевым жидом» называли. Но Натан на них не обижался — что с деревенщины возьмешь, ум у них жиже, чем бороды.

Ицхак смотрел на Гутионтова, как на совершенно незнакомого человека. Таким, как сегодня, он его никогда не видел. Мудрец, златоуст, страдалец. Только что же ему посоветовать? Бросить вызов в мусорную корзину или изорвать на мелкие клочки, но такой совет любой дурак даст.

Легко сказать! Ведь от этого зависит, куда жизнь повернется, долга ли она, коротка ли, как спичка. Может, там, за тридевять земель, под расточительным солнцем, которое светит вовсю круглый год, там, рядом с дочерью, какой-никакой, но второй кровиночкой, с внуком, имя которого не сразу и выговоришь, на год, на два протянешь дольше, будешь уплетать персики и абрикосы, виноград и другие диковинные фрукты, в Израиле их вроде бы столько, сколько в Литве сосновой хвои.

А тут что? Скамейка в парке ненужных евреев, термос с заваренным чаем, бутерброд с постной колбаской, ломтик литовского сыра. И сны. И воспоминания. Наверное, нет на свете страны, где люди так богаты воспоминаниями, где прошлого гораздо больше, чем настоящего. А будущее? Будущее заколочено крест-накрест, как покинутая усадьба. Конечно, все они свой вызов уже получили. Что такое бумага Ларисы, скрепленная казенной печатью, по сравнению с ним? Небесная почта работает безотказно. Если почтальон — посланец Господа Бога — и задержится чуть в дороге, все равно найдет тебя и скажет: напишишь в получении. Распишешься и подведешь черту под всеми своими снами и воспоминаниями.

Ицхак не мог и не хотел себе представить, что пройдет месяц-другой, и он поутру направится не в облюбованный всеми ими парк у подножия княжеского замка, а на пропахший паровозным дымом, едким потом, прокисшими объедами, бездомностью и сиротством железнодорожный вокзал, чтобы проводить в другой город, в другую страну, на другую планету своего старого друга. Как ни тщился Малкин, он не мог вообразить эти проводы, похожие на похороны, на которых есть покойник, но нет гроба и на которых каждый провожает каждого в тот же путь, но делает вид, будто они отправляются в разные стороны. Одно было Малкину ясно с самого начала: без жены Натан никуда не уедет, он без нее даже на курорт в Друскининкай не уезжал.

Как ни странно, Ицхака пугал не сам отъезд, а сбор на выщербленном перроне, под большими вокзальными часами, которые отсчитывают другое — неземное — время. Придут, конечно, и Моше Гершензон, и Гирш Оленев-Померанц, и беспамятливая Лея Стависская с внучкой, и, может быть, ночная еврейка пани Зофья. Придут, станут у подножки вагона, прижмутся друг к другу и вдруг, как никогда, осознают: как их мало, как их до жути мало.

Натан Гутионтов смотрел на притихшего Ицхака и уже жалел о том, что сказал ему про вызов. Только расстроился человек. Ему-то, Ицхаку, не на что надеяться.

— Кажется, дождь пошел. Может, махнем в павильон? Второй день подряд ношу с собой и бритву, и помазок, и крем, и одеколон. В термосе — кипяток. Нина даже полотенце положила. Не бойся, не прирежу. У всех Гутионтовых в руках ума было больше, чем в голове. Так уж Бог рассудил. А Он — не ротный повар, Ему не скажешь: добавь, Васёк, мозгов.

Они встали со скамейки и направились к летнему павильону, где размещалось кафе. Лил дождь, сумбурный и щедрый. Пес Игнаса Довеики, спасшего от гибели Эстер, забился в конуру; часы на перроне еще показывали не время разлуки, а хрупкое время совместного, нерасчлененного житья-бытья; на столике под куполом кафе легла старая бритва, истосковавшаяся по руке мастера и ароматной мыльной пене. И в эту минуту они все были счастливы — и Натан Гутионтов, и Ицхак Малкин, и далекая Лариса, и пес Довеики, и дождь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Лея пожаловала,— проворчал Гутионтов, намыливая правую щеку Малкина.— Стоит под деревом и ждет, когда дождь кончится.

— Давненько ее не было,— не поворачивая головы, бросил Ицхак.— Я уже думал — не придет.

Дождь барабанил по куполу кафе, медленно скользила бритва, пахло весенней прелью, предвещавшей близкое цветение. Ицхак прислушивался к поскребыванию бритвы, и мысли его невольно устремлялись туда, в дождь, под дерево, к его дальней родственнице, страдавшей от неизлечимого, прежде не известного местечковым евреям недуга. Ни Ицхак, ни его отец никогда не слышали, чтобы кто-нибудь вдруг и навсегда потерял память.

Лея редко приходила в Бернардинский сад. Если и приходила, то не сама — ее приводила либо внучка Авива, либо дочь Сарра, толстуха с широко расставленными, черными, как у цыганки, глазами, со старомодной косой, уложенной калачом. Они оставляли Лею на попечение Малкина, иногда до полудня, а иногда и до вечера. Сарра Стависская работала поблизости в банке и ровно в четыре, тютелька в тютельку, как и подобает человеку, имеющему дело с деньгами, прибегала за матерью.

Лея, бывало, исчезала на месяц-полтора, а потом так же неожиданно возникала. Каждое ее исчезновение воспринималось Малкиным, как знак беды. Все, кроме Моше Гершензона, относились к Стависской сочувственно. Только грамотей Моше не терпел ее и делал все, чтобы отвадить старуху. Кому, дескать, нужны ее кривляния, ее зевки, ее пугающие ахи и охи? Они собираются тут не для зевков, а для того, чтобы что-то вспомнить. Ицхак, Гутионтов и Гирш Оленев-Померанц заступались за Стависскую, взывали к великодушию Моше, но Гершензон и слышать не хотел. «Ее место дома или в богадельне. За чем нам эта развалина?»

— Все мы развалины, — говорил Ицхак. — Может, Лея вспоминает молча — взглядом, жестом, сердцебиением? Может, случится чудо и к ней вернется память, пробудится ото сна разум?

— От зевков, что ли? — не отступал грамотей Гершензон.

Малкину все-таки удалось уломать упряма. Моше — не злой человек. Он просто несчастный. А несчастье не любит, когда рядом другое несчастье, — оно только подчеркивает твое собственное. Его раздражали разговоры о чудесах. Ицхак не раз пытался ему объяснить, что без веры в чудо еврей — не еврей. Еврей сам по себе — чудо: на кострах его жгли, газом травили, по сей день чернят и поносят, преследуют и унижают, а он живет, потому что уже в пеленках верит в чудо.

Гутионтов не спешил, он как бы наслаждался своей работой, который раз намывивал щеки своего друга, снимал ремень, привязывал его к стулу и затачивал об него бритву. Ицхак не торопил его — пусть порадуется, пусть ответит душе. Малкин всматривался в завесу дождя, но тот не прекращался, щедро высевая, как зерна, крупные, ядерные капли. Не приведи Господь оказаться на месте Леи. Врагу не пожелаешь. Живет и не живет. И никакого лекарства нет.

Единственное, что Стависская помнила, хотя и смутно, — это восемнадцатый год, когда ее, молодую, смазливую девчонку, принял продавицей в свою лавку колониальных товаров Бенъямин Пагирский. После этого время для нее как бы остановилось — внезапно, резко, как скорый поезд на конечной станции, не будет другого времени года, кроме золотой осени восемнадцатого; никакой другой лавки, никакого другого хозяина, и, что самое страшное, она навсегда останется шестнадцатилетней.

Прошло почти что семьдесят лет, но Лея Ставиская и сейчас помнила, какие товары лежали на полках лавки и какие хранились в огромной, запертой на семь замков кладовой. Чего только там не было: чернослив и арахис из Турции, миндаль и курага из Персии, орехи и марципаны из Греции, рис из Китая, кофейные зерна из Бразилии. Лея помнила цены на товары и фамилии тех, кто приходил в лавку, их вкусы и прихоти.

Гроздья невиданных плодов висели в испорченной памяти Леи Ставиской. Память-дерево цвело редко и недолго, но, когда оно зацветало или плодоносило, Лея Ставиская оживала, и в тишине Бернардинского сада звучал ее, казалось, не тронутый временем грудной, шестнадцатилетний голос.

— Три фунта изюма стоили рубль. Корица шла по цене от десяти до пятидесяти копеек за кулечек. А как пахла! Как пахла!

Лея принялась к липе, как к коричному дереву, и в те просветленные мгновения не только ей, но и им мнилось, будто от обыкновенной литовской липы по всему парку струится ни с чем не сравнимый сладостный аромат далеких роц и морей.

Моше Гершензон и тот шмыгал своим увесистым, как огурец, носом. Но больше всего радовался Ицхак Малкин: оказывается, и ее, Леи, воспоминания могут щекотать ноздри. Велика ли радость, когда входим в воспоминания только как в мертвецкую, из которой разит трупным запахом? Уж лучше дышать воздухом колониальной лавки. Что с того, что ничего не купишь?

Натан Гутионтов, забыв о своем увечье, вьюном вертелся вокруг Ицхака. Он размахивал бритвой, как шашкой, ее лезвие сверкало в воздухе, и от этого сверкания рябило в глазах. Право слово, никогда еще в жизни Натан не работал с таким тщанием и ответственностью. Даже самый маленький порез был бы для него позором, даже капля крови запятнала бы его честь, его радость, по которой он так истосковался.

Господи, он снова парикмахер! Не важно, что трудится не в сверкающем зеркалами салоне, а в закрытом до начала лета кафе. Как жаль, что за его работой не наблюдают ни брюзга Моше Гершензон, ни опаленный несчастьями Гириш Оленев-Померанц. Натан им бесчисленное множество раз предлагал: «Приходите ко мне домой, я буду вас стричь и брить бесплатно до гробовой доски». Но они, негодяи, не желают ни даром, ни за деньги.

Брался за бритву Гутионтов и раньше — бывало, забежит пьяница-сосед, Натан его пострижет и побреет и даже магарыч тому поставит, только, мол, приходи. Но одно дело — пьяница, а другое — Малкин. Ицхак сам уже лет пять иголку в руки не берет. Как отпраздновал свой трудовой юбилей — семьдесят лет с того дня, как в подмастерья попросился, — так и не шьет. Воткнул все иголочки в подушечку и повесил над кроватью.

Правда, неукротимый Гирш Оленев-Померанц уверяет, что Малкин нет-нет да оседлает «Зингер». Когда Гутионтов спросил у флейтиста: «А что Ицхак, оседлав своего коня, делает?» — Гирш Оленев-Померанц замялся и сказал: — Сидит и нажимает на педали.

Портному хорошо: закрыл глаза — и кати по белу свету. Есть и у цирюльника машинка, но стрекочи, не стрекочи, никуда на ней не уедешь, никуда не улетишь.

Как жаль, что до сих пор не пришли ни Моше Гершензон, ни Гирш Оленев-Померанц. Если же дождь прекратится и подоспеет Лея Ставиская, то в ней что проку? Не успел Гутионтов подумать о Лее, как она вдруг двинулась сквозь дождь, без зонтика. Шла она не одна, а в сопровождении чернявой внучки Авивы, высокой девочки в белоснежной майке, на которой по-английски было начертано: «Beatles». В руках у нее была зачехленная ракетка. Авива училась играть на форте.

Ставиская шла, вытянув вперед руку, как будто пыталась, как занавес, раздвинуть струи дождя. Ицхак неотрывно смотрел на нее и ловил себя на мысли, что перед ним ослепшая нищенка. Он силился представить ее черноокой местечковой красавицей, но никак не мог. Какая страшная участь! Весь мир втиснулся для нее в одну точку — в лавку колониальных товаров Бенямина Пагирского. Бенямин Пагирский был для Леи Ставиской Господом Богом, сотворившим все: и ее, третью дочь в семье плотогона Нахмана, и фельдшерницу Амалию Флек, и помещичьего отпрыска Леха Тиминьского. Сердобольный лавочник был для нее тем, кто создал все блага на земле: в первый день сотворил инжир и марципаны, во второй — кубинские сигары и китайский рис, в третий — грецкие орехи и финики, в четвертый — цейлонский чай и бразильский кофе, в пятый — оливковое масло, в шестой — турецкий чернослив и арахис и, отдохнув, на седьмой день вылепил из ребра Адама ее, Лею Ставискую.

Придя в Бернардинский сад, она обычно спускалась к журчащей Вилейке — притоку Вилии, молитвенно окунала в воду руки, а потом час-другой отрешенно и безмятежно паслась на берегу, как смиренные коровы ее детства. Иногда с берега до слуха Ицхака, прохаживавшегося на всякий случай по откосу, доносилось ее негромкое пение. В молодости у нее был низкий грудной голос, который выделял ее среди подруг, недаром она была запевалой на всех свадьбах. Вздурораженный и растроганный ее пением-всхлипом Малкин спускался с откоса к реке, садился на траву и чуть слышно, хрипловато подпевал. Со стороны, наверное, их пение производило ошеломляющее впечатление — так поют перед концом света, но никто на них не обращал внимания, и усеченные, чем-то напоминавшие култышку Гутионтова еврейские колыбельные плыли над журчащей Вилейкой, над склонами священной княжеской горы.

Через некоторое время оба они умолкали и принимались суеверно вглядываться в воду, как будто на ее поверхности могли прочесть что-то такое, чего до сих пор не знали и что, может, и не осчастливило бы их, но и не сделало бы несчастнее. Казалось, река была усыпана часами со сверкающими циферблатами.

Еще совсем недавно Ицхак не верил в ее болезнь, думал: Лея придуривается. Каждому выгодно юркнуть в беспамятство, как нашкодившей мыши в норку. Прошлой осенью — Малкин до сих пор стыдится своего поступка — он устроил ей проверку:

— Помнишь, как мы с тобой около старого моста над Вилеей всю ночь билинками друг друга щекотали?

Лея Ставиская даже головы не повернула в его сторону.

— Помнишь, как твой отец повалил меня на землю, стянул портки, врезал почем зря своей ручищей и, схватив тебя, бросил: «Еврейские дети до свадьбы в такие игры не играют?»

Но и тогда у нее в памяти ничего не вспыхнуло.

— Следующий! — по обыкновению объявил сияющий Натан Гутионтов, закончив бритье.

Никто не отозвался.

— Ты еще мастер, — не поспешил на похвалу Малкин и несколько раз погладил свои чисто выбритые щеки. — Ни одной ранки, ни одной щетинки. Да и морщин, кажется, поубавилось. Ты что, и их умеешь сбривать?

— Я все умею, — искренне похвастался Натан.

— Мог бы, пожалуй, еще годик поработать.

— Предлагали одну халтуру, но я отказался.

— Отказался? — удивился Малкин. — Почему?

— Ну, во-первых, место неподходящее. Дом Печали. Чего-чего, а печали у меня и без того хватает. Во-вторых, не тот контингент. Я никогда, Ицхак, не стриг и не брил мертвых. Директору что? Был бы работник. Я же люблю смотреть клиентам в глаза, слышать их дыхание, их кашель, их чихи, видеть, как они крутятся-вертятся, знать, кто честит правительство, а кто стелется перед ним травкой, у кого любовница, а у кого четвертая жена. Тогда и я поношу правителей, тогда и я стелюсь травкой, тогда — страшно вымолвить — и у меня любовница. Следующий! — задиристо выкрикнул Натан и, кинув на руку полотенце, застыл в выжидательной стойке.

В павильоне пахло кремом для бритья. Натан вдыхал этот запах полной грудью, как дух весеннего луга, и что-то неосязаемое и неуловимое вдруг подхватило его, вознесло над Бернардинским садом и увлекло к началу начал — к парикмахерской Пинхаса Ковальского, брадобрея из брадобреев, получившего диплом в головокружительном, недосыгаемом Париже.

— Что такое парикмахер? — спросил он у юного Гутионтова, когда тот переступил порог его заведения и испуганно застыл перед зеркалом. — Не раввины, юноша, — посланцы Бога на земле, а мы. Что могут раввины? Научить человека читать, молиться. Всевышний одел человека в плоть, влил в его жилы кровь, а все остальное сделали парикмахеры. Без них человечество заросло бы мхом.

Гутионтов не смел ему перечить, хотя и не понимал почему, ведь ножницы есть и у портного.

— Если вы, молодой человек, запомните главную нашу заповедь — возлюби бритву, как ближнего своего, — то я вас, пожалуй, приму в ученики.

— Возлюблю! — поклялся Натан. — Возлюблю.

Порывы ветра швыряли пригоршнями капли дождя во все стороны. Господь Бог из своего неиссякаемого пульверизатора щедро поливал Бернардинский сад, княжеский замок на горе, скамейки под липами, брезентовую крышу сиротливого кафе.

От щедрот дождя оживала и память Гутионтова. Он еще долго не выходил из парикмахерской Пинхаса Ковальского, таскал горячие компрессы для клиентов, хватался за метлу, подметал чужие волосы и каждый день был счастлив — от пара, от веселого позвякивания ножниц, от сверкания огромного зеркала, купленного хоть и не в Париже, но где-то за границей. Он до сих пор помнит свое отражение в нем и не хочет себя видеть другим.

Ливень одолел и Лею. Она остановилась, снова прижалась к корявому стволу липы и, как кроной, накрыла кольцом своих рук голову Авивы. В этой ее неожиданной ласке, в этом желании уберечь внучку от струй, было что-то от нее прежней, памятной.

Воспоминания преображали лицо, лишали его будничности и окаменелости, озаряли другим, нездешним светом. Оно вдруг расслаблялось, мягчело, теплело — не важно, кто что вспоминал: плывущую под потолком люльку или окопы на Орловщине, смертельный лагерь в Вормсхейме или добродушное мурлыканье кота рабби Менделя на крыше, при базарную парикмахерскую или ансамбль песни и пляски Прибалтийского военного округа.

Скверную привычку унаследовал от отца Ицхак Малкин. Другие целый день шьют или тачают сапоги и ни о чем, кроме как о брюках и сапогах, не думают. И так проходят годы, десятилетия. Но не таков Ицхак. Сколько раз он себе говорил: какое тебе дело до того, что творится в этом сумасшедшем, в этом ужасном мире? Разве своей иглой все его дыры залатаешь? Разве вывернешь его наизнанку и из старого барахла сошьешь обнову? Но Ицхак не вял голосу разума. Еще подмастерьем, он уподобил иглолку человеческой мысли. В отличие от иглойки, думал он, мысль можно долго не менять, если затачивать ее, чтобы не затупилась и не заржавела. Но ржавеет мысль, изнашивается сердце, которое вдруг споткнется о беду и развалится, как ботинок.

Дождь изнемог, небо прояснилось. Из конуры снова вылез Лушис — пс Игнаса Довейки; снова загремела цепь на притихшей Каунасской улице; закаркали ненасытные вороны над руинами отчего дома; снова Эстер дернула за хвостик проволок у калитки. На крыльцо никто не вышел, видно, Довейка куда-то уехал. Да его и винить нельзя: Малкины не предупредили его ни письмом, ни телеграммой. Да и куда пошлешь, если у тебя ни адреса нет, ни уверенности в

том, что за год ничего не случилось. Мог переехать, могли за какие-нибудь грехи и ухлопать.

— Последний поезд в Вильнюс в шесть тридцать,— прошептала Эстер.

Поездка их вдруг обесмыслилась, исчерпалась — ну, еще одни руины, ну, еще одно кладбище, ну, еще один пес на цепи...

— Здравствуйте,— пропела Авива.— За бабушкой в четыре придет мама. Бай! — помахала она рукой и упорхнула.

— До свидания,— ответил за всех Гутионтов.

Старуха прошла в павильон и опустилась на плетеный стул.

— Красавица у тебя внучка,— подбодрил ее Ицхак.

Лея рассеянно глянула на него. Ицхак знал, что ни хула, ни похвала ее давно не трогают — пробормочет что-то нечленораздельное или улыбнется так, что только мурашки по спине.

— Чемпионкой будет, миллионы заработает,— прибавил к похвале Ицхака Гутионтов. Его все еще рапирало от радости, и он был не прочь отсыпать ее, как горсть семечек, другому.— Ты, Лея, хорошо сегодня выглядишь. Мы сегодня все хорошо выглядим. Весь мир сегодня хорошо выглядит,— проспрыгал он напоследок.

Стависская громко задышала и вдруг против их ожидания вытолкнула из горла:

— Еврейская кровь есть еврейская кровь.

Ицхак и Натан переглянулись. Что она имела в виду?

Малкину на ум почему-то пришло крещение Авивы в Эчмиадзине в Армении. Отец ее, армянин, увез маленькую дочку на свою родину и окрестил. Сарра настояла, чтобы девочку назвали Авива — Весна. Весна так весна, согласился отец-христианин. Но Лея произнесла слова с такой яростью, с таким молодым неистовством, что Ицхак отбросил свою догадку.

Малкин опасался, что они могут вспугнуть ее попытку заговорить о чем-то сокровенном и Лея снова погрузится в свое непролазное молчание. Как бы то ни было, и Ицхак, и Натан понимали, что за ее вырвавшимся не то благословением, не то проклятием кроется какая-то смертельная обида.

Тишина, как сосновая смола, сочилась в уши. Гутионтов и Малкин смотрели друг на друга и, как из засады, подстергали каждое ее слово. Но Стависская безучастно босоножкой гоняла под столиком картонный стаканчик из-под мороженого. Перекатывание, видно, успокаивало ее и примиряло с обидой. С близлежащего корта долетало размеренное постукивание теннисного мячика о стенку. Лея то и дело поворачивала голову и старалась что-то разглядеть и услышать, но это не имело никакого отношения ни к крещеной Авиве, ни к корту, ни даже к этому времени.

Натан Гутионтов, потерявший надежду что-нибудь еще услышать от Леи, заторопился к телефонной будке, из которой через каждые два часа звонил своей Нине, как опытный муж-изменник или неисправимый ревнивец.

Отчаялся разговорить Стависскую и Ицхак. Он размышлял о том, что, может, это и к лучшему, что она ничего, кроме лавки Пагирского, не помнит. Ведь есть память-мстительница, везде и всюду выискивающая свою жертву, только и помышляющая, как бы свести счеты, хотя бы в мыслях, смять, раздавить, казнить. И есть память — болючая сиделка, выхаживающая раненых, поднимающая на ноги увечных, укрепляющая дух обиженных и униженных. Малкин не задумывался, какая из них была у Леи. Его страшили глухие, недобрые намеки Гершензона, невнятные подозрения Моше о ее послевоенном прошлом. Моше убежал от прямого ответа на вопросы, но чувствовалось: он знает больше, чем они все, вместе взятые. Может, даже он когда-то имел дело со Стависской. Или у него были счеты с ее мужем, служившим в учреждении, которое наводило ужас на всех.

Как бы угадав мысли Малкина, Лея вдруг упрямо и остервенело произнесла:

— Убить хочет... Убить.

Ицхак боялся поднять на нее глаза. Он сидел на пластмассовом стуле, понував голову, и пытался сопоставить первую фразу Стависской со второй. Он был уверен, что между ними существует трудноуловимая связь, может, даже зависимость, которую не так-то просто было установить. Мешали Малкину и намеки Моше, заставляя то и дело возвращаться к тому времени, когда муж Леи

да и сама Лея получали жалованье не открыто, как все, а в строго охраняемом месте.

О семье Ставиской все время шушукались, сплетничали. Еще совсем недавно евреи живо обсуждали слух о том, что Стависские — Мнацаканыны наладились уехать, и не куда-нибудь, а в Австралию. И это несмотря на то, что у Леи в Израиле жили две сестры и брат, причем у брата была сеть магазинов. Но златокузнец Самвел Мнацаканын и слышать не хотел о земле обетованной. Его не прельщали ни богатые родственники, ни старинная армянская церковь в Иерусалиме. В Австралию, и все.

Зять наотрез отказывался брать тещу с собой. Но Сарра сказала: «Лучше разведусь, но маму не брошу». Так они и застряли в надежде на то, что Лея долго не протянет. Смерти Ставиская, наверное, и не боялась. Она скорее боялась другого, но чего именно, никто не мог у нее выведать.

В послевоенные годы она не делала тайны из того, что служила, как она выражалась, в карательных органах города Каунаса, знали и о том, что Лея была и в гетто, и в лесу — в партизанском отряде. Ставиская только не называла по имени свое учреждение: и так было ясно. Там же фотографом работал и ее муж, тихий и непостижимый, как засвеченная пленка, Лейбе Хазин, снимавший, как нетрудно догадаться, не народные гулянья.

В пятьдесят третьем году, незадолго до смерти Сталина, их за «принадлежность к лицам еврейской национальности» оттуда выгнали, и Лейбе Хазин устроился в фотоателье на спешно переименованном после смерти вождя проспекте и до самой кончины от застарелой чахотки снимал молодоженов, работников искусств — певцов, танцовщиц, писателей. А Лея «сидела на кассе».

Снимал Лейбе Хазин и похороны Эстер, долго щелкал своим «ФЭДом», но не произнес ни одного слова соболезнования. И не потому, что у него не было сердца, а потому, что выше всего на свете ценил молчание. Ицхаку навсегда в память запало его выражение: «Первый и главный наш могильщик — язык. Чем больше болтаешь, тем быстрее себя закапываешь». Лейбе Хазин был философом молчания. «Камень, — говорил он, — живет тысячу лет, дерево стоит века, потому что молчат. Хочешь жить — молчи».

Малкин никогда и думать не думал, что Хазин и его жена причастны к каким-нибудь злодеяниям, участвовали в кровавой послевоенной охоте, длившейся почти десять лет. Он обо всех судил по себе: раз он честный человек, то и все вокруг такие же. Жизнь не раз карала его за доверчивость и наивность. Он, конечно, понимал, что тайная служба без тайн не обходится. Да, он слышал, будто Лея записывала чьи-то показания, а Лейбе Хазин фотографировал трупы убитых лесовиков, чтобы их легче было опознавать. Но разве скрип пера и щелчок «ФЭДа» — недостаточный повод для того, чтобы потом ночами не спать, терзаться? Недаром же, видно, в хромонового, улыбчивого Лейбе и в нее, бойкую, никогда не унывавшую Лею, уже изгнанных из того всесильного и внушавшего ужас учреждения, разрядили в подворотне обоюму.

— Произошла ошибка, — клялась Лея, когда вернулась из больницы с рукой, помеченной мстительной пулей. — Нас с Лейбе приняли за других.

Пуля никого не принимает за других. Особенно тех, в кого метит. В ту ночь в темной подворотне, под каменными сводами которой до рассвета носились летучие мыши, и началось Леино беспамяństwo.

Стрельба была нешуточной: пули изгрызли стены, угодили в ни в чем не повинных птиц, питавшихся мраком, как самой изысканной пищей. Весь проход был усеян штукатуркой, на которой валялись тушки летучих мышей. Поутру сын соседки, почтальонши Зои, долговязый, поджарый парень, подмел в подворотне, лопатой сгреб тушки, отнес их отощавшему дворовому коту, но тот только обнюхал милостыню, фыркнул и бросился наутек. «Боже милостивый, какое было время! Мраком питались и люди, и птицы», — подумал Ицхак и метнул взгляд на Лею.

Малкин и после той таинственной стрельбы старался держаться с ними по-прежнему ровно и незлобиво. Что, если их и впрямь приняли за других? Какое он имеет право выносить приговоры, осуждать кого-то, клеймить? Он что, высший и непогрешимый судья, он что, может поручиться, что было именно так, а не эдак? Судей, как оглянешься вокруг, и без него хватает. С кем ни поговоришь, куда ни повернешься — одни судьи.

Он, Ицхак, с детства был приучен всегда судить только самого себя. Отец Довид, светлый ему рай, каждый вечер склонявшийся над какой-нибудь свя-

щенной книгой, знавший наизусть целые страницы из Рамбама, говорил ему, мальцу: «Когда судишь себя, в мире становится одним честным человеком больше. Когда судишь других, число подсудимых на земле умножается».

Эстер сердилась на него, доказывала, что он не хочет их судить просто из боязни.

— Хорошо, хорошо, ты права, — успокаивал он жену. — Я их побаиваюсь. Кто раз убил, тот убьет и второй раз, даже если сам превратился из палача в жертву.

Как он ни оправдывался, он все равно всех жалел — и грешников, и праведников. Жалость вытесняла у него даже чувство справедливости. Моше Гершензон корил Ицхака за мягкотелость и слабохарактерность, учил житейской мудрости, предлагал спуститься с облаков на землю.

— В облаках, — отшучивался Малкин, — не так тесно.

Моше Гершензон, как и Эстер, прощал ему прекраснодушие.

— Вот ты, например, говоришь, что каждый еврей сам по себе чудо. Не всякий, голубчик, не всякий. Среди нас немало и чудовищ.

— По-твоему, Лея... чудовище?

Гершензон уклонился от ответа.

Выглянуло солнце, подсохла земля; тучи расступились, растрепались, и ветер, озоровавший над Бернардинским садом, как щука в тихой заводи, погнал их прочь от Кафедрального собора к скромному местечковому костелу, от павильона пустующего летнего кафе к синагоге-пекарне, от входа на теннисный корт, где о мокрую стенку, как о двери своей будущей судьбы — литовской ли, армянской ли, австралийской ли, израильской ли — прилежно и упорно стучала оранжевым мячиком честолюбивая Авива, к калитке путевого обходчика Игнаса Довейки, в беспокойный, пороховой сорок шестой год. Ицхак одновременно шагнул из павильона летнего кафе на два берега — Вилейки и Вилии. За ним послушно, как тучи за ветром, засемили две женщины — Лея Ставиская и Эстер.

Не успел он выйти на парковую дорожку, как время снова раздвоилось, расслоилось, и Малкин, как это уже не раз с ним бывало, принялся перебегать из одного десятилетия в другое, как с одной стороны улицы на другую. От таких перебежек он выбивался из сил, но никак не мог остаться в каком-то одном из выпавших ему на долю времен. Иногда, страдая от такого раздвоения, он тайно завидовал Лее, навсегда застрявшей в лавке Беньямина Пагирского.

Ставиская продолжала что-то бормотать, и ее бормотание, глухое и звероватое, вырывало Ицхака оттуда, из сорок шестого, как гвоздь из стены. Оно выводило его из себя. Господи, да так ли уж важно раскрыть ее запертую в нестораемый шкаф беспамятства тайну? Разве немилосердное, прозорливое время, выпавшее на долю их поколения, само по себе не страшная и до нелепости не пошлая тайна, которая так и останется неразгаданной? Он, Ицхак, и она, Лея, — незаметные пылинки в его, времени, часах, опрокинутых на их головы.

Ицхака не оставляло дурное предчувствие, что сегодня что-то должно обязательно случиться, чего никогда не было раньше. А чего не было раньше? Было все, кроме смерти. Вернее, была и смерть, но она проходила мимо них. Ему не терпелось, чтобы из банка пришла толстуха Сарра и освободила его от дурных предчувствий, от унижительных подозрений, чтобы он мог наконец остаться наедине с Эстер, на том берегу, где без соглядатаев паслись бессмертные коровы и собирали нектар пчелы, словно залетевшие из рая.

Как хорошо, что на реку, как на пиджак или на платые, нельзя нацепить ни белую повязку полица, ни желтую лату изгоя! Как замечательно, что ее журчание нельзя занести, как показание, ни в какой протокол! Как славно, что река ни при какой власти не меняет ни своего окраса, ни своего течения!

— Эстер, — сказал Ицхак, — что ты скажешь на то, если я попрошу тебя раздеться?

— Как — раздеться?! — испугалась та.

Малкин на виду у ошарашенной жены снял с себя талес, аккуратно расстелил его на траве, расшнуровал ботинки, расстегнул ремень, снял брюки, сдернул рубашку и двинулся к реке.

— Холодно, — сказала Эстер. — Дождемся лета.

— До лета еще дожить надо.

Ицхак не знал, как объяснить Эстер, что они выйдут из этой воды, как из чистилища, что река омоет не их усталые, обветренные лица, не их натружен-

ные ноги, а души, исцелит их раны, унесет их печаль, их обиды в море и они начнут новую жизнь, не задумываясь ни о прошлом, ни о будущем.

— Иди же, иди! — тормошил ее Ицхак. — Пока не пошел дождь.

— Да у нас и вытереться-то нечем.

Ну как ей объяснить, что эта вода никогда не высохнет, ибо каждая ее капля проникает внутрь, туда, где от свирепствовавшей четыре года засухи сморщилось сердце? Как объяснить ей, что капли такой воды хватает для орошения невидимой глазу пустыни?

Ицхак спустился к берегу и, как тяжелый снаряд, врезался в воду. Брызги смешались с каплями дождя. Небо заволокло тучами. Ветер, пригнавший их из другого десятилетия, из Вильнюса, из Бернардинского сада, сюда, в сорок шестой год, сам прильнул к реке, взъерошил гладь, вздыбил волны.

Эстер, поеживаясь, смотрела на мужа, который неистовствовал — откуда у него взялись силы? — в этой пузырившейся от непрекращающегося дождя и его мощных гребков воде.

В мгновение ока он перемахнул на другой берег, приветственно замахал Эстер рукой; и вдруг она увидела, как Ицхак направился к пасшемуся на том берегу стаду, как, голый, подошел к первой попавшейся корове и уткнулся в ее шею, словно в грудь матери. Буренка ни с того ни с сего замычала, а он сложил ладони лодочкой, поднес к губам и что есть мочи закричал:

— Ау-у-у! Ау-у-у! Айзик! Гилель!.. Ципора! Хава!..

Голос его, казалось, разрывал, как старое сукно, небо.

— Ицхак! — в испуге закричала Эстер. — Возвращайся!

Она убоялась, что он на обратном пути утонет. Пройти через такую войну, выплыть из моря крови и найти смерть на родине!

Ицхак послушался жены и поплыл обратно. Подплыл наконец к берегу, но расставаться с рекой и не думал.

— Там, на дне, все.

— Кто — все? — вытаращилась она.

— Все местечко... Мои братья Гилель и Айзик... Твои сестры...

Ужас исказил лицо Эстер. Но Ицхак не мог остановиться. Он перечислял всех своих одногодков и родственников, которые прибегали сюда купаться.

— Что с тобой? — едва выговорила она.

— Ничего. Ты что, не хочешь их видеть?

— Я их вижу и на суше. Закрою глаза — и вижу. Нам еще в березовую рощу... Одевайся!

«Ах, Эстер, Эстер, — огорчился Ицхак. — Напрасно ты не согласилась раздеться и окунуться. В воде все не так, как на земле. В воде не увидишь ни выклеванного пулей глаза, ни раскрытого топором черепа, ни переломанных рук, ни губ, застывших в предсмертной судороге. Твои сестры Мириям и Ципора, Хава и Злата протянули бы к тебе ожившие руки, а Фейга чмокнула бы тебя в щеку... Там, на дне, не было ни немцев, ни полицаев; моим братьям и твоим сестрам там, среди водорослей и ила, хорошо, безопасно, зови их, не зови, все равно на берег не выйдут, ибо никто из них уже не поверит, что на земле нет тех, кто сгонял их в колонны, выкручивал руки и убивал».

Когда Ицхак вышел на берег и, обсохнув, натянул на себя рубаху, то рядом с собой увидел не продрогшую Эстер, а своего закадычного друга Натана Гутионтова.

— Не могу дозвониться, — пожаловался тот.

С мокрых волос Малкина стекала вода, но он и сам не мог взять в толк, на какой берег — Вилии или Вилейки. Оба берега вдруг сомкнулись, соединились, слились.

— Она, видно, сняла трубку, — простонал парикмахер. — Боюсь, как бы чего не натворила... Ты их не знаешь. Русских баб... женщин, — поправился он. — Это тебе не еврейки. Русские на все способны.

— Еврейки тоже, — успокоил его Ицхак.

— Что-то я не слышал, чтобы наши на себя руки накладывали! — огрызнулся Натан.

— Накладывают, накладывают. Если так переживаешь, поезжай домой.

Он все еще стоял на берегу Вилии, босой, косясь на мокрый талес. Где его сейчас высушишь? Не возвращаться же в синагогу-пекарню к пышущей жаром печи? Он зашнуровал ботинки, выжал мокрый талес и оглянулся. Сперва на сорок шестой год, на Вилию. Потом на Вилейку, покойно и безгрешно струившу-

юся вдоль Бернардинского сада. Не было ни Эстер, ни Леи Стависской. Ни о чем не хотелось думать. Ничего больше не хотелось вспоминать.

На сегодня хватит. Он, Ицхак, будет просто сидеть и наслаждаться природой, слушать, как цвелькают птицы, глядеть, как плывут облака. Он все из памяти выметет, как пани Зофья листья из аллеи. Нельзя превращать воспоминания в ремесло, нельзя каждый день вспарывать прошлое, как старый пиджак, иначе наложишь на себя руки. У него нет больше сил разрываться между временами, перебегать с одного берега на другой. Нет больше сил. Но что делать, если нет и другой одежды, кроме воспоминаний? Если нечем прикрыть свою наготу? Если спички отсырели и в очаге не осталось ни одного полена?

Он закрыл глаза и предался блаженному безразличию ко всему сущему. Но блаженство его длилось недолго.

Перед ним вдруг выросли две молодые цыганки: цветастые платья, в ушах звездастые серьги, во рту дешевые сигареты.

— Позолоти ручку, красавчик! всю правду скажем: что будет...

— Что будет, я, красавицы, знаю. А вот что было...

Цыганки опешили:

— Что было? Сам, красавчик, знаешь.

— В том-то и беда, что не знаю. Не знаю, не знаю...

Только-только Ицхак задремал, как к нему подбежала Авива.

— Я спустилась к ней, — взволнованно сказала девочка, — но испугалась собаки.

— Какой собаки? — спросил Малкин, почуяв неладное.

— Большая, черная, — чуть не плача, продолжала Авива. — Она лижет голову бабушки, а бабушка ее не прогоняет...

— Говоришь, не прогоняет? — совсем всполошился Ицхак.

Он, царапая лицо о кусты, скатился к берегу Вилейки. Никакой собаки не было. Но Малкин опытным глазом солдата сразу определил: земной путь Леи Стависской закончился.

Через день-два старуху Стависскую-Хазину заруют в могилу, в которой догниют ее низменные, простреленные в ночной подворотне тайны, ее грехи и корысть, ее изъязвленный беспамятством мозг, а шестнадцатилетнюю приказчицу Беньямина Пагирского Лею ливни и дожди вынесут в Вилию вместе с черносливом и арахисом из Турции, миндалем и курагой из Персии, орехами и марципанами из Греции, и черная, как змея, ее коса переплетется с водорослями, и рыбы заведут вокруг нее хоровод, и вспомнится ей первый поцелуй под старым мостом, и она, Лея Ставиская, не виновная ни перед кем, не поставившая ни одной постыдной подписи ни под какой бумагой, красивая, целомудренная, встретится под зеленым пологом воды со своими сверстниками из белой рощи, выберет себе жениха, и отец, плотогон Нахман, благословит их: «Целуйтесь, дети! Играйте в ваши свадебные игры!»

— Беги позвони маме! Только не говори ей правды.

Когда Авива ушла, Ицхак сел на траву и стал сторожить покойницу. «Похороны, наверное, в воскресенье», — подумал он.

Над мертвой Леей жужжали пчелы, и Малкин отгонял их рукой, как будто пчелиный укус мог причинить ей боль.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Тебя подвезти? — обратился Моше Гершензон к Ицхаку, когда зять Стависской, высокий, чуть облысевший армянин, весь в перстнях, снял вельветовую кепку, вытер пот со лба, подровнял траурные венки и горестно-благодарно взял под руку осиротевшую Сарру. Теща похоронена — путь в Австралию открыт.

— Спасибо, — прошептал Малкин. — Я еще чуть-чуть побуду.

Провожане разбрелись, и Малкин остался один. Он не любил задерживаться на кладбище. Придет, положит на обе могилы — первой жены Эстер и второй жены Фрумы — по камешку, подметет отслужившей свой век обувной щеткой надробные плиты, соберет в совок листья и, поклонившись, отправится восвояси. Ицхак терпеть не мог показной скорби и притворной любви.

Знакомые упрекали его за то, что памятники Эстер и Фрумы слишком скромны, что от высеченных на них слов веет сухостью, даже черствостью. Но

ему претили надписи на надгробных камнях. Надписи криком кричат, а плиты мхом заросли. Удручали его и фотографии на граните и мраморе, на лабрадоре и дереве — лица, осклабившиеся в улыбку, роскошные наряды. Ицхак не раз корил себя. Какое он имеет право осуждать? Кому-то покойник дорог с розочкой в петлице, а кому-то приятно смотреть на открытую шею. И все же мишура коробила его. Покойники-евреи звякали медалями, значками отличников торговли и железнодорожного транспорта.

Всякий раз, когда Малкин приходил под эту сень, под эти сторожевые сосны и липы, корни которых сплелись с костями так, что, пожалуй, их и не отличишь друг от друга, он вспоминал погост в родном местечке, где преобладал полевой камень. Неказистый, неприметный, он уравнивал всех, не делил мертвых ни на храбрых, ни на трусливых, ни на героев, ни на скромных тружеников, ибо кто назовет подвигом работу до седьмого пота.

Погост был для Ицхака в детстве да и позже не только хранилищем скорби и печали, не только местом, внушавшим страх, но и школой, страницами каменного учебника. Казалось, он не обрывался за перелеском, а уводил Ицхака далеко-далеко, на тысячи, тысячи лет назад, на гору Синай, в долины Израиля, к началу еврейских скорбей и радостей. Тогда-то, в те неблизкие времена, Малкин понял, что и скорби, и радости подобает быть неброскими — их негоже выпячивать ни в слове, ни в камне.

Рассказы отца рушили представление Ицхака о строгом и печальном однообразии еврейских кладбищ, о каменной справедливости, поровну разделенной на всех.

— Нет справедливости, — кипятился сапожник Довид. — Ни на кладбище, ни на рынке. Если надгробия одинаковые, то ряды разные. Если же ряды одинаковые, то купленные участки разные. Каждый, Ицикл, выбирает ботинок по ноге и по карману. И так испокон веков разные пеленки, разные могилы.

Малкин в первую очередь подошел к могиле Эстер. Скромный, из серого гранита, памятник приютился под старыми соснами. Соорудил его клиент Ицхака — скульптор Мажуйка, живший с ним по соседству. Однажды Мажуйка остановил Малкина у дома и спросил:

— Можешь ты мне сшить летний костюм?

— Еще могу, — ответил Ицхак.

— Ты мне материал плюс работа, плюс гранит, а я твоей жене памятник...

Против всех ожиданий памятник получился замечательный.

Поэт Ешуа Кацман, вернувшийся за полгода до смерти Эстер из лагеря, вызвался написать небольшой текст на идиш.

— Когда тебя десять лет не печатают на бумаге, то и на камне приятно увидеть свои строки.

Стихи состояли из одного куплета. В них говорилось о том, какие преследования и гонения выпали на долю матери-еврейки. Кончались же они тем, что все любящие и страдающие заслуживают за свои муки бессмертия. Ицхака смущала анонимность стихов. Еще подумают, что он сам пописывает. Выручил Мажуйка. Он уговорил Кацмана, чтобы тот позволил высечь хотя бы его инициалы — грех такое стихотворение оставлять безымянным, еще не известно, когда власти разрешат тому печататься. Эстер была достойна этих стихов. Она любила и страдала. Чего ей стоили три года жизни в лесу! То немцы среди бела дня в лесничестве наведуются, то русские партизаны ночью нагрянут...

Малкин был доволен памятником. Первое время он подходил к нему и каждую букровку гладил, как родинку Эстер. Он зажигал свечу, садился на скамеечку и, глядя на сооруженное Мажуйкой надгробие, тихо шептал четверостишие ссыльного Кацмана. Повторял и предавался размышлениям о бренности жизни, о горькой судьбе тех, кто одинок, кому Бог не дал ни сына, ни дочери, ни пасынка, ни падчерицы.

Как ни любил Малкин покойницу Эстер, но провести более получаса на кладбище было выше его сил. Кладбище только подчеркивало его одиночество, принужденность и бессмысленность его существования. Все близкие мои, говорил он себе, умерли, только я один все хожу и хожу к смерти на примерку.

Поднявшись со скамеечки, он бегом отправлялся к другой могиле — Фруминой, и эти метания иссушали его душу. Господи, думал он, даже завещание некому оставить — на двухкомнатную квартиру, на трофейный «Зингер» и на комплект румынской мебели. Гершензон не возьмет, Гутионтов возмутится,

Гирш Оленев-Померанц обматерит — на кой, мол, им мебель, если на уме у каждого только один гарнитур...

Единственная, кому он ничего не предлагал, была пани Зофья. Она неправду говорит: нет у нее никакой квартиры, — но ей он ничего не будет завещать. Третья женщина в его жизнь не войдет, будь она даже ангелом.

На кладбище его преследовало горькое чувство полной опустошенности. Какого черта он из кожи лез, чтобы сшить еще один пиджак, еще одно пальто, — все равно все кончается стишками на камне. Что он ответит, если Создатель спросит у него: «Зачем ты жил, Ицхак Малкин?» Нет у него ответа ни для Господа, ни для себя. Ради работы? Но это не ответ. Ради детей? Но Бог ими обделил его. А потом, что такое дети? Были и сплыли. Поносил теплую одежду и снял, и ты наг, ты стоишь на морозе в чем мать родила... Ах, если бы человек мог в урочный час сам себя похоронить! Он вырыл бы под этими соснами яму и лег бы рядом с Эстер. За место рядом с Эстер уже заплачено. Он его купил в пятьдесят шестом, в дни венгерского восстания.

Только один человек придирался — Фрума. Но она ко всему придиралась. Он, Ицхак, ничего дурного о ней сказать не может, но не может сказать и ничего хорошего. Берегла его, холила. Когда болел, поила с ложечки лекарствами, кормила назиданиями, но не любовью. Ничего не попишешь — такой уродилась. О покойнице Эстер Фрума и слышать не хотела.

— Только и ждешь моей смерти, — ворчала Фрума. — Чтобы лечь с ней рядом.

Он не ждал ее смерти, он не ждал ничьей смерти. Но в одном Фрума была права — Ицхак хотел лечь рядом с Эстер. Даже под Алексеевкой, под адским огнем немецкой артиллерии, он думал о том, что если Бог смиляется над ним и оставит в живых, то только для того, чтобы потом лечь рядом с ней, которая встречала его с пирогом в руках в далеком двадцать пятом, над головой которой кружились ликующие птицы. Фрума никогда не поймет, почему он всегда торопится с кладбища. Он торопится к живой Эстер, он не хочет быть с ней тут, среди покойников.

Его могильные, как он их именовал, соседи косились на него, их раздражала его привычка поглядывать на часы.

— Грешно поглядывать на часы там, где время остановилось, — сказал однажды один из них.

Никому из его хулителей и в голову не приходило, что ни он, ни Эстер, пока он, Ицхак, не лег рядом с ней, не могут считать себя мертвыми, что у них другой отсчет времени.

— Ты еще не ушел? — прозвучал над ухом Ицхака фальцет Гирша Оленева-Померанца. — Это же здорово!

Малкин не понимал, чему так обрадовался флейтист.

— Хочешь заработать? Хочешь? — искушал его Гирш Оленев-Померанц.

Гирш Оленев-Померанц не любил долго говорить: мало того, что у него был врожденный дефект речи, так он еще на всех языках — а владел он идиш, литовским, польским и русским с лагерными примесями — изъяснялся с чудовищными ошибками. Незнакомые и даже друзья постоянно над ним подтрунивали. Он знал об этом, но не сердился на них. Тем не менее косноязычие угнетало его, и Гирш Оленев-Померанц старался выговаривать каждое слово, как первое в жизни. В кругу чужаков он вообще помалкивал, и многие считали его не то немым, не то молчуном. После войны таких молчунов было хоть отбавляй. Одни молчали после пыток, другие — после тяжелой контузии, третьи — просто из страха. В жизни Гирша Оленева-Померанца было все — и контузия, и пытки, и страх.

Весной сорок восьмого, в самую пору цветения, его арестовали, надели наручники и препроводили в МГБ, расположенное там, где еще совсем недавно находилось гестапо. Бросили в подвал и через два дня, полуживого, привели на допрос.

— Это ваше письмо? — спросил у него молоденький, видно, только что испеченный лейтенант с аккуратно зачесанными на пробор русыми волосами, пахнувшими мылом и одеколоном.

Слезаящими глазами Гирш Оленев-Померанц уставился на бумагу и сразу узнал свое письмо, которое он направил в Москву после провозглашения государства Израиль в Еврейский антифашистский комитет с просьбой разрешить ему принять участие в освободительной войне против арабов.

— Мое, — упавшим голосом признался арестованный.

— Хвалю вас за откровенность, — тихо произнес следователь. — А не помните ли, кто еще посылал такие письма?

Два месяца подряд бедняге пытались помочь вспомнить тех, с кем, как выразился лейтенант, он действовал заодно, и, когда убедились, что из раздрызганной допросами памяти ничего не выжмешь, наспех судили и отправили в Воркуту. Гирш Оленев-Померанц отбоярил неполных десять лет. Он, конечно, погиб бы там, если бы не его флейта.

Неполных десять лет он разговаривал только во сне. Правда, и эти его говорения состояли из невнятных и горестных выкриков, непонятных восклицаний и обрывков молитв, заученных в детстве. Время от времени он выступал в лагерном клубе, и его игра поражала не только тюремщиков, чей слух был изощрен не симфониями, а лаем сторожевых собак, но даже соллагерников-музыкантов.

На суровый приговор немалое влияние оказала и его прежняя фамилия. Молоденький лейтенант, пахнувший мылом и одеколоном и желавший во что бы то ни стало выслужиться, где-то откопал каких-то богатеев Померанцев, пламенных сторонников Жаботинского, жертвовавших не на МОПР, а на создание отрядов еврейской самообороны. Гирш происходил из скорняцкой семьи, но его незнатное происхождение казалось его мучителю хитроумной уловкой. В лагере Гирш Померанц, по совету своего коллеги контрабасиста, и стал Оленевым.

Долго привыкал к своей новой фамилии Гирш Померанц. Какой он, к черту, олень, если он еле ноги передвигает, если перед ним не бескрайние просторы, не живительный воздух, а зловонная, взятая в проволочное кольцо зона!

— Пошли! — подхлестнул Ицхака Гирш Оленев-Померанц. — То, что ты зарабатывал иголкой за год, получишь за день.

Предложение флейтиста разожгло любопытство Малкина. Куда он его ведет? И вообще что он, добывающийся, чтобы его похоронили не на коммунальном еврейском кладбище, а в Понарах, делает тут? Ицхак так у него и спросил:

— Что ты тут делаешь? Ведь все твои лежат в Понарах.

— Не поверишь — могила пропала, — ответил Гирш Оленев-Померанц. — Бенциона Зайдиса. Ты его не знал. Он не литовский еврей. Я был знаком с его сыновьями, в «Паланге» играли. Мне пишут, шлют деньги, а я вдруг забыл, где могила.

— Кто пишет? Откуда?

— Из Израйля. Рувен и Ассар, сыновья Зайдиса.

Из путаных слов флейтиста Ицхак уразумел только то, что тот ухаживает за чьей-то могилой.

— По десять долларов в месяц платят. Они могут.

— И там играют?

— Играют, но не перед пьяными в «Паланге», а на бирже. Сто двадцать долларов в год. Это тебе не шутка. А если помножить на четыре, будет ого-го! Помогите найти! — взмолился он.

— Ладно, — бросил Ицхак. — Ты прав: сто двадцать долларов на улице не валяются. Иголкой их не заработаешь. Ты хоть помнишь, в какой стороне?

Гирш Оленев-Померанц виновато мотнул головой.

— Тогда ступай в правый ряд, а я возьму левый. Пока не стемнело, пройдем все кладбище.

И они принялись искать Бенциона Зайдиса. Чем упорнее искали, тем больше становилось кладбище. С каждым шагом — так казалось Малкину — оно разрасталось. До конца левого ряда было столько, сколько до горизонта. До конца правого — как до их молодости.

Ицхак впивался взглядом в каждое надгробие, и то ли от их мелькания, то ли от усталости число их множилось и множилось. На надписи, высеченные по-русски и на идиш, наплывали, наслаивались соболезнования и прощальные слова на польском, на литовском, на французском, на иврите — на всех языках и наречиях. Но Бенциона Зайдиса, как назло, не было.

Ицхаку, как в детстве, когда его, маленького, надолго оставляли одного у реки или на базарной площади, хотелось закричать во весь голос: «Ау-у, Бенцион! Отзовитесь!» Налево тянулось кладбище, направо тянулось кладбище. Малкин боялся поднять голову: а вдруг и небо все в могильниках? Ицхак и сам

не понимал, сколько длятся эти поиски, это блуждание — час или тысячелетия? Господи, когда оно кончится?

Малкин остановился бы, перестал бы искать, но его несла какая-то непонятная сила. Ему не было никакого дела до Бенциона Зайдиса, до его сыновей, играющих на тель-авивской бирже, до всемогущих долларов, которые не заработаешь иголкой. Он искал всех своих сородичей, погибших во все времена: и на дорогах скитаний, и на чужих войнах, и в белых рощицах. Губы его шептали:

— Господи, выжги траву, которой поросли могилы, оставленные сыновьями и дочерьми! Господи, собери по осколочку, по пылинке расколотые надгробия и могильные камни и спаяй их своей любовью и милостью! Господи, верни каждому убитому и мертвому имя, чтобы ищущие могли их найти и оплакать!

Бенцион Зайдис играл с ними в бесконечные, жуткие прятки, как будто противился тому, чтобы о нем пекся чужой человек. У него, у Бенциона Зайдиса, два сына. Пусть забудут на время про ставки на бирже и приедут. Их не убьет — меньше проиграют. И сразу, без всякой посторонней помощи, разыщут отцовскую могилу: ведь сами рыли, сами закапывали. Пусть постоят под соснами, пусть для вида утрут платочком глаза.

Ицхак и Гирш Оленев-Померанц, выбившись из сил, прекратили свои поиски.

Может, Бенцион Зайдис бежал с кладбища, подумал Малкин. Может, вслед за исходом живых начался исход покойников.

Ицхак смотрел на Гирша Оленева-Померанца, и жалость затупевшей иголкой царапала душу. Еще минуту тому назад флейтист носился по кладбищу с проворностью белки. Он будет носиться, пока сам не упадет меж кладбищенских рядов, которые, словно рельсы, убегали во все стороны света.

— До вильнюсского поезда полтора часа, — сказала Эстер. — Если мы хотим сегодня уехать, нам надо поторопиться.

Дождь увядал. Капли его никли на глазах.

— Ничего не поделаешь, придется заночевать, — вздохнул Ицхак. — Мы не можем отсюда уехать, не побывав на кладбище и в белой рощице.

До кладбища они добрались быстро. Когда они подошли к нему вплотную, из дома хевры-кадиши — погребальной братии — вышла сухопарая старуха в отребье.

— Как я рада, как я рада, — запричитала она, — милости просим.

Голос у нее был на удивление чистый и звонкий. Говорила она нараспев, как будто выводила затверженный с детства псалом. Ицхак никак не мог взять в толк, как она попала на еврейское кладбище, как стала владелицей скособочившегося домишки. Старуха, как бы угадав его мысли, поспешила ему на помощь:

— За сторожа я тут, за сторожа. Весной траву кошу, зимой снег разгребаю. В прошлом году его было столько... Проваливаешься, как в трясину... Да зимой сюда никого и не заманишь.

Речь ее была неторопливая, обстоятельная, каждое слово она процеживала сквозь зубы, как молоко сквозь ситечко.

Эстер всем своим видом показывала Ицхаку: кончай! Мол, поднимемся на пригорок, глянем на этот ужас, на этот конец света и пойдем к другому ужасу, еще более страшному. Но Ицхак не спешил.

— Когда вас не было, — продолжала старуха, — сюда только мой зять Антанас приезжал. — Она помолчала и добавила: — Нашел меня и спросил: «Чего вы, мать, заплаканная?» А я ему: «Какое же кладбище без слез?» Антанас даже разозлился: «Ну уж по ним плакать не стоит». А я думаю, по всем плакать надо.

Ицхак и Эстер переглянулись.

— Я на могилы каждый день приходила... Ну на те, что уцелели. Васильки клала, ромашки. Их тут видимо-невидимо.

С пригорка, оттуда, где угадывалось кладбище, спустилась замурзанная коза. Рожки у нее торчали, как две незажженные поминальные свечи. Она подошла к старухе, уткнулась белой мордочкой в ее подол и тихо замекала. Услышав ее мекание, за домом, в сарае-развалюхе, победно закукарекал петух. Чем громче он кукарекал, тем больше хмурилась Эстер.

— Пойдем, — тронула она за рукав мужа.

— Дай послушать,— сказал он.— Четыре года не слышал, как коза мекает, как петух заливается. Господи, какая благодать!

Сказал и осекся: какая уж тут благодать!..

Всю дорогу до самого кладбища все молчали.

Но того, что они так жаждали увидеть, не было и в помине. Перед ними простиралась обыкновенная, кое-где обезображенная обломками поляна. Уцелел только с десяток памятников. Казалось, дьявольский косарь прошелся по всему кладбищу и выкосил почти все надгробия. Жалкие их остатки валялись в траве только потому, что не годились ни для строительства, ни для мощения улиц. Ицхак и Эстер бродили по выкошенному кладбищу и пытались из расколотых, рассеянных предложений сложить имя, дату рождения или смерти.

— Мордехаем звали мельника Гольдштейна,— сказал Ицхак.— А Файвусшем — жестянщика Кагана.

Над поляной, над старухой в платке, повязанном тюрбаном, над ними в синем вымытом дождем небе вдруг распростерлась огромная тень мельничных крыл, потом донесся мерный гул жерновов, потом из раскрытых дверей вырвалось облако белой мучной пыли; ветер подхватил его и закружил.

— Элханон Силькинер,— после паузы произнесла Эстер.— Свадебный музыкант. Помнишь, он и на нашей свадьбе играл?

Старуха кивала головой; курительная трубка покачивалась во рту, покачивались сосны, покачивалась земля, только звук скрипки свадебного музыканта Силькинера не давал ей разверзнуться; он соединял все, на нем, на этом звуке, пронзительно тонком, казалось, держались еще эти обезличенные камни, эта земля, этот разломанный, как надгробия, мир.

— Антанас, зять мой, говорил: «Придут евреи и придушат тебя. Уж лучше в хлеву на хуторе, чем на их кладбище...» Неправду говорил. Три года живу, а пока, слава Иисусу, не придушили... Ваши меня не трогают. Приходят и только спрашивают...

— Наши? — вдруг оживился Ицхак.

— Прошлой ночью один такой приходил... Может, слышали — Вайман? У костела аптеку держал.

— Как же он мог к тебе прийти? — удивилась Эстер.— Ведь его еще до войны зарыли.

— А ко мне живые не приходят, только мертвые. В сны приходят. Что случилось, Мария, спросил у меня господин Вайман. Почему никого не хоронят? Почему никто не плачет? Что случилось? Я говорю: война, господин Вайман, немцы... А он не понимает: разве, говорит, в войну не умирают? Разве мертвому правду скажешь? Ведь правду и живому не говоришь.

Ицхак отошел в сторонку и над разбитым надгробием стал говорить кадиш по мельнику Мордехаю Гольдштейну, по его мельницам, по лавочнику Бенъямину Пагирскому, по всем его колониальным товарам, по свадебному музыканту Элханону Силькинеру и по его скрипке...

— Совсем умаялся,— честно признался Гирш Оленев-Померанц.— Сдаюсь. Отправлю все деньги Рувену и Ассару обратно.

— Не мешайте! — рассердилась Эстер.— Разве вы не видите — человек кадиш говорит?

Она всегда слышала то, что слышал он, и то, что он еще услышит в будущем. На месте, где, как и предполагал Ицхак, был похоронен его отец Довид, над огромной запекшейся коровьей лепешкой он творил поминальную молитву. Скорбь, плескавшаяся в ней тысячелетиями, была яростно молода, и мощь ее раздвигала пространства, смыкались времена, менялись ролями мертвые и живые, не было ни земли, ни неба — все спрессовалось в один сгусток боли, который был сильнее, чем земное притяжение.

Ицхак вдруг почувствовал, как раскаленная магма, которую всколыхнула молитва, хлынула изнутри и захлестнула все его существо. Он почувствовал, как вспыхнул от нее накиннутый на плечи чужой талес, как он, Ицхак Малкин, в мгновение ока превратился в огненную охапку, в горящий куст, в неопалимую купину. Сполохи освещали то, что случилось, и то, что еще случится, и пламя сплавляло разбитые камни, сшивало, как портновской ниткой, надгробия, и на каждом отливало не только имя покойника, но и того, кто надругался над его могилой. Мекала коза, кукарекал петух, каркали вороны, жужжали проснув-

шиеся от зимней спячки мухи — все твари с ним творили поминальную молитву.

— Пойдемте в хату, пойдемте в хату,— пропела Мария, когда последний луч молитвы погас.— Я вам на дорогу гостинцев дам. Молочка козьего, и травки от ломоты в костях, и зелья от бессонницы, и грибковой плесени от синяков и ссадин.

Знахарка, колдунья, недобро подумал Малкин. Эстер с надеждой глянула на него: может, не пойдет в избу, может, откажется? Они и так на поезд опоздали. Неужели разведет тары-бары со старухой? Взял бы молоко — и в путь. Она, Эстер, все равно его пить не будет. Поди знай, что за молоко...

Ицхак же, вопреки надеждам жены, переминался с ноги на ногу. Стемнело. Сумерки были густыми, как сливовое варенье,— их можно было намазывать на хлеб. Ни у Эстер, ни у Ицхака не было сомнения, что им сегодня отсюда уже не выбраться.

— Придется тут заночевать,— сказал Малкин.

— Я тут не буду спать,— нахмурилась Эстер.

— А разве я сказал — спать? Посидим на лавке, пока не рассветет, а на рассвете отправимся в белую рощицу. От нее до вокзала — рукой подать.

— Нет! — заупрямилась Эстер.

— Ну чего ты так боишься? Ничего с тобой не случится. Никто не придушит, не убьет. Кругом все свои: и аптекарь Вайман, и мельник Гольдштейн, и лавочник Пагирский... И родители твои и мои рядом. Что с того, что надгробий не осталось? Когда родители — пусть и мертвые — рядом, с твоей головы и волосок не упадет.

Мария зашаркала башмаками-клумпами и засемила вниз. Облепленная сумерками, она остановилась на крылечке и безропотно принялась ждать, когда гости войдут в избу. Старуха догадывалась, что разговор у них нелегкий. Пусть говорят, пусть отведут душу. Она им только благодарна, что пришли. Третья пара после войны. Видно, всех их перебили.

Но чем же их попотчевать? Евреи не все едят, не все пьют. Мария это знает — не один год полы в аптеке Ваймана мыла.

— Мы тебе не помешаем? — раздался баритон Ицхака.

Она никак не могла взять в толк, чем человек может помешать человеку, когда вокруг темно и когда каждому голос другого нужен больше, чем кров и еда.

— Спасибо,— пробормотал Малкин.

— Милости просим, милости просим.

Первой в избу вошла Эстер. За ней, ударившись головой о косяк двери, протиснулся Ицхак. Старуха защелкнула щеколду, и липкий мрак сомкнулся над ними. Гости стоя прислушивались к возне Марии, которая долго шарила в темноте, пока не нашла спички. Слабый огонек вспыхнул и тотчас же погиб. Но старуха снова чиркнула, зажгла керосиновую лампу — ту самую, которая еще до войны светила погребальной братии; свет лампы, желтый, как топленое масло, вырвал из сумерек тот самый стол, на котором обмывали покойников; потом громоздкую облупившуюся печь — ту самую, на которую зимой забирался могильщик Авремеле; потом изъеденные дровоточцем стены — те самые, которые не рухнули под напором криков и стенаний; потом неровный, в кои веки насланный пол — тот самый, который не выжгли падавшие на него бесчисленные вдовьи и сиротские слезы, испепелявшие сердца.

Все, кроме застекленного Спасителя, распятого на кресте, и преданных ему учеников, пытавшихся его снять, и старухи — смотрительницы кладбища, было то же самое. Картинно откинув свою живописную голову, увенчанную густыми, как мрак, волосами, Христос принимал свои муки.

Мария так же безгласно развела в печи огонь. В чугунке забулькала вода. Видно, Мария варила на ужин картошку в мундире. Потрескивание дров, озорное бульканье воды, смиренное шуршание хозяйской юбки не столько успокаивали, сколько навевали смутную тревогу.

Откуда-то из-под печки вылезла кошка, и ко всем звукам прибавилось еще ее вкрадчивое мурлыканье. Ицхак готов был поклясться, что перед ним кошка могильщика Авремеле, которая неизменно присутствовала на всех обмываниях. Заберется на подоконник и смотрит с удивлением и жалостью на покойника, трет лапкой глаза.

Малкин от ее взгляда съезжился. На миг ему показалось, что он и впрямь покойник, что он не сидит за столом, а лежит на нем и чьи-то руки трут его молотком — живот, плечи, пах, поворачивают и снова трут.

— Брысь! — закричал он в испуге. — Брысь!

Кошка равнодушно зевнула и снова уставилась на него, мол, чего разорался, у нас мертвые ведут себя смиренно.

— Брысь! — замахнулась на нее и Эстер.

И ей передался испуг. И она узнала кошку могильщика Авремеле.

— Марце! — сурово окликнула ее Мария.

Марце распушила хвост и послушно побежала к хозяйке.

Марце, кольнуло Ицхака. До войны у кладбищенской кошки не было клички. Как и у смерти.

Малкин всматривался в трепыхающийся стебелек пламени, и мысль-крыса набрасывалась в его голове на все другие мысли и поедала их одну за другой.

Кошка — та же самая, мыши — те же самые, клопы и тараканы — те же самые, сверчок за печкой — тот же самый, мухи, обгадившие живописного Христа и его учеников, — те же самые, жучки-древоточцы, пауки — те же самые... Почему же они уцелели и пережили тех, кто в белой рощице? Чем же они так угодили Богу? Почему им выпала лучшая доля, нежели его, Ицхака, братьям, нежели ее, Эстер, сестрам? Неужели какой-нибудь паук дороже Господу, чем престарелый рабби Мендель? За что Он, Отец небесный, даровал какому-нибудь клопу-кровопийце еще четыре года, а сержанту Зелику Копельману лишней недели не дал? Разве трудно было Ему, Всевидящему и Всеслышающему, прежде чем обречь кого-то на гибель, спросить:

— Айзик, хочешь быть сверчком? Злата, хочешь быть мышью? Зелик Копельман, желаешь быть клопом или тараканом? Мириям, желаешь быть вороной и каркать над могилой отца и матери?

Господи, Господи, ведь Ты создал нас на радость себе и на благо всех. Можешь, говори, Тебе там, в горних высях, взять и перешить весь подлунный мир? Я, да простится мне мое кощунственное сравнение с Тобой, всегда переделываю скверно сшитые одежды, ибо больше пекусь о том, кто будет их носить, чем о своем добром имени. Долго ли Тебе, Господи, удлинить и расширить добро и подкоротить и сузить зло? Долго ли Тебе, Милосердный?..

— Ешьте и пейте, — промолвила Мария и поставила на стол чугунок со сварившейся картошкой в мундире, крынку козьего молока и две кружки. — Если хотите, заварю чайку с травками. Очень они полезны для здоровья.

Эстер не притрагивалась ни к картошке, ни к молоку. Но Ицхак в отличие от жены подцепил вилкой картофелину, обжигаясь, снял с нее шелуху, разрезал на две половины — одну себе, другую Эстер, отправил в рот и запил козьим молоком.

Старая литовка, ее слова, ее скудное угощение не вызывали у него ни брезгливости, ни опасения. Видно, не от хорошей жизни согласилась она перебраться в эту развалюху, кишашую больше духами, чем клопами и мышами. Малкину было ясно: не на богатство Мария позарилась, не на имущество.

Надо бы ей оставить немного денег, подумал Ицхак. За васильки, которые она кладет на могилы. За то, что во сне все еще моет полы в аптеке Ваймана и не говорит ему правды о том, что случилось. Тот, кто умер до войны, не должен о ней знать.

Не сказав ни единого слова, Мария ушла и вскоре вернулась с двумя овчинами с огромными проплешинами.

— Одну постелите, другой накроетесь, если озябнете, — сказала она. Голос у нее был цвета ладана. — Сейчас принесу и подушки.

Она приволокла два холщовых мешка, набитых прошлогодним сеном, с едким, как у махорки, запахом.

— Спокойной ночи, — попрощалась она.

И через минуту с печи донеслось ее безмятежное похрапывание.

В лампе догорал керосин. В доме снова сгустилась тьма, которая пружинила, как накачанная велосипедная камера.

Прижавшись друг к другу, Ицхак и Эстер ждали рассвета. До детства было ближе, чем до железнодорожной станции. Закроешь глаза — и вот оно перед тобой. Он, Ицкл, один. Ему только три года. Комната бескрайняя, а он маленький, меньше его — только муха.

На колодку насажен чей-то сапог; вокруг верстака рассыпаны деревянные гвоздочки, очень похожие на муравьев. На стуле висит фартук. Из кармана торчит молоток. В мире, кроме него, трехлетки, никого нет; ужас одиночества леденит сердце.

— Дедушка! Бабушка! — кричит он.

В тишине еще громче стучит сердце. Если дед сейчас не войдет, если не достанет из фартука молоток, если не застучит по ботинку, все кончится: все сваленные в кучу башмаки с топотом бросятся к дверям; гвоздочки-муравьи уползут в муравейник под липой; прирезанный бабушкой гусь вылетит в окно...

Но нет ни деда, ни бабушки, ни отца, ни мамы. Все человечество для него погибло. Он один на целом свете. И вдруг входит дед, надевает фартук, вытаскивает из кармана молоток и гулко и радостно бьет по насаженному на колодку сапогу, и все звуки возвращаются, и сердце Ицика из ледяного комочка превращается в птичку, долбящую клювом грудь, как оконное стекло. И муха на подоконнике кружится над недооденным пирожком. И все человечество в полном составе.

До рассвета Ицхак только и делал, что в доме погребальной братии заносил над тьмой дедовский молоток и стучал по ней, как по сапожничьей колодке, и в мире все вставало на прежние места, все отстраивалось и восстанавливалось — разрушенные дома и разоренные кладбища; дедушки чинили ботинки, бабушки набивали гусиным пухом подушки, матери снова носили колодезную воду в ведрах на коромыслах, старуха Мария жила у себя на хуторе, не с чужой кошкой и теньями, а вместе со своими детьми и пчелами и ела не за ритуальным столом, а за простым, крепко сколоченным детьми.

Молоток стучал иногда тихо, едва слышно, иногда мощно, словно колокол; от его стука отступала тьма, и в оконце с треснувшими стеклами робко, а потом осмелев, заструилась заря.

Когда Мария слезла с печки, за оконцем совсем рассвело. Эстер и Ицхак сидели на овчине, по-прежнему прижавшись друг к другу. Ее волосы, как утренние лучи, падали на его лицо и плечи; его руки переплетались с ее руками, как водоросли в водяном царстве. Сон, сморивший их под утро, был слаще козьего молока. Они улыбались во сне, и улыбка сглаживала ургюмость и усталость.

Посадив на плечо кошку, Мария выскользнула во двор. Спал петух, спала коза, спали на пригорке мертвые.

— Перекур, — объявил Гирш Оленев-Померанц.

От его возгласа маятник качнулся от сна к яви. Ицхак продрал глаза и уставился на музыканта, примостившегося на чем-то надгробии, покрытом лоскутами мха, как беличьими шкурками.

— Проклятые ноги! Проклятые зимы в Воркуте!.. Полгода до того, как попал в ансамбль, вкалывал в шахте.

Гирш Оленев-Померанц привлекал Ицхака своей грубоватой прямоотой, своими фантазиями и необыденными затеями. В самом деле, придет ли в голову простому смертному добиваться, чтобы ему разрешили лечь не тут, в Шешкине, на кладбище, отведенном для всех послевоенных евреев, а в Понарах, историческом месте, где полегли тысячи и тысячи евреев и среди них — все его родные?

Язвительный Моше Гершензон объяснял его затею с Понарами чрезмерным для еврея употреблением алкоголя. Гирш Оленев-Померанц и впрямь закладывал за воротник. Когда играешь до утра в ресторанах и на свадьбах, трудно прослыть трезвенником. А еще воркутинские зимы... Ицхак не считал флейтиста алкоголиком. Каждый в жизни свою грелку ищет: кто денежки, кто водку, кто высокие посты.

— Хочешь? — Гирш Оленев-Померанц вытащил из кармана пачку сигарет и протянул Малкину.

— Ты знаешь — я не курю. И кто же курит на кладбище?

— «Весь мир — кладбище», — сказал Шекспир. «Мальборо лайт». Их курят все лучшие музыканты мира.

Ицхак не был на все сто процентов уверен, но, как ему казалось, Гирш Оленев-Померанц к лучшим музыкантам мира не принадлежал. Он был похож на них своими пристрастиями: носил огромный берет, ходил с потертой бабочкой на шее, презирал наручные часы — пользовался только карманными с брелком, церемонно раскланивался со всеми, словно отвечал на аплодисменты.

Все свои деньги он тратил на покупку диковинных вин и коньяков, а также на грампластинки с записями знаменитостей. О его коллекции знали не только в Литве, но, как он сам говаривал, и за границей.

На устраиваемых Гиришем Оленевым-Померанцем мальчишниках хозяин извлекал из холодильника бутылку водки, доставал свою флейту, садился рядом с магнитофоном, поправлял бабочку на шее, опрокидывал стопку и, сделав глубокий выдох, начинал играть в тех местах, где вступали его невидимые коллеги. Закатывая глаза, он вдохновенно перебирал пальцами «пуговки» своего повидавшего виды инструмента и весь преображался. Лицо его горело, на лоб и щеки ложился отсвет софитов лучших театров мира — Италии, России, Америки, Англии, Франции.

— Карузо! — с молитвенным восторгом произносил он. — Тито Гоби! Казальс! Тосканини! Хейфец!..

В такие минуты он чувствовал себя их ровней, в такие минуты не было ни Понар, ни Воркуты, ни ночных ресторанов, не было его одиночества.

— В другой раз найдешь своего Бенциона Зайдиса, — утешил его Ицхак.

Гириш Оленев-Померанц по-прежнему сидел на беличьих шкурках и извлекал, как фокусник из рукава, из бездонного кармана комбинезона одну сигарету за другой.

— Да хрен с ним! — выругался он. — У меня их еще целых четыре.

— Четыре? — деланно удивился Малкин.

— Гастроль не кончена... Следующий: Рафаил Цукерман — Канада, потом Дора Ривкина — Америка, потом Иеремия Ламм — Германия и замыкает список Ханан Тростянецкий — Швеция.

Казалось, Гириш Оленев-Померанц объявляет имена участников международного конкурса. Но то были не флейтисты, не скрипачи и не валторнисты, а уехавшие из Литвы дети тех, кто навеки остался без присмотра на местном кладбище.

— Сто двадцать долларов в год с каждого — не шутки. — Как и многие евреи, Гириш Оленев-Померанц считал лучше, чем говорил.

— Как же тебе так подфартило? — съязвил Малкин.

— Все очень просто, — ответил флейтист. — Уж такой мы народ — евреи. Когда тебе хорошо, всегда найдутся охотники сделать тебе немножко плохо. А когда тебе из рук вон плохо, всегда найдутся желающие сделать тебе немножко хорошо. Старая дружба помогла. Мой адрес дали и другим. Нет на свете евреев без могил.

Гириш Оленев-Померанц встал с беличьих шкурок, прочел на всякий случай надпись на надгробии, с которого он встал: а вдруг именно тут высечено имя запропадившегося Бенциона Зайдиса? — и в знак благодарности Ицхаку за совместный поиск выдохнул:

— Поедем, Ицхак, в Израиль.

— Кто это поедет? — не сообразил Малкин.

— Зелененьких на дорогу хватит. Хоть один раз перед смертью надо... Десять лет, бляха-муха, за свидание с ним отбухал.

— Вот ты и поезжай. Зачем тебе прицеп?

— Хочу выйти на свободу... из второго лагеря... Пусть хотя бы на две недели.

— Какой же Литва лагерь? Не сегодня-завтра снова независимой станет, — удивленно сказал Ицхак.

— Лагерь... Гетто...

— Для нас с тобой уже нигде свободы не будет. Ибо что такое человек, как не тюрьма, где он сам — вечный арестант и тюремщик?

— Скажи прямо: поедешь со мной или нет?

Ицхак промолчал. Гириш Оленев-Померанц принял его молчание за согласие. Как ни говори, вдвоем веселее — в лагере ли, на свободе ли... А денег ему не жалко: он их зарабатывает, слава Богу, не в забое, не стоя по пояс в ледяной воде. Да и на гроб копить не стоит. Пусть его закопают в чем мать родила, без всякой крышки, но только там — в Понарах. Он так и написал в своем ходатайстве в Президиум Верховного Совета: «Прошу Вас... без обуви, без одежды, без всякого покрывала, вместе со всеми... одиннадцатую моими родичами. Привожу их фамилии в алфавитном порядке... Год и место рождения...» До сих пор никакого ответа. Пока они ответят, он и в Израиль успеет съездить и вернуться. Денег не жалко. Гириш Оленев-Померанц столько их ухлопал на алкоголь, на

подружек, кратковременных, как летняя гроза, на гостиницы в Сочи и Ялте, на форель и люля-кебаб на озере Рица, на лобио и хинкали в Тбилиси, на билеты в Большой (он туда ездил не реже двух раз в месяц), ибо спешил все наверстать, но не мог вытравить барачную вонь — даже от его жабо, даже от его изысканного берета, даже от его флейты разлило смрадом незаслуженной неволи.

— Махнем, Ицхак, на Красное море, где Моисей по воде, как по суху...

Гирш Оленев-Померанц пытался соблазнить Малкина, как женщину. Он обещал ему райскую жизнь. Они будут лежать каждый день на пляже. Когда им надоест море, они отправятся в путешествие по земле обетованной и найдут пальмовый парк, где собираются ненужные евреи, — нет такого места на земле, где их, ненужных евреев, не было бы. Сядут на скамейку под пальмой и заведут со своими собратьями неторопливый разговор о Литве и Польше, о Венгрии и Румынии, о том, что было, и о том, чего не было. Единственное, о чем они не заикнутся, — это о том, что будет. Натан Гутионтов на этот мучивший евреев из поколения в поколение вопрос уже ответил: «Будет лучше, но хорошо не будет».

— Ицхак, неужели тебе и впрямь не хочется к морю?

— Наше море тут, — тихо произнес Малкин и обвел рукой кладбище. — Скоро нырнем — и все дела...

— Нет! — запротестовал флейтист. — Тут я лежать не буду...

— А там тебе не разрешат. В Понарах лежат только замученные и убитые.

— А нас... нас разве не замучили? Разве нас каждый день не убивали? — выкрикнул Гирш Оленев-Померанц.

Малкин сердцем понимал, что у его друга есть полное право быть похороненным вместе с его родней, но не сомневался, что косточки его дотлеют не в Понарах, а на этом кладбище, и просил Бога, чтобы Он отдалил от Оленева-Померанца тот день.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Больше всего Ицхак любил бывать в Бернардинском саду поздней осенью или ранней, не взвихренной метелями зимой, когда от снега, как от праздника Хануки, исходит миротворное сияние, когда каждое дерево напоминает шамаш — главную свечу в ханукальном светильнике.

Правда, осень и зима — время похорон. Листопад замедляет листьями, снегопад покрывает хлопьями, как лоскутами савана, одногодков и однополчан. Собственной смерти он, Ицхак, не боится. Он боится смерти тех, кто столько лет был с ним рядом, кто кемарил вместе с ним на скамейке под липами. Еще его отец говаривал: долгая жизнь — кара за жизнь.

До осени еще далеко, а уже ушла Лея Ставиская, какая-никакая, а все-таки своя. И вот сейчас попал в больницу грамотей Моше Гершензон — подозревают самое страшное.

Малкин навестил его на прошлой неделе и спросил:

— Может, Исааку в Израиль написать?

— Нет, — оборвал его больной. — Я сам ему напишу.

Сам так сам. Не проходило и недели, чтобы Гершензон не получил письма от своего Счастливишка Иззи. Ах, какие письма! Дай Бог каждому еврею дожидаться таких слов от сына.

Гирш Оленев-Померанц шепнул однажды Ицхаку:

— Он эти письма сам пишет. Он их пишет самому себе. Мне чутье подсказывает.

— Чушь! — защищал грамотея Моше Гершензона Ицхак. — У него что, другого дела нет? Он не Пушкин, он зубы делает, зубы...

До осени еще далеко, а дурные вести множатся.

Ицхак мерял шагами аллею Бернардинского сада и ждал, когда со стороны Кафедрального собора появится необъятный берет Гирша Оленева-Померанца, когда заскрипит деревяшка Натана Гутионтова и на своей метле прискачет пани Зофья.

Прискачет ли? Мало было Ицхаку болезни грамотея Моше Гершензона, как тут еще пропала ночная еврейка пани Зофья. Может, ее уволили? Может, ее перевели на другой участок?

За кого Ицхак был спокоен, так это за Натана Гутионтова. Ему, Малкину, наконец-то удалось разгадать загадку — почему тот все время опаздывает. Все дело, оказывается, было в том, что Гутионтов добирался до Бернардинского сада окольной дорогой и на час-другой делал остановку на базаре. Заходил в парикмахерскую, занимал очередь и сидел как вкопанный.

— Товарищ, проходите, — тормозили его мастера, не знавшие, что он тут не только брил и стриг, но и был начальником.

Натан Гутионтов уступал очередь и продолжал сидеть, не отрывая взгляда от молодых мастеров, проворно стрекотавших ножницами и недоуменно смотрявавших на него, от новых зеркал, от обитых дерматином кресел, от причудливых фенев.

Ицхак его не осуждал. Было время, когда он сам все норовил зайти в швейное ателье, хоть несколько минут побыть там, где полжизни колдовал с сантиметром в руке. Молодые закройщики-литовцы — его ученики и наследники — щадили его самолюбие и порой даже советовались с ним. Ицхак знал, что они советуются с ним из жалости. Что ж, и он когда-то жалел своих состарившихся учителей. Трудно отвыкнуть от курева, а попробуй перестань шить и брить. Ремесло клещами тянет, не отпускает до смертного часа.

Под сенью лип то и дело мелькала хрупкая фигурка новенькой уборщицы. Ицхак, может, и пересилил бы свою нерешительность и подошел бы к ней, если бы не странный и нелепый сон, привидевшийся ему накануне.

Малкину снилось, будто они прячутся от немцев в каком-то промозглом, затканном паутиной подвале. Паутина густая-густая; лицо пани Зофьи словно покрыто вуалью; сверкают только щелочки глаз; в паутине, как в тумане, старая раскладушка с рваным матрасом и такой же рваной подушкой, из которой торчат колючие остья соломы; вокруг раскладушки снуют тощие, изголодавшиеся крысы; их писк серлит виски; пани Зофья наклоняется над ним, Ицхаком, и что-то ласково шепчет на ухо, но из-за крысиного писка ничего не слышно; он придвигается к пани Зофье поближе, и та запускает в ворот его рубахи руку и длинным крашеным ногтем принимается щекотать сосок, заросший седьми, словно паутина, волосами; он отстраняется от нее, прижимается к голой стене, но пани Зофья снова наклоняется над ним и целует в омертвевшие губы; потом ее пальцы крадутся к ремню, отстегивают его; в подвальной тишине коротко и громко звякает пряжка.

Когда Ицхак проснулся, то первое, что он сделал, — кинулся в ванную и встал под холодную струю воды, чтобы смыть наваждение. Но ключья сна, подвальная паутина все еще висели над его головой, и не было метлы, чтобы их вымести.

— Можно вас на минуточку? — раздался за его спиной чей-то вежливый, медоточивый голос.

От неожиданности Ицхак вздрогнул и обернулся. Перед ним стоял молодой мужчина лет тридцати пяти, с мягкой бархатной бородкой, обрамлявшей его полноватое лицо, в очках в массивной роговой оправе, расширивших и без того большие зрачки. На макушке у него, как ломтик зрелой дыни, желтела лысинка.

— Эйдлин, — представился он. — Валерий Эйдлин.

— Ицхак Малкин, — без всякого интереса промолвил старик.

— Я приходил к вам. И не раз. Но вас не было дома. Я из Еврейского музея, — выдохнул мужчина.

— Я тоже, — улыбнулся Ицхак.

Эйдлин оценил его шутку, заулыбался в ответ и, глядя на старика с испугом и восхищением, сказал:

— В известном смысле мы все — экспонаты.

— Нет, нет! — воспротивился Ицхак. — Это мы экспонаты, а вы нет. Вы еще можете хлопнуть дверьми и бежать из музея. Куда хотите. Все от вас зависит. Расписание висит в аэропорту, — пробормотал Ицхак, который все еще не мог взять в толк, чем он может быть полезен Эйдлину.

Музейщик стушевался, долго шмыгал носом, потрогал двумя пальцами лысинку и так же виновато, как раньше, сказал:

— Вы должны согласиться... Я вас быстро запишу. У меня отличная аппаратура. У меня тут списочек: вы, Моше Гершензон, Гиш Оленев-Померанц, Натан Гутионтов, Лея Ставиская.

— Лею можете вычеркнуть,— тихо промолвил Ицхак.— Если кто ее и запишет, то, может быть, Господь Бог.

— Я не знал. Прошу прощения... Примите мои соболезнования,— зачастил Эйдлин.— Но ведь еще остались люди... Надо спешить. Вашим воспоминаниям цены нет. Для нашего народа.

— Загнули, как говорят,— усомнился Малкин.— «Для нашего народа...» Сколько тут, в Литве, нашего народа?

— А мы не только для Литвы.

Валерий Эйдлин не желал смириться с поражением. Он неожиданно расстегнул сумку, извлек из нее кассеты, разложил на скамейке под липами и страстно, почти исступленно заговорил:

— Тут,— ткнул он в первую кассету,— пережившие Дахау... Тут,— повертел он вторую кассету,— узники Вильнюсского и Каунасского гетто. Тут — участники Великой Отечественной и партизанского движения... Тут — спасатели евреев.

Ицхак устало и терпеливо смотрел то на кассеты, то на Эйдлина, и печаль, как паук, застилала своей тканью его глаза.

— Был у меня один знакомый,— тихо начал он.— Десятилетиями к доктору не ходил. Когда его спрашивали, почему, он отвечал: «Зачем мне о себе знать больше, чем я уже знаю?...» Вот я вас, молодой человек, и спрашиваю: зачем нам, евреям, знать о наших несчастьях, о наших бедах, о наших утратах и поражениях больше, чем мы уже знаем?

— Да, но, кроме нас, на свете есть еще и другие.

— Другие,— хмыкнул Малкин,— о нас и вовсе знать не хотят.

— Не надо никогда ничего обобщать,— пытался спасти свое положение Эйдлин.

— Если бы другие, молодой человек, этого хотели, то, уверяю вас, на свете сегодня не было бы ни узников Дахау, ни участников Великой Отечественной войны, ни спасателей... Другие только делают вид, что хотят знать, но заняты исключительно собой. Исключительно собой. Какое им дело до нашей боли и до наших слез?

Музейщик не сводил с Малкина глаз.

— Господи, почему же я сразу не включил магнитофон? Как вы говорите! Как вы говорите! Позвольте прийти к вам домой. Я могу в любое время — днем и ночью.

Он ждал от Малкина ответа, но Малкин сидел, сжав губы, и смотрел куда-то поверх кучерявой головы музейщика. Ицхак не хотел, чтобы его сумбурную, ничем, кроме невзгод и несчастий, не изобиловавшую жизнь записывали на пленку. На нее можно наговорить все, и все можно стереть, как будто ничего не было. Ицхак не верил ни в пользу, ни в необходимость каких-либо свидетельств в мире, где свидетельства можно купить и продать, как телков на скотском базаре.

Валерий Эйдлин пребывал в состоянии какого-то странного возбуждения. Какая обида! Музей как раз на прошлой неделе получил в дар из Швеции новую записывающую аппаратуру, а из Франции обещали видеокамеру — вся Европа печется о литваках, об их письменном и устном наследии. Грешно, чтобы такие старики безмолвными уходили в безмолвие.

— А вы сами-то где обитаете? — вдруг спросил Ицхак.

— Семья моя живет на курорте... В Бириштонасе,— усмехнулся Эйдлин.— А в Вильнюсе у меня в музее угол — диванчик, стол, кофеварка...

— М-да,— неопределенно протянул Малкин.— Неплохо, неплохо. Ночевать в музее можно, а жить, наверное, нельзя. Что это за еврейская жизнь без евреев, с одними записями на пленках и фотографиями на стенах?

— Есть еще, слава Богу, и живые евреи,— обронил музейщик.

— Мы полуживые,— сказал старик.— Отсюда, из парка евреев, нам только прямо на кладбище.

— Парк евреев? — Брови у Эйдлина подскочили вверх.— Минуточку, минуточку, я запишу. Повторите, пожалуйста.

Старик метнул на Эйдлина недовольный взгляд: он что для него — заводная кукла?

— Хватит! — отрезал Ицхак.— Не делайте из меня попугая.

Валерий Эйдлин взял диктофон, сунул его в сумку, поблагодарил Малкина и медленно зашагал к Кафедральной площади, на которой молодые и упорные

литовцы сколачивали огромный помост. Вокруг будущей трибуны сновали радио- и телерепортеры с микрофонами и записывали дыхание грядущей свободы.

С площади доносился стук топоров; из репродукторов прорывались чьи-то голоса и музыка; сквозь треск просачивалась торжественность еще недавно запрещенного литовского гимна: «О, Литва, отчизна наша, Ты страна героев. В славном прошлом черпай силы, Их еще утроив».

Стук топоров, такой же торжествующий, как гимн, и мажорность гимна, такого же неумолимого, как топор, отвлекали Ицхака от печальных раздумий: о болезни Моше Гершензона, об исчезновении пани Зофьи, о возможном отъезде Натана Гутионтова, о пальмах на берегу Красного моря, которые могут отнять у него Гирша Оленева-Померанца. Господи, Господи, неужели он останется один? Не может же Бернардинский сад быть парком одного еврея! Не успел за липами скрыться музейщик Эйдлин, как на песчаной дорожке Бернардинского сада появился Гирш Оленев-Померанец. Ицхак еще издали определил: флейтист навеселе. Он шел, сняв свой огромный берет, вразвалочку, как будто под ним была корабельная палуба.

Он был непривычно зол и раздражителен. Ицхак сразу смекнул: не на толпу гневается — что ему митингующие? Пусть на здоровье честят большевиков, он сам их терпеть не может.

— Ты что, получил отказ? — спросил Малкин, когда тот уселся рядом.

— Ни хрена не получил. Сейчас у них не то в голове. Пока Горбач их не отпустит на волю, они ни о чем другом и думать не будут. А ведь я две реко... реко...

— Рекомендации, — пришел ему на помощь Ицхак.

— ...послал. Одну — от профессора Гадейкиса из консерватории, другую — от адвоката Рачкаускаса. Оба в один голос просят: «Разрешите похоронить гражданина...»

— Но ты же жив, — перебил его Ицхак, — ты еще не умер.

— Гм, когда я умру, будет поздно. Живому справедливости не добиться, а мертвому тем паче.

Странное дело, но вино или водка выпрямляли речь Гирша Оленева-Померанца. Подвыпив, он всегда говорил складно, слова выскакивали изо рта, как горошины из стручка.

— Адвокат Рачкаускас говорит, что мою бумагу перешлют в Еврейскую общину.

Малкин вдруг поймал себя на мысли, что, будь он на месте Гирша Оленева-Померанца, он вел бы себя так же и требовал бы того же. Если бы не Эстер, и он посчитал бы за счастье лежать вместе с братьями Айзиком и Гилелем в березовой рощице.

— Как евреи, мол, решат, так и будет. Решат они тебе! У них дождешься — пальцем не пошевелят. Еще и обвинят, как Гершензон: дескать, пьяница, сумасшедший.

— Оставь Моше в покое.

— Чего это ты так его защищаешь? — напустился на Малкина флейтист.

— Плохи его дела.

Ицхак вдруг вспомнил, как умирала Эстер. Она лежала в той же онкологической больнице, что и Моше Гершензон, в углу огромной палаты, отгороженная от всех ширмой, без сознания, как бы смирившись со своей участью. Иногда она приходила в себя, открывала глаза и что-то бессвязно бормотала. Малкин не мог понять ни одного слова, но чего-то ждал, сам не знал чего — может, прощального взгляда, может, взмаха руки, может, слезы. Но Эстер лежала неподвижно и только перед самой смертью вдруг сняла обручальное кольцо и протянула его Ицхаку. Сняла не сразу — она стаскивала его мучительно долго, почти ломая палец, пока не отомкнула цепь, которой была счастливо скована столько лет.

Не договариваясь, Малкин и Гирш Оленев-Померанец думали об одном и том же: чей сейчас черед? Грамотея Моше Гершензона? А потом? Всю жизнь они стояли в очереди. Очередь была их отечеством: очередь за хлебом, очередь к врачу, очередь за квартирой, очередь, чтобы пожениться, очередь, чтобы умереть. Кто стоял в ней, тот был еще жив. Страшно вымолвить, но смерть придавала жизни какой-то смысл. У самой же жизни его не было, хотя им ка-

залось, что они, пусть и на короткое время, до очередного разочарования, его нашли.

— Пойдем дерябнем, — не отступал Гирш Оленев-Померанц.

— Нехорошо загода устраивать поминки.

— Ты знаешь, Ицхак, иногда так хочется дать тебе в морду.

— Так дай.

— А иногда, Ицхак, хочется получить от тебя в морду...

Видит Бог, когда-то Ицхак Малкин мог и в морду дать, и выпить как следует. Поводов было предостаточно. Но он считал, что еврей ни кулаками, ни водкой ничего не добьется.

— Придется одному, — грустно промолвил Гирш Оленев-Померанц и поплелся в ту сторону, где во-двигали трибуну и откуда веяло решимостью и ненавистью. И близкой победой.

Ицхак остался один. Прислушиваясь к гулу загорающегося, как костер, митинга, он перебирал в памяти все, что связывало его с Моше Гершензоном.

Малкин сшил ему первый костюм, когда еще была жива Эстер. Моше Гершензон принес ему домой отрез дорогой английской шерсти.

Ицхак долго снимал мерку, что-то записывал в замусоленную книжицу, облизывал, как школьник, кончик карандаша, так же долго замерял материал, потом аккуратно выдернул нитку, поджег ее, понохал и сказал:

— Англией пахнет. Хватит и на жилетку, и даже на заплаты.

Верный своей привычке Малкин снова стал мять и комкать отрез, а пока его комкал, притихший Моше Гершензон разглядывал комнату. В застекленной рамке висела Почетная грамота с благодарностью от Командующего Первым Белорусским фронтом маршала Рокоссовского, а чуть поодаль — вырезанный из популярного журнала портрет полководца в парадном мундире.

— Тоже английский материал, — скромно, но не без гордости сказал Ицхак.

— Это вы ему шили?

— Приказали, вот я и сшил. А вы знаете, кто он такой?

— Они все для меня на одно лицо. Жуков?

Ицхак не стал ему объяснять — пусть для него он будет Жуковым, если уж он и впрямь не узнал Рокоссовского.

— Когда примерка?

— Через три дня. Он, — Малкин ткнул в портрет, — меня тоже торопил, но я и к нему только на третий день летал.

Моше Гершензон был ужасно доволен обновой. А ведь он с пятнадцатилетнего возраста ходил к лучшему виленским портным. Сыновья Товия Гершензона, владельца стекольной фабрики, могли позволить себе такую роскошь.

Подтянутый, опрятный, всегда чисто выбритый, с гладко зачесанными светлыми, как у белокрысого немца, волосами, Моше Гершензон отличался от всех послевоенных заказчиков Ицхака. Он и платил иначе. Вынимал из внутреннего кармана старого пиджака пачку банкнот, перехваченных белой полоской бумаги с цифровой пометкой, и небрежно бросал на стол.

— Не надо экономить, надо много зарабатывать.

Зарабатывал он и в самом деле много. Он работал зубным техником, делал протезы для отставных майоров и полковников и их жен, для своего прямого начальства, доставал по первому его требованию всевозможные дефицитные товары, начиная от югославских обоев и кончая финскими мебельными комплектами «Эдвард».

В те годы он был соломенным вдовцом. Сын его Исаак жил с матерью, бухарской еврейкой, шумной, красивой женщиной, встретившейся Моше Гершензону в далеком и унылом Ашхабаде. После ее смерти Исаак перешел к отцу, но вскоре они рассорились, и сын оставил Моше, а через полгода и вовсе уехал в Москву. Гершензон аккуратно посылал ему каждый месяц деньги, надеясь на то, что сын опомнится и вернется.

Каждый год Моше Гершензон шил у Ицхака Малкина два костюма — один летний и один зимний. Гершензону были по душе его молчаливость и даже суровость, умение слушать и держать язык за зубами (самое трудное испытание для еврея). Одиноким, подозрительный Гершензон нуждался в исповеднике. Не станешь же изливать душу какому-нибудь дородному майору или полковнику с провалившимся ртом!

Удивляли Малкина и проявлявшаяся порой широта его натуры, и непонятные выходки, вызывавшие завистливые сплетни и кривотолки. Однажды Ицхак увидел сшитый им для Гершензона костюм на вильнюсском дурачке Хаимке. Он щеголял в обнове, как жених на свадьбе, высовывая из рукавов свои обмороженные в гетто руки и громко, на всю улицу, выкрикивая:

— Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка!..

Встретившись через некоторое время с Моше Гершензоном, Малкин не удержался и спросил:

— Вы что, недовольны моей работой?

— У сумасшедших тоже должны быть праздники... Стыдно — ходит оборванный еврей на виду у всего города, а нам хоть бы хны.

Когда Ицхак возвращал ему лишние деньги, Моше с улыбкой успокаивал его:

— Берите, берите. Рот, Ицхак,— свалка миллионов, только успевай лопатой грести.

— Рот — прихожая тюрьмы: ляпнешь лишнее и сядешь.

— И это правда. Святая правда.

Моше Гершензон был богатым человеком, пожалуй, самым богатым среди заказчиков Малкина. У Ицхака возникали смутные подозрения, что не только на протезах и на золотых коронках тот разбогател. Для таких подозрений было основание.

В один из осенних дней — кажется, это было через год или через два после смерти Эстер — Моше Гершензон ни с того ни с сего повел его, как он выразился, в свое «родовое гнездовье» на Заречье. Они миновали костел Святой Анны, перешли через мостик над Вилейкой и по узкой улочке поднялись на пригорок, где стоял трехэтажный кирпичный дом с облупившимися стенами.

— В этом доме я родился,— сказал, странно волнуясь, Моше Гершензон.— Если бы мне вернули то, что принадлежало моему отцу на земле и под землей, то и мои правнуки были бы...

Ицхак был старше Моше Гершензона почти на десять лет. В молодости такая разница в годах не так ощущалась, а вот в старости... Тем не менее они именно в старости неожиданно сдружились. Моше Гершензон уже не производил впечатления богача; он был похож на всех стариков, чьи жены умерли, а дети разлетелись кто куда. Деньги, правда, у него и сейчас водились, но, как говорил Гириш Оленев-Померанц, кошелек его сильно обмелел по вине Счастливирика Изи.

Счастливирик Изя не тратил своего драгоценного времени на лепку чужих зубов — он занимался более прибыльным делом, приторговывал золотом, скупал его в Литве за рубли и через посредников переправлял в Польшу, куда и сам стремился при удобном случае уехать. Не брезговал он и валютой в чистом виде, перепродавал американские доллары, французские франки и немецкие марки. Не в пример отцу, щеголю и франту, Счастливирик Изя носил потертую курточку, выцветшие джинсы, ботинки шяуляйской фабрики «Эльняс».

— Если ты не член Политбюро, то нечего и высовываться,— поучал он своего и без того ученого отца.

Однако затрапезный вид не спас молодого Гершензона. Он попался, был отдан под суд и получил восемь лет тюрьмы строгого режима. Моше Гершензон и ухлопал половину своего состояния на то, чтобы его оттуда вытащить. Счастливирик Изя отсидел три года, вышел из тюрьмы и через месяц укатил в Израиль. Моше Гершензон тогда весь поседел. Да и как не поседеешь, если не понаслышке знаешь, что такое тюрьма. Первый раз все для него кончилось счастливо. Беженец из Литвы, он в сорок первом в казахском городе Аральске получил повестку в военкомат. В то время он работал расфасовщиком в погрузочном цеху солевого комбината. Солдатская каска, свист пуль не очень прельщали молодого Моше. Он совершил кражу — вынес с комбината три кулечка соли, чуть больше полутора килограммов, и, к своей радости, был задержан охраной и препровожден в милицейский участок. Еще тогда, в кабинете следователя-казаха, он отдавал себе отчет в том, что между моментальной гибелью в штрафбате и смертью новобранца, отложенной, как недоигранная шахматная партия, на день, на месяц, пусть даже на год, большой разницы нет. Он понимал, что рискует головой, но вышел победителем: переждал за решеткой четыре года. Не погиб, не потерял ногу, не заоченел от холода.

Выиграл он и с женьитьбой. Жена его, Нона Кимягарова, происходила из богатого рода бухарских евреев. И деньги ее помогли ему быстро встать на ноги после отсидки. Второй раз Моше Гершензон мог сесть в сорок восьмом в Вильнюсе. Все началось с обыкновенной семейной ссоры. Как польский гражданин Моше по закону о реэмиграции имел право вместе с женой уехать в Польшу, а оттуда — в любую другую страну.

Но Нона заартачилась — она и в Литву-то не хотела ехать.

— Я поеду рожать в Бухару, а не в Тель-Авив! — отрубила.

Моше ничего не оставалось, как ждать ее. Не бросать же на произвол судьбы еще не родившегося ребенка. Застряв в Вильнюсе (закон о реэмиграции действовал только в течение года), он решил выправить себе другие документы — сменить год и место рождения: еще, не дай Бог, стекольную фабрику отца припомнят. Сам, дурень, захлопнул перед собой дверь. А ведь как мечтал о том, чтобы вырваться на свободу из этой огромной тюрьмы, хотя и без колючей проволоки, но с надзирателями и ищейками на каждом шагу. Нона писала ему письма, присылала фотографии сына, звала к себе в Бухару, но потом как сквозь землю провалилась.

Постепенно Моше свыкся со своим двусмысленным положением, и, когда в пятьдесят шестом снова открылась щель в железных воротах, он решил принять последнюю попытку вырваться из Советского Союза. Он стал подыскивать себе женщину — еврейку, нееврейку, — была бы только польской подданной. Только одному Богу известно, почему тогда шли невесты в угоревшем от венгерского восстания Вильнюсе. Моше Гершензон мог выбрать себе любую, сколько бы это ему ни стоило.

Ицхак Малкин любил сватать. Сватовство в роду Малкиных почиталось так же высоко, как и ремесло. Помочь еврею найти еврейку, сделать еще парочку евреев — разве это не самим Богом нам заповедано?

Через некоторое время Ицхак свел вдову Брониславу с Моше Гершензоном. Они встретились у него в доме и, пока хозяин, извинившись, демонстративно громко строчил на своем «Зингере», в спальне о чем-то тихо, с глазу на глаз, говорили.

— Я согласна, — сказала Бронислава, — только должна вас предупредить: я не совсем здорова, у меня легкие...

— Не беда, — перебил ее Моше. — Там, за границей, вылечим.

Бронислава Жовтис понравилась зубному технику. Она выглядела моложе своих лет, скромно, но красиво одевалась, была ненавязчивой, ее согласие прозвучало бескорыстно и искренне. У Моше даже мелькнула тайная мысль: может, их «подорожный» брак перейдет в настоящий и он, дамский угодник, проживет мирно и счастливо с этой женщиной оставшуюся жизнь?

Расписались и собрались Гершензоны быстро. Перед отъездом Малкин сшил молодожену новый костюм.

— Вы уж постарайтесь, — не в Бухару еду, а за границу, — торжественно произнес Моше Гершензон, предвкушая свою победу над следователем-казачом в Аральске, отправившим его на четыре года в тюрьму; над начальником охраны, возившим мешками ворованную соль в обессоленный арбузный Андижан; над теми, кто в сороковом году бессовестно отторг земельный надел его отца Товия, присвоил стекольный завод; над теми, кто принудил его восемь лет прожить с поддельным паспортом, где только фамилия соответствовала действительности. — И еще у меня к вам просьба. Если мой сын Исаак когда-нибудь появится в Вильнюсе, дайте ему адрес моих родственников в Тель-Авиве. Ваш я сообщу ему перед отъездом. Вы должны мне сшить костюм за три дня... Максимум. Заплачу в три раза больше. Если хотите, вдобавок двуспальную кровать оставляю, новенькую.

Моше Гершензон спохватился, что нечаянно обидел портного, и тут же постарался загладить свою вину:

— Готов биться об заклад — вы все равно женитесь.

Когда костюм был сшит и пришло время прощания, зубной техник, по своему обыкновению, выложил на стол пачку с белой бумажной полоской и сказал:

— Даст Бог, еще увидимся. Если не в Тель-Авиве, то в Бостоне. Если не в Бостоне, то в Тель-Авиве.

Моше Гершензон и предположить не мог, как он был прав. Да только увиделись они снова в Вильнюсе.

Поначалу Ицхак подумал: брехня, завистники болтают. Но, когда Моше Гершензон, изменившийся до неузнаваемости, растерянный, появился у него в доме, все сомнения рассеялись.

— Я остался без ничего,— прошептал зубной техник.— Без жены, без крыши, без ничего...

— Крыша есть,— сказал Ицхак.— Вы можете остаться у меня.

И Моше Гершензон остался. Он ночами напролет рассказывал про свои злключения. В тридцати километрах от Гродно Брониславе Жовтис вдруг сделалось плохо, из горла хлынула кровь; переполошившиеся попутчики сперва застыли, как ледяные торосы, а потом отпрянули от нее, выбежали в коридор и устались в окно. Моше Гершензон бросился к проводнику. Проводник в форменной фуражке, молодецкато надетой набекрень, в начищенных до блеска ботинках, как и положено человеку, обслуживающему заграничные линии, быстро захлопнул дверцу печки — подходило время чаепития,— влетел в купе, увидел забрызганные кровью простыни и занавески и под страшный кашель пассажиры объявил:

— Ближайшая больница — в Гродно. Я вызову к поезду «Скорую помощь».

— Понимаешь,— ворочаясь с боку на бок, жаловался Моше Гершензон Ицхаку,— все, что я задумал, в одну минуту полетело в тартарары. Не о Гродно же я мечтал. А тут — слезай с поезда, мотайся по больницам. Меня такая обида разобрала — на себя, на судьбу, на нее, не сказавшую мне правды. Если бы я знал, что у нее скоротечная чахотка... Надо же, чтобы такая мне попалась!

— Это я виноват, сват неудалый...

— Это проклятая советская власть виновата — держит нас всех в клетке, и не смей высываться. И горе тому, для кого клетка — колыбель. А на тебя я, Ицхак, не в обиде. И на нее не в обиде. Я сам задурил ей голову со своим отъездом.

Проводник принес ведро воды, половую тряпку, снял с себя форменную фуражку, китель и принялся смывать кровь. Когда уборка была закончена, он помог Моше Гершензону уложить жену, сбегал к бригадиру, притащил кучу лекарств. Напичканная ими, Бронислава забылась тяжким и неверным сном. Легли и попутчики.

Моше Гершензон выскользнул в коридор и прислонился лбом к запыленному оконному стеклу, за которым проплывали хаты с облысевшими от старости соломенными крышами.

Моше Гершензон отгонял от себя дурные мысли. Он все еще верил, что Бронислава дотянет до границы, а там все другое — и коровы на лугу, и птицы в небе, и люди на земле. Только бы поскорей пересечь вожделенную черту, только бы сойти с этого поезда, где каждый — еще пленник, еще раб, еще подневольная скотина. Конечно, и Польша дерьмо, но из этого дерьма куда легче выбраться.

Господи, Господи, он никогда не желал ни одной женщине столько добра, сколько Брониславе,— ни Ноне, ни родной матери, никому! Пусть живет до ста двадцати. Он согласен жениться на ней по-настоящему, взять с собой в Тель-Авив, устроить свадьбу с хупой, только бы она жила. Он, Моше Гершензон, не зверь, и у него есть сердце — не все в нем выжжено и не все испоганено. Он за Брониславу помолится, вспомнит давно забытые молитвы, будет твердить их всю ночь, весь день, всю жизнь.

Моше Гершензон стоял у окна и, воровато оглядываясь на купе, шептал полузабытые библейские стихи. Он просил Господа, чтобы поезд летел сквозь ночь, как легкрылая птица, молил, чтобы они миновали проклятую границу, чтобы в коридоре появился поляк-пограничник — Мессия в конфедератке.

Он обещал Всевышнему, что, как только переберется в Израиль, станет примерным евреем — мужем и отцом, что больше никогда никого не будет обманывать, ни у кого не будет красть, перестанет ловчить и лицемерить, даже если придется закончить земной путь в нищете и безвестности. Да, его брак — обман, его паспорт — подделка, но он не птица небесная, не вольный ветер. Это для них нет ни границ, ни пограничников с автоматами и овчарками.

Как бы повинуюсь желанию Моше Гершензона, поезд и впрямь набрал скорость. Он летел, рассекая темноту и возвещающая гудками желанное избавление. Моше подкидывал в паровозную топку свои надежды, желания, обиды, ут-

раты. Они сгорали, но он снова и снова подкидывал их, как уголь. Этого угля у него было несметное множество.

В сознании вдруг всплыли слова сумасшедшего Хаймки: «Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка...» Моше безотчетно повторял:

— Наш паровоз, вперед лети, в Варшаве остановка...

Повторял, всякий раз заменяя города: в Вене остановка, в Париже, в Тель-Авиве... Только не в Гродно, только не в Гродно, выстукивали колеса, стучало в висках и эхом отдавалось в сердце. Но как раз в Гродно и случилась остановка.

Наступило утро. Моше по-прежнему стоял у окна.

— Чай будете пить? — услышал он хриловатый басок проводника за спиной.

— Спасибо, я-то нет, но, может, Бронислава...

Проводник вошел в купе, поставил на столик два стакана для попутчиков и один для Брониславы. Вышел он не сразу, подошел к Моше, тронул его за плечо и сказал:

— Мне кажется, что чай вашей жене уже не нужен.

Уголь в топке догорел. Надежд не осталось, а на одних утраках далеко не уедешь.

Санитары вынесли на носилках Брониславу Жовтис из вагона и погрузили в машину. Моше Гершензон сидел рядом с молоденькой медсестрой-белоруской, и невольные, непрощенные слезы катились по его лицу. Ему было жаль себя, жаль Брониславы, хотя мертвых чего жалеть, мертвым надо завидовать — смерть честнее жизни, подложной смерти не бывает.

Он не знал, что делать. После недолгих, обжигавших стыдом раздумий он решил предать покойницу земле тут, на земле Белоруссии. Бронислава Жовтис — не Гириш Оленев-Померанц, ей все равно, где лежать.

Однако похоронить Брониславу Жовтис в чужом городе, к тому же теперь подданную другого государства, оказалось не так-то просто. Моше Гершензон напрочь забыл, что в Советском Союзе в чужом городе пришьельца без разрешения нельзя не только похоронить, но и принять на ночлег. Все мольбы, все намеки на то, что он в долгу не останется, не помогли. Власти Гродно были непреклонны и твердили в один голос: «Очень сожалеем, но отправляйтесь на свое кладбище».

Два дня промыкался Моше Гершензон в Гродно, пока не нанял грузовик и не вернулся в Вильнюс. «На свое кладбище!» Разве скажешь им, что шестая часть Земли, которую они захапали, — сплошное кладбище, где без их согласия ты не волен ни жить, ни умереть. Возвращение обернулось еще одной бедой: на него пригрозили донести родственники Брониславы Жовтис. Разгневанный Моше сначала послал их к чертовой матери, но те были не из робкого десятка.

— Не выложишь кругленькую сумму — сядешь.

Как умудренный жизнью человек, Моше Гершензон на зубок знал основной закон социализма — лучше заплатить, чем сесть. И заплатил. Но те не унимались. Того, что он отсыпал, было для них мало. Когда от него потребовали дополнительную дань, купил билет на Варшаву и исчез из города. На границе, видно, по доносу у него отняли визу, сняли с поезда и отправили обратно в Вильнюс. Он получил два года тюрьмы за попытку, как значилось в приговоре, незаконного перехода государственной границы. Воля его была подорвана, но не сломлена: он не отказался от своей затеи, продолжал ходить по канату над одной шестой Земли и верить в то, что не упадет и все-таки вырвется из клетки.

Выйдя из тюрьмы, Моше Гершензон еще больше сблизился с Ицхаком. Зубной техник поверял ему свои тайны, а тайн у него было хоть отбавляй. Нет на свете более тяжелой ноши, чем знать все о себе и о других...

С Кафедральной площади доносился гул митинга. Речи ораторов то и дело прерывались ликующими кликами:

— Lie-tu-va! Lie-tu-va!

В Бернардинском саду, кроме Малкина, не было ни души. На опустевшие скамейки тихо падали листья, звезды и призраки. Призраков было больше, чем звезд, и одним из них был Моше Гершензон. Надо будет завтра навестить его, подумал Ицхак. Он не любил ходить в больницы, а уж в ту, где угасла Эстер, и подавно. А сейчас надо постараться вздремнуть. Но разве при таком ликования, при таком оре подремлешь?

Ицхак Малкин закрыл глаза и вдруг услышал топот молодого норовистого коня, увидел себя, такого же молодого и норовистого; бойко вскочил в седло, прищипнул коня, и конь понесся через годы, как через луга, через беды, и в его ликующем ржании слышалось само будущее. Конь летел, как на гербе, как на знамени, которому он, Ицхак Малкин, присягал в далеком двадцать третьем, и топот его копыт сливался с радостными возгласами:

— Лие-ту-ва! Лие-ту-ва!

Чем дальше конь летел, тем смутнее проступал на фоне вечеряющего неба силуэт всадника, пока он наконец не слился с закатным маревом. Ицхак видел вороного, но уже без всадника...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Отгостило лето, шло к концу и гостевание осени. Стояла короткая пора предзимья — с заморозками поутру и с журавлиным курлыканием в полдень. Прощальные клики журавлей, о которых, как и о цветах и насекомых, он ничегошеньки не знал, наполняли его душу странной тревогой, приводили в несоизмерное с их отлетом волнение. Ну чего он, собственно, волнуется? Улетят и прилетят. Так было и так будет. Но, как Малкин себя ни уговаривал, чем дальше, тем больше его томило расставание с птицами. Ицхаку казалось, что с каждым днем какая-то злая и неведомая сила выкорчевывает, выпалывает, опустошает его деревья, его поляны, его небо. Исчезают цветы, улетают птицы и насекомые, уходят навеки люди. Все уходит. Только он, Ицхак Малкин, неизвестно до какого срока прикован к этой парковой скамейке.

Не потому ли, глядя на загадочный журавлиный клин, Малкин испытывал не только волнение, но и непонятную сладостную зависть. Вот и нам бы так, ловил он себя на мысли, провожая взглядом журавлиную стаю. Собраться всем вместе: и Моше Гершензону, и Гиршу Оленеву-Померанцу, и Натану Гутионтову с его упряницей Ниной, и ночной еврейке пани Зофье, и ему, Ицхаку Малкину, и другим — в Литве еще наберется по крайней мере тысяча ненужных евреев! — собраться и взмыть вверх, а взмыв, выстроиться в клин и улететь в теплые-нетеплые страны, не имеет значения, в какие, ибо они нигде уже не приземлятся, а будут летать над землей, пока не рухнут вниз, курлыкать и созывать своим курлыканием всех ненужных евреев. Всех и отовсюду — из Европы и Америки, Северной и Южной, из Азии и даже Африки (бродит же какой-нибудь ненужный еврей и по джунглям). Вот это был бы клин! Всем клинам клин! Человечество задирало бы голову и, обалдев, повторяло бы: «Евреи летят! Евреи! К чему бы это?»

— Ничего из твоей затеи все равно не вышло бы, — захихикал Гирш Оленев-Померанц, — потому что каждый еврей в жожаки лезет. Только поднимемся в небо, и начнется тарарам: я... я... И никуда мы не улетим — ни на юг, ни на север.

— А зачем ненужным евреям жожек? — потерянно спросил Малкин.

— Затем, чтобы быть первым ненужным, главным ненужным.

Неуютно чувствовал Ицхак в последнее время и тут, в облюбованном парке, на персональной, как он шутил, скамейке. Моше Гершензон лежал в больнице; Натан Гутионтов сидел целыми днями дома и сторожил Нину, чтобы та, не приведи Господь, без него не сбежала в свою Балахну; у Гирша Оленева-Померанца были гости: приехали на родные могилы Тростянецкие из Швеции — как ни крути, а безопасней и куда дешевле, чем в гостинице; пани Зофья как сквозь землю провалилась.

В глубине души Малкин холил надежду, что их товарищество не развалится, что все еще, даст Бог, восстановится. Моше Гершензон после операции выйдет из больницы и снова будет приезжать по вечерам в парк и развозить их в ранних сумерках по домам.

Придет в парк и Натан Гутионтов — никуда не денется. Сторожить женщину — это все равно, что к ветру охранника приставить. Да и потом, какой резон Нине стрекача давать? Гутионтов не так уж в землю обетованную и рвется. Его, Ицхака, два дня не было, а когда пришел, липа так расшумелась, так зашелестела, что у него слезы на глазах выступили. Малкин сидел, осыпанный листвой, и не стряхивал ее. Прохожие смотрели на него как на чокнутого, а он продолжал неподвижно сидеть, боясь лишиться благодати, нарушить какую-то

связь между ним и Всевышним, явившимся ему на мгновение в виде старой и великодушной липы.

Явится и взбалмошный Гирш Оленев-Померанц. Проводит своих шведских гостей, възщет с них дань за могилу и за квартиру, пропустит свои сто пятьдесят граммов и пожалует сюда. Он, Ицхак, недавно здорово ему помог — саженцы для него достал, молодые дубки. Ездили аж за Неменчине, в лесхоз, к Шимкусу (Малкин с ним вместе в Литовской дивизии служил). Шимкус и деревца дал, и грузовик, водитель чуть ли не до самых рвов их довез. Правда, сначала Ицхак даже пожалел, что, откликаясь на просьбу Гирша о саженцах, вспомнил своего однополчанина — директора лесхоза.

— А что, если нас с тобой схватят, поволокут куда следует, а саженцы — в костер?

— Я им такой костер устрою, век помнить будут. На всю Европу, на весь мир! Ни лечь с родными нельзя, ни высадить в память о них какое-нибудь дерево, из их же лесов, их же дерево.

— Сажай где угодно, но только не там.

— А я хочу там. Понары принадлежат мне. Не Литве. Майданек — не польская земля. Дахау — не немецкая, Бабий Яр — не украинская. А наша. И что хотим, то и можем на ней делать. Где это слыхано, чтобы за посадку деревьев в кандалы заковывали! Пусть только попробуют выкорчевать! — пригрозил неизвестно кому флейтист. — Я к каждому деревцу приколочу медную табличку и укажу на ней имя и фамилию. Пусть растут мои сестры и братья, пусть на ветру развеваются волосы моей матери Златы, и пусть ветер обвевает, как листья, не вырванные негодьями клочья черной бороды моего отца Арона. Это все, что я при жизни могу для них сделать. Если бы я был, как Яша Хейфец, и имел хотя бы миллион, я каждому из них воздвиг бы памятник: кому из мрамора, кому из бронзы, а родителям — из чистого золота. Но я полунищий пьянчужка. Может быть, когда мы встретимся, они меня простят за все мои грехи. А мы обязательно встретимся. И скоро. Заждались они меня...

Гирш Оленев-Померанц не может не прийти в парк. Скамейка под липами для него, как и для них для всех, — и колыбель, и гроб, и кара, и благословение. Доллары Тростянецкого не отлучат его от друзей. Объявится и ночная еврейка пани Зофья. Должна объявиться. Если, конечно, жива. Ее голуби до сих пор кружатся над его головой, до сих пор — страшно кому-нибудь признаться — она ему снится. Почти сорок лет Ицхак прожил без снов о женщинах, и вдруг на тебе: не Эстер снится, не Фрума, а влетевшая в его жизнь, как голубь в голубятню, полька с крашеными волосами. Раньше с ним такого не бывало. Снилось всякое: и братья Гилель и Айзик, и маршал Рокоссовский, и даже пленный немец — портной из Мюнхена (ах, какой это был портной!) по имени Зигфрид, но чтобы женщина, одна и та же, не сестра, не жена!

Господи, Господи, чем только не напичкан человек! Поди пойми, чего в нем больше. Наверное, грехов, ибо безгрешных радостей на свете не бывает. Разве сама радость — не грех? Разве можно радоваться, когда рядом кто-то рвет на себе волосы?

Ицхак искал для каждого, кто подолгу не приходил в парк, оправдания. Он и сам стал приходиться сюда реже. И причиной тому были не проливные осенние дожди, не утренние заморозки, не участвовавшие митинги и суровые, почти языческие шествия к башне Гедиминоса, возвышавшейся над городом в своем горделивом спокойствии. Причина была в нем самом: несмотря на недюжинное здоровье, каким всех Малкиных наградила природа, Ицхак стремительно и немолимо старел. Широкая и бессмысленная двуспальная кровать не отпускала его и, как живая, нашептывала: «Лежи, лежи...» Порой он сдавался, зарывал тяжелую голову в подушку, пахнущую детством, бабушкой, ошипывающей в сенях прирезанных гусей. Запах убаюкивал, возвращал туда, где во дворе стоял колодец с огромной бадьей, полной чистой воды, светлых надежд и чистого, не замутненного никакими смертями и потрясениями времени. Выпьешь и будешь жить вечно, время впитается в твою плоть. В такие дни его нет-нет да и охватывало постыдное отчаяние: а может, он зря утруждается, может, вообще зачем ходить в этот парк ненужных евреев? Но не приходило и часа, как он раскаивался в своем малодушии, отгонял от себя мрак, прорубал в нем расщелину и высовывал через нее голову к сумеречному, навевавшему печаль осеннему свету, разлитому в Бернардинском саду.

Нисколько не переоценивая своего значения, он тем не менее понимал, что, выйдя он из игры, она закончится и больше уже никогда не возобновится, никто никогда ни одной карты в руки не возьмет. Пока он, Ицхак, сюда ходит, она будет продолжаться и банк будет расти. В отличие от жизни — самой крупной и до самоубийства азартной игры — в их игре нет ни победителей, ни побежденных. Тут банк не сорвешь, будь у тебя на руках даже все козыри. Там, в той кровавой и беспощадной игре, Гирш Оленев-Померанц — безумец, не признающий никаких законов и правил, зарвавшийся шулер, пытающийся на родстве с мучениками нажить посмертный капитал и выделиться среди других, а тут он — чистая душа, чуть ли не праведник. Там Натан Гутионтов — калека, базарный цирюльник, а тут — подвижник и мудрец, готовый жертвовать собой ради любви и дружбы.

В раздумья Малкина вдруг вторгся цокот женских каблучков. Обычно, услышав их расстрельную дробь, Ицхак даже головы не поднимал, но на сей раз, повинувшись какому-то нахлынувшему любопытству, он изменил своей привычке и увидел приближающуюся к скамейке, заметенной отлитыми в дешевое золото листьями, женщину, затянутую в кожаную, поблескивающую чешуей юбку; в голубой блузке со стоячим, словно парус, воротником; с клипсами-бабочками, застывшими на мочках ушей.

Она шла к нему, крутя тугими бедрами, и только по ее раскованной походке, по тому, как она в такт шагам размахивала своими по-крестьянски крепкими руками, не вязавшимися с ее франтоватым видом, Ицхак узнал в ней ночную еврейку пани Зофью. Пани Зофья положила на скамейку изящную сумочку, наклонилась к Малкину и бесцеремонно, но искренне чмокнула его в щеку.

— Пшепрашем, я пану без дозволения квят намалевала.

— То ниц. Ниц. Таки квят не зашкодзи.

— Ниех пан правду повиедзе — пан тенскновал?

Ицхак стухевался.

— А я тенскновала... Як коханка! — рассмеялась она.

Пани Зофья опустилась на скамейку, прижалась плечом к старику, помолчала, потом протянула руку к сумочке, вынула из нее маленькую коробочку, перевязанную подарочной ленточкой, и положила Малкину на колени.

— То, пан Малкин, мой малюткий презент пану.

Малкин не притронулся к подарку, на память ему приходили все праздники в его жизни, начиная с детства и кончая старостью. Их было очень немного, и растроганный Ицхак повторял их про себя, как детскую считалку.

Пани Зофья молчала вместе с ним и что-то сама вспоминала — может, своего отца-подпоручика, может, Йоселя-Яцека, может, старика раввина на Конской, говорившего ей: «Я сделаю из тебя настоящую еврейку, если нас не передуют, как кур. Мы будем с тобой по субботам читать Тору — в шаббат нельзя заниматься любовью. Твой Йосель это знает... Станешь еврейкой, и мы поставим хупу назло Аману...» Как она его боялась, что он ее немцам выдаст. Но тот, кто верит, никогда не предаст того, кто любит.

— Я выезжаю до Польски. На стале. Неочикиване отчималем майонтек. Вуй змарл и зоставил вшистко: дом, пинендзи, землю, навет езоро з рыбами. Запрашам пана на гефилте фиш.

Он по-прежнему глядел вдаль, напрягая глаза и стараясь отгадать ту тайну, которую ему, Ицхаку, завещал при рождении Господь Бог. Сейчас, когда он и сам стал похож на не разгаданную доселе даль, он, кажется, понял: никакой отдельной тайны нет. Есть одна, всех объединяющая и всех разводящая тайна. И тайна сия — человек. Кто он, Ицхак Малкин? Кто она, пани Зофья, у которой он даже не успел спросить фамилию? Кем были те, что были до нас, и кем будут те, кто придет вслед за нами?

Он действительно был рад за нее, неожиданно получившую завещанное дядей, тоже подпоручиком, как и ее отец, наследство: фольварк где-то между Сейнами и Августавой. Теперь она проведет в покое и холе остаток своих дней — может, оборудует на чердаке голубятню, купит венских голубей и перед сном будет слушать их сладострастное воркование, которое сорок с лишним лет тому назад сводило ее с ума, а может, забудет своего Йоселя-Яцека. Забудет и выйдет замуж за какого-нибудь крепкого, но неумиющего мужика.

Та, прежняя пани Зофья с ободранной метлой и поделенной надвое, как черствый ломоть хлеба, жизнью была Малкину ближе и родней, чем представ-

шая перед ним дама в цокающих туфельках, в юбке чуть ли не из крокодиловой кожи.

Ицхак ждал от нее не подарков, не театральных поцелуев, не рассказов о красотах польской природы. Он надеялся услышать что-то другое. Что ему белые лебеди? Что ему благовонный жасмин? Он надеялся, что она вернется с Йоселем-Яцекком и все они вместе отправятся туда, на Конскую, на чердак. Но пани Зофья туда, кажется, не спешила. Малкин по себе знал: мертвые живы, пока к ним спешат. Потому Эстер жива. Потому и братья Айзик и Гилель расстреляны, но не мертвы.

Ицхака угнетала перемена в ней, хотя он и не осуждал ее. Каждый сам выбирает свой чердак, свой пруд и — если Господь удостоит такой милости — свою могилу. Не было в их отношениях того, что было прежде: теплоту подменила учтивость, появилась столь не терпимая им неправдивость. Нет, нет, такой пани Зофье он не мог признаться в том, что она ему снилась. Никогда в жизни! Почувствовала и она какую-то в прошлом не свойственную ему замкнутость.

— По цо пан Малкин не хце попатшич на муй презент? — напрямик спросила она, заставив его смутиться.

Ицхака поразила ее прямота, от которой сквозило неподдельной болью, и он засуетился, стал неуклюже развязывать ленточку, заглянул в коробочку, достал из нее крошечный медальон, раскрыл его и застыл в недоумении.

— Твой братик? — выдохнул он, глядя на старинную фотографию, где был изображен чернявый мальчик лет десяти с вьющимися локонами и высоким лбом.

— Нет, — ответила она. — У меня не было ни братьев, ни сестер.

Пани Зофья хотела, чтобы он сам догадался. Его догадливость только умножит ценность подарка.

На минутку старику подумалось, что он зря ломает себе голову, что пани Зофья просто привезла ему на память из Польши симпатичную безделушку, но по тому, как новоиспеченная богачка ждала ответа, по тону, каким вела допрос, по глазам, внезапно округлившимся и странно, почти враждебно заблестевшим, он смекнул, что мальчик с вьющимися локонами ей ближе, чем брат.

— Неужели? — прошептал он, и в его шепоте смешались и благодарность, и удивление, и раскаяние.

— Таким он пришел в первый класс гимназии... Ни у кого так не вились волосы, как у него. Ни у кого не было таких черных глаз — две спелые вишни. Мама его называла Копель. Яцек Копель — на польский манер. Чтобы дети не дразнили. Поэтому-то она нас рядом и посадила... на первой парте... напротив Пилсудского... Они оба все время глядели друг другу в глаза.

Ицхак молча слушал ее, не выпуская из рук медальона, изредка бросая на фотографию любопытный взгляд, и во встречном взгляде юного Йоселя-Яцекка Копеля складывалась огромная слеза, в которой отражались первый класс виленской польской гимназии, пышные усы маршала Пилсудского, Большая синагога, монашки в черных непроницаемых одеждах, спешащие к Духову Монастырю, молодцеватые хасиды в высоких, отороченных мехом шапках. Казалось, слеза вот-вот выкатится и потечет по Бернардинскому саду, потом по всем местечкам Литвы, опустевшим, очищенным от Йоселей, потом, одинокая и все увеличивающаяся, минув бдительную стражу, хлынет и в Польшу, а оттуда в Европу и через Атлантический океан в Америку. Увидев ее, сохранившиеся в мире евреи наденут тфилин, откроют молитвенники и примутся читать те главы, которые полны ярости и скорби.

Спасибо пани Зофье. Спасибо. Он теперь не расстанется с Йоселем, будет с ним повсюду ходить, сидеть тут, на скамейке, в Бернардинском саду, слушать шелест листьев... и если кто-нибудь — Гирш Оленев-Померанц, или Моше Гершензон, дай Бог ему здоровья, или равнодушный к чужим тайнам Натан Гутионтов — спросит Ицхака, кто этот юнец в гимназическом кителе и в форменной фуражке с кокардой, то в ответ услышит:

— Мой сын Йосель.

И в этом не будет никакого вранья. Разве те, кто погиб в отроческом возрасте в Понарах, не его, оставшегося неведомо за какие заслуги в живых, дети? Разве не имеет он права посмертно усыновить их? И потом, чем Счастливчик Изя Гершензон или Лариса отличаются от его Йоселя? Натан Гутионтов, горячий отец, назвал их бумажными детьми, в основном существующими на страницах писем и на цветных фотографиях.

Если любопытные не отвяжутся, будут доносить его расспросами о Йоселе: мол, откуда взялся и где он сейчас? — то Ицхак сразит их таким ответом: — Незаконнорожденный сын. Живет с матерью в Польше.

Может же и у него, Малкина, быть какая-нибудь тайна, скрытый грех. Грехи красят мужчину не меньше, чем шрамы.

— От Яцека тилько и зосталось: два здейенце. Венце ниц,— без ложного страдальчества сказала пани Зофья.

Она говорила быстро, без пауз, громче обычного, но ей казалось, что Ицхак не слушает ее, думает о чем-то своем, никакого касательства к ней не имеющем. Все старики думают только о себе. Даже к смерти они относятся как к своей собственности.

Отрешенность Малкина коробила ее, но пани Зофья старалась не выдать своего недовольства, корила себя за простодушие и доверчивость. Ну с чего взяла, дура, что этому портняжке, от избытка скуки обласкавшему ее своим вниманием, так уж важна история ее жизни? В глубине души он, видно, считает ее обыкновенной шлюхой, пытающейся выдать свое распутство чуть ли не за подвиг. И все-таки пани Зофья отказывалась верить в то, что он мог о ней так подумать.

— Мам виеле клопот с министерством справ вевнетшних,— как ни в чем не бывало сказала пани Зофья.— Бендзем в Вильне йешче два тигодни.

— Жаль...— несколько раз кашлянув, хрипло произнес Малкин.— Мы собиравались принять вас в свой клуб.

— Так? — Она не могла взять в толк, о каком клубе идет речь, но и возражать не думала.

— В клуб ненужных евреев,— пояснил Ицхак и, переменяя свою речь кашлем, принялся ей объяснять, в чем дело.

— То пиенкне... то чудовные...— пропела пани Зофья.— Пан Малкин стане гвездорем, як Грегори Пек...

Она без тени сомнения выразила свое согласие примкнуть к ним и со свойственной ей горячностью и увлеченностью обрисовала будущее клуба, который должен, по ее мнению, из еврейского стать международным и из местного — всемирным. Ненужных людей на белом свете хоть пруд пруди. Их куда больше, чем нужных. Пани Зофья даже перефразировала вставший в печенки лозунг: «Ненужные всех стран, объединяйтесь!» Зачем, пан Малкин, далеко ходить за примерами? Возьмите Польшу — сколько там ненужных, не сосчитаешь. Или Литву? Половина ненужных. Поезжайте во Францию — и там их полно. А в Америке? А в России? А в Китае?

Ицхак, довольный, улыбался, ему была приятна ее остроумная лесть, ее шутовское предложение запатентовать его прекрасную идею: помяните мое слово — когда-нибудь клуб назовут вашим именем, будет учрежден Интернационал ненужных людей земного шара, и что она, несмотря на обвалившееся на ее голову наследство, первой в Польше вступит в его ряды.

— Только Ленина из меня не делай,— в ответ отшучивался он.

Шутейное настроение длилось недолго, но оно помогло перейти от задумавшей было отчужденности к прежней открытости. Ицхака так и подмывало спросить у нее о том, чем закончилось все там, на Конской, как погиб Йосель-Яцек, что стало с голубями, но из скромности, из боязни причинить ей боль он молчал, дожидаясь, когда гостя сама об этом расскажет.

Пани Зофья негромко промолвила:

— Мы з ним... ну як то повиедзиц... Поругались. Так? Яцек, сказала я ему, завтра не чекай... не пшидон.

Как Ицхак понял, они повздорили из-за пустяка (пани Зофья забыла, из-за чего именно, — кажется, из-за злополучных голубей). Когда же она на следующий день вечером явилась к нему с повинной, Йоселя-Яцека уже и в помине не было. Пол чердака был усыпан расстрелянными голубями — на белых венских крыльях багровели пятна крови. В углу огромной железной клетки белели остывшие голубиные яйца. Пани Зофья достала одно из клетки и, рыдая навзрыд, принялась согреть его своими ладонями. Потом бросилась к соседнему дому, где на втором этаже жил рабби Элиезер. Она была почти что уверена, что и его во время облавы увели.

Рабби Элиезер стоял у восточной стены, бормотал молитву и ничего не слышал.

— Что там у тебя в руке?— спросил он, когда кончил молиться.

— Голубиное яичко,— ответила пани Зофья, давась слезами.

— Там еще их много осталось?

— Штук пять.

— Немало. На один завтрак хватит. Одной молитвой сыт не будешь... Я спал в ту ночь в синагоге. Господь, да не померкнет никогда его имя, пожалел меня... не отдал... Белошвейка Лея говорит, что Копельман ушел не один. С голубицей. Как только началась стрельба, сунул ее за пазуху и ушел навеки. Сейчас, видно, летают вместе над райскими кущами. Там, где есть голубь, должна быть и голубица.

Ицхак увидел, как она сглотнула подступивший к горлу ком, засуетилась, вынула из сумочки крохотное зеркальце. Пани Зофья смотрелась в него очень долго, но губы не красила, волосы не поправляла. Перед глазами гостья проплывала вся ее жизнь, которая скорее напоминала невысиженное яйцо, чем летающую над райскими кущами голубицу.

— Зобачимисмы, але юш тераз запрашам пана Малкина до заграницы, до Сейн. То неизбит далеко от Вильна,— выстрелила в тишину пани Зофья.

Слишком поздно его пригласили за границу, беззлбно и без всякого сожаления подумал Ицхак и носком ботинка поддел горстку онемевшей листвы. Слишком поздно. Незачем теперь ему туда ехать. Теперь каждая улица Вильнюса для него — заграница: новые дома, новые витрины. А каждый его житель — иностранец. Раньше казалось, что весь город сплошь состоит из его клиентов.

Много лет тому назад в польском городе Гданьске, прояви он решительность, Ицхак и впрямь мог стать иностранцем. Не германским подданным, а американским. Стоило ему, Ицхаку, только рискнуть, только предать Эстер, мертвую или живую, только сказать «да» рыжему Моне, Моне из Кишинева, завхозу военного госпиталя, и он сегодня торчал бы не тут, а гулял бы по какой-нибудь авеню, женился бы на американской еврейке из хорошего дома или на такой же беженке, как и он сам, народил бы с ней кучу детей, сам открыл бы магазин-мастерскую. Но Моня из Кишинева улепетнул из Польши на Запад один, а он, Ицхак, остался — никакого доверия у него капитан Эммануил Вайсберг не вызывал.

— Ну что тебя так тянет назад? Могилы? Солнце сталинской конституции? — шепотом среди руин спрашивал у него Моня.

После исчезновения Мони из Кишинева Ицхак только и ждал, когда за ним придут из смерша и вместо родной Литвы или вожделенной Америки он попадет куда-нибудь на дальний-дальний Север, в тундру, где за колючей проволокой испустит дух и где его зароят в вечную мерзлоту. Но шли дни, и никто за ним не приходил. Видно, капитану Вайсбергу удался побег — недаром он к нему тщательно и тайно готовился. Может статься, Моню из Кишинева схватили, но тот на допросах его не выдал, не назвал все-таки его имени как соучастника, и Малкина не тронули.

Ицхак вынул из кармана штанов ядреную антоновку, осторожно, боясь повредить протезы, откусил кусочек и, вдыхая ее морозящий губы родниковый аромат, зажмурился. И вдруг из-под тяжелых опущенных век выполз белехонький корпус военного госпиталя на краю Гданьска, распахнулись двери палаты, где он, Ицхак, лежал после второго, к счастью, легкого ранения в плечо, вбежала смазливая сестричка Люба, которой предлагали руку и сердце все, кроме него, а за ней в палату вошел незнакомец, облаченный в белоснежный халат. Он был без всякой докторской амуниции. Когда он подошел поближе к койке, Ицхак под небрежно накинутым халатом разглядел край погона, и сердце на мгновение екнуло. Оттуда, промелькнуло у него, и он зажмурился от ярко вспыхнувшего в сумерках страха.

— Вы рядовой Малкин? — осведомился тот, подойдя.

— Да, — произнес Ицхак и почувствовал, как односложное слово осколком гранаты впилось ему в висок.

— Портной?

— Так точно, — ответил он, полагая, что верность уставу задобрит незнакомца.

— В Париже учились?

Господи, они все знают. Откуда? Во всех анкетах на вопрос: «Были ли вы за границей и когда?» — он неизменно отвечал, не задумываясь: «Не был».

— Напомню вам: в тридцать седьмом вы полгода с лишним совершенствовались как закройщик в столице Франции у дяди вашей жены. Не вижу никакого основания для того, чтобы вы жалели об этом. Хвала мастеру, который стремится к новым высотам!

Кто бы мог подумать, что случайное признание в разговоре с однополчанином приведет к такому печальному исходу!

— У меня есть разрешение забрать вас, — сказал особист.

Гм, это им-то нужны разрешения?! Им же все разрешено! Единственное, чего они не могут, — улечь за решетку Господа, хотя компромат на него давным-давно собран.

Внизу, во дворе госпиталя, стоял наглухо закрытый джип. Подполковник, снявший в приемном покое халат и надевший привычную долгополую шинель, услужливо открыл дверцу, и Малкин, стараясь не задеть хоть и зажившую, но все еще ноющую рану, втиснулся в лендлизовскую машину. Ехали молча, и от этого молчания исходил какой-то жар, почти что зной, какой стоит в середине лета. Чем дальше, тем трудней становилось дышать.

Джип петлял по замысловатым улицам Гданьска, подсакивая на выбоинах; полковник дремал или притворялся, что дремлет; водитель, молодой парень с подозрительными монгольскими скулами и недобрыми, колючими, как наконечник стрелы, глазами, курил одну самокрутку за другой. Что за преступление совершил он, если за ним послали не спешащего выслужиться лейтенантика, а полковника? Чем он так не угодил советской власти? Да, был в бою не очень смел, порой нерешителен; да, случалось, когда он безмолвно, немо, безголосо поругивал и немцев, и русских, втянувших его в эту кровавую канитель. Но, видит Бог, не делал ничего такого, чтобы из-за него утруждали себя полковники.

Нет-нет да возникал перед глазами Ицхака Мона из Кишинева. А вдруг рыжий оказался провокатором? А вдруг он встретится с ним в роковом кабинете на очной ставке? Это только отец Довид считал, что еврей еврея никогда не предаст. Их век — время предательства и измен, время братской крови, ибо, кроме братской, никакой другой крови, если верить Библии, нет. Каждое око — око ближнего, каждое сердце — сердце ближнего, каждая рука, держащая меч или оливковую ветвь, — рука ближнего. Что творится с миром, где не осталось ни одного ближнего? Все дальние. Все только дальние. Все. Как говорил рабби Мендель, у добра меньше наследников, чем у зла. Зло золотит карман, а добро — душу.

Гданьск кончился, повеяло озерной влагой и заболоченными лугами. Малкин не понимал, почему его так долго везут. Кокнули бы за еврейским кладбищем, и какая-нибудь сердобольная душа зарыла бы его среди своих. За всю дорогу Малкин ни разу не вспомнил о Париже. Впервые в жизни он убоился собственных воспоминаний.

Неожиданно джип остановился, мотор взревел, зачихал и, поперхнувшись выхлопными газами, замолк.

— Приехали! — весело, почти дружелюбно сказал полковник и стряхнул с себя дремоту, как выкупанный щенок воду на берегу.

Малкин оглянулся. Перед ним простиралось наспех оборудованное летное поле, на котором стояли два истребителя и несколько чем-то напоминающих стрекоз машин, которые в армии окрестили «кукурузниками».

— Спасибо, Чингиз. Ты быстро нас домчал, — бросил полковник водителю и, повернувшись к Ицхаку, предложил: — Покурим, а то у летчиков свои правила.

— У летчиков? — упавшим голосом переспросил Ицхак.

— Рядовой Малкин, вы что, никогда не летали? На чем же вы добирались до Парижа? Да признайтесь же наконец! Иначе мы вас отправим обратно в часть, в окопы.

Малкин застыл в изумлении. Он вдруг почувствовал, что стал похож на манекен: издали вроде бы человек, а вблизи захватанная руками деревяшка. На поле появился летчик в полном летном обмундировании, с парашютом за плечами. За ним плелся второй — видно, штурман-стрелок. Полковник что-то еще пробормотал про исключительно ценный груз, про то, что вылеты будут производиться в любую погоду и в случае надобности сопровождаться эскадрильей истребителей.

В голове Малкина крупные клочья страха смешались с легкими перистыми облачками надежды. Он прилагал огромные усилия, чтобы отъединить доброжелательность полковника от его же таинственности, не сулившей поначалу ничего хорошего.

Ицхак уже, правда, почти не сомневался в том, что его кости истлеют не на гданьском еврейском кладбище, которое находилось в ста метрах от военного госпиталя. Еще не поднявшись в «кукурузник», Ицхак уразумел, что стал частью какой-то совершенно секретной операции, успех которой зависит, наверно, не от автомата Калашникова и не от пушки такого-то и такого-то калибра, а от его иглы, от привычных ему портновских ножниц. Впервые за четыре года войны он скорее по наитию почувствовал себя не вооруженной букашкой, ползающей день-деньской по окопной грязи, не бумажной мишенью, которой неведомы ни боль, ни страдания, а тем, кем он был всю свою сознательную жизнь.

Малкин сидел в крохотном и резвом, как шмель, самолетике и, прислушиваясь к гулу моторов, слышал другой водопадный шум — парижских площадей и улиц, базаров и набережных, и этот шум вливался в его, Ицхака, горло, как спирт, и он пьянел, пьянел, пьянел от него, как тогда, когда прощался с ним навеки. Господи, спасибо тебе за то, что Ты не покарал меня за мое малодушие, которым я унижил лучшие дни моей жизни, красоту и честь города, возведенного как будто не из камней, а из Твоей милости.

За самолетиком увязалось облако, и вдруг на самом его краю обозначилась улица — улица Декарта, а на ней, затейливо вившейся по облаку, выросла портновская мастерская Бецалеля Минеса — дяди Эстер, иголка которого покорила весь Латинский квартал. Кудесник Бецалель ходил по облаку с сантиметром на шее и давал своему родственнику из Литвы всякие советы: «Пуговицы надо пришивать так, как будто пришиваешь их навеки» или «Клиенту никогда не следует говорить, что этот фасон вышел из моды, ибо он платит тебе не за пошив, а за послушание, которое будет модным вечно». Дядя Эстер ругал Ицхака за рассеянность и строптивость, за неверный наклон туловища, когда тот сидит за машинкой, даже за молчание.

— Пой! Господь Бог при сотворении мира тоже пел. Когда игла слышит, как ты поешь, она снует резвей.

Иногда облако накрывало многомудрого Бецалеля Минеса, Латинский квартал и улицу Декарта, и в залитую небесным светом просеку входил сам Господь, пышнобородый, в строгом одеянии до пят, которое Ему, казалось, шил тот же неунывающий, лужающий премудрости, как семечки, Бецалель Минес. Его близость, Его присутствие как будто укрепляли дух Ицхака — казалось, с ним ничего не случится, он останется жив, еще вернется на родину и, может, встретится с Эстер.

Ему хотелось лететь и лететь, не важно куда, только бы не опускаться на землю, только бы висеть между ней и небом, как это невесомое облако, на котором нет ни одного жителя, кроме Всевышнего.

«Кукурузник» совершил два круга и, по-старчески кряхтя, стал снижаться. Полковник продрал глаза. Он умеет спать даже рядом с Богом, поймал себя на невеселой мысли Малкин.

— Что, прилетели? — не столько с удовольствием, сколько с досадой спросил особист.

Ему явно не хватало сна.

Ицхак пожал плечами. У самого трапа их ждал такой же джип, как и в Гданьске. Только за рулем сидел не скуластый водитель с глазами степного беркута, а молоденький солдатик, почти мальчик, с челкой жестких, как скошенный лен, волос. Откуда-то глухо доносилась артиллерийская канонада.

От полевого аэродрома, на котором они произвели посадку, до фронтовой полосы было рукой подать. Джип то и дело застревал на перекрестках, пропускаемая грузовики с живой силой и тягачи, подтягивавшие к фронту тяжелые дальнобойные орудия.

Нервничавший полковник ходил к регулировщикам, упрасивал, чтобы пропустили без очереди, но те были непреклонны. Наконец машина обогнала стадо тяжеловозов и, вырвавшись на простор, влетела в укульный немецкий городок. Через мгновение она остановилась у готического здания, напомиавшего праздничный баумкухен. По числу охранников Ицхак быстро понял, что в здании расположен штаб фронта.

Полковник предъявил охране свое удостоверение, их тут же без всяких помех пропустили в большую залу, увешанную огромными картами. На стене висела старинная, писанная маслом картина, на которой были изображены шагающие по дремучему лесу охотники с ягдташами, набитыми дичью, и гончие. Под потолком мерцали, как застывшие медузы, две огромные люстры. За массивным дубовым столом сидел знаменитый маршал, бывший, как говорили, заключенный, помилованный в начале войны Сталиным и посланный в другое пекло — на фронт. Не было в армии солдата, который бы не знал его имени. Полковник отдал ему рапорт, маршал встал и, статный, красивый, больше похожий на актера, подошел к Малкину.

— Ну, здравствуй! — сказал он не то по-простецки, не то покровительственно-высокомерно.

— Здравия желаю, товарищ маршал! — вскрикнул Ицхак.

— Я слышал: ты портной. Хороший портной?

— Не могу знать, товарищ маршал!

— В Париже учился?

Ему он не мог соврать, но и прямо ответить не хотел — только незаметно кивнул.

— Мундиры шить умеешь?

— Настоящий портной должен уметь шить все — от савана до королевского камзола. Так говорил мой учитель.

— Ну, саван пока что не требуется.

Малкин почувствовал, что допустил непростительную оплошность. В двух шагах от смерти ляпнуть про саван! Но маршал широко улыбался и с интересом оглядывал портного.

— Времени у нас с тобой в обрез. Я к маю должен выиграть войну, а ты — сшить мне парадный мундир.

— Товарищ маршал, очень у вас прошу прощения, но я скоро не умею. Это не латать и штопать.

— Хвалю за прямоту, рядовой... рядовой...

— Малкин, — услужливо подсказал полковник.

Похвала Рокоссовского подбодрила Ицхака. Его откровенность, оказывається, не только не прогневила командующего, но еще больше расположила к солдату.

— Стало быть, по рукам? — спросил Рокоссовский.

— А материал у вас есть? — поинтересовался Ицхак.

Командующий немного опешил от его вопроса, а потом расхохотался и принял похлопывать Малкина по плечу.

— Есть, есть! — не переставая хохотать, повторял он.

Загрохотал и полковник. Но его смех был неискренний, натужный, расчетливо-уставный. Особист за спиной маршала делал Ицхаку какие-то знаки: мол, и ты, болван, рассмейся. Но Малкин стоял как глухонемой.

Насмевшись, Рокоссовский набрал короткий номер телефона, и в залу вошел его адъютант с отрезом английской шерсти.

— Ну а сейчас я передаю командование вам, — сказал маршал и протянул отрез портному. — Можете снять мерку.

Мерка была снята; полковник взял под козырек; Рокоссовский занял свое привычное место за столом, уставленным телефонами; немцы-охотники поверх Ицхаковой и полковничьей головы зашагали с добычей дальше; за ними по валежнику побежали усталые гончие; адъютант, как новорожденного младенца из родильного дома, вынес на запруженную солдатами улицу отрез из английской шерсти, передал его полковнику, пробравшемуся в кузов первым; джип тронулся с места и как бы прямым въехал в самолетик, дожидавшийся на полевым аэродроме; капитан корабля Бородулин взялся за штурвал; и снова за бортом в облаках возникли сперва Бецалель Минес — дядя Эстер с его никогда не тускнеющей мудростью, с его вечной одышкой и кубинской сигарой во рту, придававшей ему, как он считал, сходство с обожаемым Черчиллем, а за ним сам Господь Бог с по-праздничному расчесанной бородой, сверкавшей в лучах солнца, как драгоценный алмаз. Он махал ему, Ицхаку, своей могущественной рукой, и с каждым ее взмахом «кукурузник» заполнялся теми, кого он оставил там, в Литве. Рядом молча села Эстер, откинула волосы, и их прядь коснулась его, Малкина, лица; за спиной задремавшего полковника опустились братья Гилель и Айзик, два лохматых богатыря, готовых в любую минуту

прийти на помощь. И вдруг Господня длань исчезла; ветер подхватил волосы Эстер и вплел в облако; сквозь открывшуюся дверцу, как два отставших от стаи журавля, вылетели братья Айзик и Гилель; на Ицхака исподлобья глянули беркутинские глаза Чингиза; джип покружил-покружил по городу и наконец застыл на территории интендантской части.

Фронт приближался к Берлину, вместе с войсками передвигалась Ставка командующего, и Малкину пришлось летать к нему на примерки в новые прифронтовые города. Неизменными оставались только так и не назвавшийся полковник, беркут Чингиз да экипаж «кукурузника» — пилот Бородулин и штурман-стрелок Гордеев. Единственной переменной, повергшей Малкина в уныние, было появление трех истребителей, которые поднимались в небо вслед за самолетиком Бородулина и точно следовали по его курсу.

Господи, Господи, вдруг осенило Ицхака, да они стерегут не пилота Бородулина — отца двоих малолетних детей, не штурмана-стрелка Гордеева, еще и жениться не успевшего, и даже не безымянного, как степной могильный холмик, полковника, и не его, Малкина, круглого сироту и изгоя, а мундир. Мундир! Что их жизни по сравнению с ним? Странно, почему мундир не снабдили парашютом? Ицхак на минуту представил, как над покоренной Германией летит на парашюте мундир маршала в сопровождении эскорта боевых истребителей, как солдаты-победители салютуют в его честь из всех видов оружия, как поверженные немцы задирают головы и тут же слепнут от его великолепия. Он представил себе, как мундир спускается, как к нему подбегает сухопарый адъютант маршала и облачает в обнову своего благодетеля и властелина.

Вечер догрыз, как яблоко, осенний полдень. Бернардинский сад опустел, в окнах, выходящих на Кафедральную площадь, зажглись огни. Ицхак поднялся и медленно, еще с маршальским мундиром в руках, двинулся к троллейбусу. У выхода из парка, у раскинутого шатра, он остановился и на обклеенной боевыми листками стене прочел:

— Red Army, go home!

В шатре держали голодовку литовцы. Говорили, будто среди них был один восьмидесятилетний старик, вернувшийся из ссылки. Малкину хотелось посмотреть на него, но он не решался встать в длинную очередь сочувствующих и зевак.

Всякий раз, когда Ицхак проходил мимо этого тихого, но упорного мятежа, его посещала одна и та же мысль: как хорошо умереть от голода, когда тебя кормят давным-давно протухшей ложью, когда все вокруг довольствуются хлебом насущным сытного равнодушия, когда выстраиваются в очередь не за колбасой, а за пускай и тщетным, но вдохновляющим мужеством.

Через час Малкин вернется домой, сядет у телевизора, включит Москву и, пока не уснет в кресле, будет ждать: а вдруг запоет Утесов, а вдруг ни с того ни с сего к какой-нибудь будущей, почти забытой годовщине прокрутят пленку про Парад Победы на Красной площади и перед тем, как он, Ицхак, умрет, весь мир увидит его работу?.. Телевизор старый, Ицхак приглашает мастера, платит ему за починку. Тот правит забарахливший «Фантом», тычет в ящик и приговаривает:

— Телевизор у тебя, старик, еще неплохо дышит, к нему бы только время другое, но время, дорогой, я не ремонтирую.

Ицхак открыл дверь, снял с себя давно сшитое демисезонное пальто с накладными карманами, вынул из него медальон и стал на свету разглядывать своего чернокожего сына. Йосель-Яцек спархивал в овале медальона, бил крыльями, недовольно ворковал. Малкин подсыпал ему хлебных крошек, слушал его воркование, и никакие напасти не были страшны ни ему, ни Йоселю.

(Окончание следует.)



Ольга БЕШЕНКОВСКАЯ

Беззапретная даль

* * *

Переживанья горькие свои
пережевав, запить глотком свободы...
Сияют храмы... И кряхтят заводы...
И муравьизм возводят муравьи...
Кто петь рожден, поет не свысока,
но с высоты... Так набожно. Так надо.
Акустика клубящегося сада
не имет и не стерпит потолка...
Как радостно глаголить на родном
наречии... Вселенское изгойство.
А тут — как пробку вышибли из горла,
и это — рай. Запомни, астроном!
Все карты биты. Мир угрюм и пуст.
А дальше — космос: черная чужбина...
«...Но если по дороге куст
встает, особенно рябина...»
Цитата. Кровь из первых уст.
И прошептать: «Ave Марина...»

* * *

И как будто опять сотворенье начал:
Виноградная дрожь и сгущение красок...
Но всего только шаг до срывания масок,
И уже не Венеция — голый причал...

Никогда не стремилась, «чтоб как у людей...»
Может, Ангел Судьбы за терпенье потрафил...
И клюет с бело-розовых рук площадей
Ястребиное зренье российских метафор.

Я пила и хмелела полночный Нью-Йорк
Из высотных бокалов (навыдумал зодчий...),
И теперь если сердце отчаянно «ек» —
Значит, в доме случайном почудился отчий...

Я читала размытых огней письма
В перевернутых книгах и Сены, и Темзы...
Отпусти мою руку. Шершава она.
Это в детстве... Чернила... Напильником пемзы...

* * *

чужая речь как птичий щебет
твоих ушей коснется лишь
не заползет в глухие щели
где сокровенное таишь
маршрутный лист над головами
меланхолично читай
и ежедневный путь в трамвае
един — Париж или Китай...
езде покачивает сумрак
и содрогает поворот
носильщиц грез и полных сумок
что называются — народ...
кивают вяло подбородки
потоку встречной чепухи...

Где итальянские красотки?
Где елисейские духи?
Ты все придумал, Боттичелли!
Ты обманул меня, Вийон!
Мир — деревянные качели:
сабвей — убан — метро — вагон...
И я сама — не гость высокий —
сiju тихохонько в углу
дрожащей жилкою височной
припав к прохладному стеклу
и пребываю за границей
хотя считается — живу...
А пятки — чуть смежишь ресницы —
Летят, как яблоки, в траву...

* * *

Зачем ты, зеркало, мне мамино лицо
Являешь холодно, с подробным подбородком?..
Ужели так и замыкается кольцо:
Еще вздохнешь — и ты уже за поворотом...
Вот этой складки не заметила вчера,
Зато сегодня — так отчетливо и резко...
Дрожат, пульсируют, как жилки, вечера,
И так пронзительно сияет занавеска,
Что слезы копятся... Висит на волоске
Одна...

Окликнули — и кажется: воскресла —
с последней нежностью, не видимой никем,
погладить ручку покачнувшегo кресла...

* * *

Человек-невропат
появился на свет невпопад.
Все смеялись и пели,
а он только хныкал и плакал...
И будильник над ним
так настойчиво тикал и такал,
что устал и уснул...
Человек же — проснулся и рад!
Все уже позади:
ненавистная школа и двойки;
можно плыть далеко
и мороженым горло студить...
Беззапретная даль —
опустели родителей койки...
Зарыдал невпопад,
что не смог
до Земли проводить...
Человек-невропат
завернулся в купальный халат,

и в метро погрузился,
и, видимо, ехал куда-то,
и в газету смотрел,
и отметил эпохи распад,
и вернулся — вдвоем,
не заметив такого расклада...
Чем хорош постулат?
Что живет человек невпопад,
посещает работу,
порой получает зарплату,
или — наоборот...
И дела его дышат на ладан...
И взялись уже над его головой —
за лопату...
...Но сперва от звезды
отделился сияющий атом:
Человек Человекович —
плакать и петь невпопад...

* * *

Как проста в России нищета:
 Нету хлеба — понимай буквально...
 Блюдо ослепительно овально,
 Как ночного тела нагота.
 Вот и эта пройдена черта.
 Время — вспоминать сентиментально...

Уходя — не медли, уходи —
 Или мозг взорвется в одночасье...
 Господи, какое это счастье,
 Если только юность позади...
 А теперь — и Родина... В груди,
 Как в стране,— разруха междувластья.

И куда мы каждый со своим
 Скарбом скорби?.. Темен сгусток света.
 Постойм. Рука в руке согрета.
 Зябко, но не холодно двоим.
 И услышим в шорохе руин
 Лепет листьев будущего лета...

* * *

Метастазы грозы раздаются в осеннем саду.
 Я теперь поняла: боль не тлеет, а громко сверкает.
 И рыданья небес, подхватившие с пеной — звезду,
 С плеч покатых стекают...

стекают...

стекают...

Стихает.

Оглянись и увидь, никого и ни в чем не вина:
 Нежно-розовый край...

Черный крестик — наверно, Иуда...

Мы стоим, как волхвы, над рождением нового дня,
 И каким бы он ни был, для нас он — великое чудо...



З а т о н у в ш и й К о в ч е г

РОМАН

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ОГНЕННОЕ КРЕЩЕНИЕ

Глава I. Оглашение

Однажды между Божественным Искупителем Борисом Филипповичем Люпо и самоуверенным молодым священником одного из недавно открывшихся приходов на Петроградской стороне состоялось нечто вроде диспута. На диспут пригласили сторонних наблюдателей и журналистов. Рыжий попик бойко наскакивал на Учителя, истерично выкрикивал о лжепророках и антихристе и угрожал погибелью души всем, кто за Искупителем следует. Автор Последнего Завета смотрелся намного предпочтительнее кликушествовавшего отца. Он держался с большим достоинством, проявил исключительную веротерпимость и мягкость и играючи отбил все наскоки, уличив оппонента в незнании Писания. Совершенно раздосадованный батюшка стал апеллировать к городовому, требовать закрытия секты и кричать, что наступившие времена во сто крат хуже коммунистических, чем полностью уронил себя в глазах наблюдавших за спором зрителей.

Слава Церкви росла, проповеди Искупителя записывались от руки, на магнитофоны и видеокамеры и распространялись по всей стране. Община выпускала газету и журнал, печатала книги, занималась благотворительностью, устраивала бесплатные обеды для пенсионеров, посылала подарки в детские дома, и все это делалось нешумно и благородно.

Их было уже несколько тысяч. Залы кинотеатров и домов культуры, которые они арендовали для проповедей, не вмещали всех желающих, и люди стояли на улицах. Приходили напуганные, одинокие, не нашедшие места в жизни, бездетные супружеские пары и многодетные матери-одиночки, вчерашние партийные работники и правозащитники, всегдашние правдоискатели и жулики, разочаровавшиеся в деньгах бизнесмены и потерявшие себя и свой талант артисты. Казалось, в ту пору, когда вокруг все сгущается и жизнь становится страшнее и непредсказуемее, Церковь Последнего Завета сделалась единственным прибежищем для всех измученных и усталых людей. Здесь никто не отгаликивал неопытных и робких, как в казенных православных храмах, здесь любили и рады были каждому — сам воздух и лица были другими.

Однако по мере того как Колдаев стал понемногу разбираться в сложной иерархии Церкви, она все меньше напоминала ему любителей провести в суровую эпоху время в теплом кругу. Точнее, то, что видел раньше он, и то, что видели эти тысячи неофитов, было лишь верхушкой уходящего под воду айсберга.

Все последователи учения делились на два разряда: званых и избранных. Среди званых были послушники и оглашенные. Среди избранных — верные и апостолы. Покуда скульптор находился на самой низшей ступени, его допускали лишь на незначительную часть молитв, после чего он покидал богослужения вместе с другими послушниками, и ему оставалось только мечтать о том часе, когда его возвысят до ранга избранных.

Избранные отличались от званых, как умудренные жизнью взрослые отличаются от беспечно играющих детей. Они хранили в себе знание некоей тайны, которую скульптору надлежало узнать, но крохи этой тайны становились ведомы ему уже теперь. Так он узнал, что Учитель беседует с космосом и черпает оттуда силу, ему открыты будущее и судьба цивилизации.

«Это гораздо ближе, чем вы думаете», — говорил он ученикам.

Он говорил также о том, что скоро будет знамение и грядет его час объявить о своем пришествии миру. К ним придут миллионы, и он поставит верных управлять человеческим стадом. Тогда состоится массовое крещение человек, но блажен тот, кто успеет до этого часа принять крещение.

Божественный Искупитель выбирал счастливых по одному ему ведомым причинам, и никогда нельзя было понять, почему один человек стремительно возвышался, а другой так и оставался никем. Продвижение Колдаева произошло, однако, довольно быстро.

Полгода спустя после привода состоялось его оглашение.

Скульптору велели разуться и босиком пройти в комнату, где находились только апостолы. Они были одеты в большие светлые балахоны, на Учителе одежда была темной. Одиннадцать пар глаз в упор глядели на Колдаева.

— Ты выдержал испытательный срок, — произнес Искупитель негромко, — и готов к тому, чтобы постичь тайну моего завета. Не всякий сможет ее вместить, но лишь тот, кто в нее уверует, спасен будет. Знаешь ли ты, кто я емь?

— Искупитель.

— Я емь Господь Иисус Христос, тайно пришедший на Землю, чтобы отдавать пшеницу от плевел. Верующий в меня да не умрет, но унаследует жизнь вечную. Я пришел, чтобы взять с собою сто сорок четыре тысячи верных и предать остальных адской муке. Хочешь ли ты спастись?

— Да.

— Веруешь ли в то, что я емь Христос, Сын Бога Живаго?

— Да.

— Согласен ли ты с тем, что пути назад у тебя не будет и, раз вступив в эту обитель, ты не сможешь ее покинуть?

— Да.

В спину скульптора кто-то подтолкнул или же он сам упал на колени и коснулся губами руки Искупителя — этого он не осознавал. Его накрыли краем одежды. Братия серьезно и молча смотрела на него, но оглашенный не видел вокруг ничего.

С этого момента положение Колдаева в общине переменилось. Его еще не допускали на сокровенные агапы верных, но теперь он присутствовал при молитвах, трапезах и разговорах самых близких к Искупителю людей. Здесь все было иное, чем на первых ступенях восхождения, — более страшное, таинственное и обжигающее, словно он действительно поднимался на поднебесную гору, где в разреженном воздухе нечем было дышать.

Все дни напролет Колдаев выполнял духовные упражнения и читал завет Искупителя. Он почти ничего не ел и мало пил, но при этом не испытывал голода. В его душе и теле все было подчинено одной цели — подняться еще на одну ступеньку, стать совершеннее и вместить в себя полноту учения. С ним много времени проводил личный духовник, кроткий и добрый человек, бывший в Церкви с самого дня ее основания. От него Колдаев узнал, что община возникла еще до Явления Учителя или же, вернее, что Явление Его было предсказано братией много лет назад. Иногда духовник хотел сказать что-то большее, но всякий раз обрывал себя и говорил лишь, что всю полноту истины Колдаев узнает, приняв крещение. Для поддержания сил его поили настоями тибетских

трав, и он чувствовал себя ко всему восприимчивее, чем обычно. Вечерами он исповедовался перед духовником и получал наставления, после чего сразу засыпал. Но и во сне ему слышался мерный голос, призывавший отсечь все лишнее и сосредоточиться на главном.

Оглашенных было несколько человек. Как и Колдаев, под руководством апостолов и Божественного Искупителя они готовились к принятию таинства. Эта подготовка занимала несколько месяцев, во время которых оглашенные не общались ни с кем, кроме духовников. Однако был среди них один человек, непохожий на других кандидатов. Он делал как будто то же, что и остальные, но в его глазах скульптор иногда подмечал усмешку. Однажды после долгой медитации он заговорил с Колдаевым и сказал, что не верит ни в божественность Искупителя, ни в откровение завета, а проник в секту только с научными целями как психолог. Он называл Учителя грамотным гипнотизером, говорил, что тот пользуется психотропными средствами и методикой кодирования, и прибавлял, что за этими методами большое будущее.

— Зачем ты мне об этом говоришь? — спросил Колдаев.

— Я хочу уберечь тебя от ошибки. Не принимай так близко к сердцу все, что здесь происходит. Изменения в психике верующих необратимы.

— Ты не боишься, что я скажу об этом Учителю?

— Он все знает.

— Но почему в таком случае не изгонит тебя?

— Ему нужны сохранившие трезвость рассудка. Как иначе он сможет удержать в повиновении стольких людей, забрать их имущество, лишить свободы и превратить в рабов?

— Ты говоришь, как наши враги.

— О нет! Они его недооценивают. Божественный Искупитель не безумец, не глупец и не шарлатан, каким его пытаются изобразить. И уж тем более не дешевый кидала. Во всех его действиях присутствует куда более тонкий и далекий расчет.

— Какой расчет? — возмутился Колдаев.

— Человечество в скором времени неизбежно придет к тому, что многомиллионными массами будут управлять единицы. Будущее вовсе не за Америкой, Японией или Европой, как это принято думать, оно за Ираком или Северной Кореей. Экологическая катастрофа заставит людей себя обуздать и отказаться от привычного образа жизни. Мы живем сегодня не по средствам, вершина материального благосостояния человечеством пройдена, но кто с этим смирится? Попробуйте убедить разжиревшего обывателя добровольно отказаться от машин, самолетов, холодильников, компьютеров, телевизоров, доказать ему, что иначе цивилизация разорится и погибнет. Люди не поверят. Они привыкли к прогрессу и взбунтуются. Но другого выхода, чем самоограничение, завтра у нас не будет. И, чтобы быдло не зароптало, чтобы не было всеобщего бунта, потребуются новая идеология и новые вожди, подобные нашему Искупителю. Поверь мне, за этим человеком стоят громадные силы, с которыми и бороться-то бесполезно, но только тебя мне почему-то жалко.

— Почему?

— Мало того, что ограбил он тебя, загубишь ты ведь здесь свой талант и себя загубишь.

— Я в твоих советах не нуждаюсь! Лучше о себе позаботься,— произнес скульптор оскорбленно.

— За меня не беспокойся,— усмехнулся психолог.— На меня его штучки не действуют. Я вот только хочу еще посмотреть, что у них там во время крещения происходит. А потом все, хватит. А ты чем раньше отсюда уйдешь, тем лучше.

Разговор этот не то чтобы посеял в душе скульптора сомнения, но немного омрачил то высокое состояние души, в котором бывший хозяин особняка пребывал последние месяцы. Колдаев гнал крамольные мысли прочь, но поделаться с ними ничего не мог, слова психолога вьелись в его мозги, точно и тот тоже умел кодировать. На исповеди он рассказал обо всем духовнику.

— В Церковь приходят разные люди,— ответил наставник негромко.— Но конечных ее целей они не знают. Подождем, что этот человек скажет время спустя.

Вскоре психолог исчез. Спрашивать о том, где находится тот или иной из братьев, было не принято, Колдаев решил, что он был изгнан или сам ушел из общины, и почувствовал облегчение. Однако некоторое время спустя в одном из новообъявленных верных он узнал лазутчика.

«Неужели он и туда прокрался?» — подумал скульптор тоскливо.

Но то, как изменился этот человек, Колдаева поразило и повергло в состояние мистического ужаса. Не было в Церкви ни одного человека, более преданного Учителю. Из тайного противника учения он стал его страстным поборником. Он покаялся перед братией в том, что был заслан в Церковь враждебными ей силами, отрекся от всего, что говорил раньше, и если бы скульптор не помнил насмешки в глазах психолога, то никогда не поверил бы, что этот человек вообще мог в чем-либо сомневаться.

— Что с тобой случилось? — спросил он неуверенно психолога, когда они остались одни.

— Все, что говорит Учитель,— правда,— ответил тот, прямо глядя Колдаеву в глаза.— Он на самом деле Христос, сын Бога Живаго.

Глава II. Кровавая сауна

Своего крещения скульптор ждал с той же нетерпеливостью, страхом и счастьем, с каким беременная женщина ждет рождения ребенка. Предстоящее таинство было для него тем, что он называл вдохновением гения: одиночество, ледок самопожертвования и самоотречения, который окутывает каждого подлинного художника. Он был убежден, что сможет вылепить задуманную скульптуру, но, когда заветный день был назначен, Колдаев ощутил неожиданное беспокойство. Это было похоже на то чувство, которое испытывает человек в последние часы перед долгой дорогой.

Накануне его потянуло на волю. Покидать общину без благословения никому не разрешалось, но по праву бывшего домовладельца Колдаев пользовался некоторыми льготами.

Он вышел на улицу уже в изрядно позабытый им город. Стояла осень, один из последних ее погожих деньков, какие бывают перед холодами. Он пошел наугад долгой дорогой по каналам, широким проспектам и глухим переулкам. Как же здесь все переменялось!

Год назад, когда он уходил в заточение, еще всюду бушевал спиртовой кризис, барыги на Кировском предлагали талоны на водку, теперь она продавалась на каждом шагу. Народ с любопытством рассматривал диковинные заморские товары, но покупать не решался, и немногие, приобретшие банку пива или шоколадку, чувствовали себя богачами и вызывали завистливые взгляды. Город сделался чужим. Другими были в нем люди, их лица, глаза, даже походка.

Но Колдаева поразили не Ленинград и его перемены — гораздо сильнее переменялся он сам. Он находился в состоянии необыкновенной раздвоенности, и странно было ему поверить, что это он идет по городу и может выбирать дорогу. Все сомнения давно улеглись в его душе, он знал, что завтра для него начнется иная жизнь, он будет спасен и никогда более никакой соблазн не проникнет в его сердце, но сейчас в эти последние часы грешной жизни Колдаев оттягивал и оттягивал момент возвращения. Все было как будто верно и решено, но он уходил все дальше в сторону центра, туда, где больше было толпы, суетоки и разноязыкой речи. Вдруг кто-то его окликнул.

Скульптор повернулся.

— Не узнаешь?

Рыжеволосая девица с чувственными губами вызывающе и дерзко смотрела на него.

— Что ж в гости-то больше не зовешь?

Колдаев вспомнил, как год назад эта девица сидела, развалившись в его кресле, так что были видны ее черные шелковые трусики, и пила водку. За год она стала еще распутнее.

— Ты грязна,— произнес он с отвращением.

— Скажите пожалуйста, чистый какой! А помнишь, ты просил меня найти ту девку с вокзала?

Что-то забытое шевельнулось в его душе.

— Ты знаешь, где она?

— Знаю. Но скажу только у себя дома. Да не бойся ты меня. Малохолдный какой-то.

Судя по всему, девица не слишком бедствовала. Она снимала трехкомнатную квартиру на Большой Пушкарской, но выглядела квартира довольно странно. Вдоль стен стояли штативы, висели осветительные лампы, а в каждой комнате было по кровати.

— Что у тебя здесь? Притон?

— Студия,— сказала она коротко.

На кровати валялось несколько фотографий. Они поразили его невероятной грубостью и бесстыдством. Совокупляющиеся пары, свальный грех, ласкающие друг друга женщины, целующиеся мужчины. По сравнению с этой продукцией то, что делал некогда гроссмейстер Ордена эротоманов, выглядело невинной забавой.

Девица меж тем прикатила сервировочный столик с водкой и закусками и села напротив скульптора. Ее красивые, чуть раскосые глаза смотрели насмешливо и вызывающе, и некогда уверенный в себе, покоривший столько женщин ваятель почувствовал себя растерянным и смущенным. Он боялся этой женщины подростковым страхом. Она угадывала его состояние, и робость скульптора забавляла и возбуждала ее.

— Выпьем? — предложила девица, наливая ему вместительную рюмку, больше подошедшую бы для вина, чем для водки.

— Мне нельзя,— произнес он неуверенно.— Где та девушка?

— Выпьешь — скажу.

То, что пить после столько месяцев воздержания ему не следовало, он понял сразу же. Оглашенного накрыло горячей волной, и все поплыло у него перед глазами.

— Где она? — повторил он, тяжело ворочая языком.

— За богатого старичка замуж вышла.

— Врешь!

Девица порылась в ящике и протянула ему фотографию: его стыдливая натурщица стояла рядом с высоким бровастым стариком, чем-то похожим на сановника екатерининских времен.

— Откуда это у тебя?

— Хозяин в загсе подрабатывал, пока здесь дело не открыл.

— Значит, с ней теперь все? — пробормотал скульптор тупо.

— А я тебе ее не заменю? — усмехнулась рыжеволосая и подтолкнула своего безвольного гостя к кровати, служившей сценой для съемок.

Домой Колдаев вернулся поздней ночью. За несколько часов погода переменилась. Нанесло тучи, холодный и сильный северный ветер продувал прямые переулки, как аэродинамическую трубу. Скульптора мучило, била дрожь и мучило то же странное состояние душевного отравления, что испытал он, вернувшись от Бориса Филипповича в самый первый раз. Ему было страшно вспомнить о том, как он перечеркнул одним махом все, к чему шел целый год, и еще страшнее подумать, как он расскажет или, напротив, утаит случившееся от наставника и что ждет его теперь дальше: изгнание, проклятие, вечный позор или гибель?

По дороге он купил на Кировском бутылку водки и у себя в келье открыл ее и жадно стал пить. Его уже не сшибало теперь, напротив, он как будто не пьянел, а трезвел. Из глубины затравленного сознания к нему стал возвращаться рассудок. Последние несколько месяцев жизни показались мутным сном, и чем больше он пил, тем нелепее и бессвязнее этот сон становился.

Вдруг ему почудилось, что из сауны, которую Божественный Искупитель приспособил под крещальню, доносятся необычные звуки. Любопытство и хмель подхлестнули художника. Он спустился в подвал и приоткрыл окошко, через которое раньше фотографировал знаменитых женщин.

В сауне находились одни лишь апостолы. В руках они держали свечи, и освещенные пламенем лица были видны необыкновенно отчетливо. Эти лица Колдаева испугали: обычно ко всему равнодушные и отрешенные, они выглядели восторженно и как будто сияли, но в их восторге и молитвенном экстазе ему почудилось что-то неприятное.

Водка ли так странно на него подействовала, но он увидел в эту минуту все в ином свете, почти так же, как в самый первый вечер, когда пришел на Васильевский остров, только теперь происходившее показалось ему не дурной самодеятельностью, но веками отработанным профессионализмом. Тот дурман, в котором скульптор находился последние месяцы, рассеялся, и Колдаев испытал невыносимое омерзение. Кругом он чувствовал один только смрад, еще больший, чем в порнографической студии. Смрадными были лица людей в белых балахонах, смрадом была пропитана вся мастерская, его тело, руки, душа — только маленький участок сознания оказался нетронутым и чудом уцелел.

Взвели каталку. На ней лежал в беспмятстве обнаженный человек. Апостолы принялись его мыть и долго дочиста терли бесчувственное тело. Во всем, что они делали, в их лицах и движениях, в слаженности и отрепетированности их действий было что-то зловещее. Они словно собирались совершить черную мессу, ритуальное убийство или жертвоприношение.

Когда человек был вымыт, Божественный Искупитель взял нож и поднес его к печке. Братия иступленно пела, лица сделались хмельными — нож передавали из рук в руки, он обошел круг и вернулся к Учителю. Фигуры в балахонах наклонились над лежащим человеком и заслонили его от Колдаева. Что они делали, он не видел, но, когда через несколько мгновений они выпрямились, увидел на белых одеждах кровь. Она фонтаном била из паха несчастного. Искупитель прижал к ране раскаленный нож. Вслед за тем апостолы начали кружиться по сауне, выкрикивая бессмысленные слова, глаза у них выпучились — они прыгали, кричали, гомонили и пели высокими голосами.

Скульптор не выдержал и бросился бежать. В келье он жадно приник к горлышку и стал пить водку, точно в ней одной было заключено спасение. В дверь постучали. Колдаев не откликнулся, но заворочался на диване, как бы потревоженный во время глубокого сна.

— С ним нельзя дальше тянуть. Он неустойчив. — Он узнал голос психолога.

— Ломай дверь. Я окрещу его сейчас же.

Колдаев подошел к окну и дернул раму. Она поддалась, но так громко, что треск раздался по всему дому. На улице шел первый снег — мокрые и крупные хлопья ложились на крыши и мостовые, залепляли фонари и глаза редких прохожих. В соседних комнатах зажегся свет и зазвучали голоса. Скульптор перекинулся через подоконник и, цепляясь за водосточную трубу, стал спускаться. К нему подбежал Борис Филиппович и со всего маху ритуальным ножом ударил по пальцам. Колдаев заорал и полетел вниз.

— Не давайте ему уйти!

Было невыносимо больно, но он собрал все силы и, не оглядываясь, побежал по метельному городу. Фигуры в белых балахонах его преследовали, но сильный снег спас беглеца. Апостолы потеряли его в проходных дворах. Но Колдаев продолжал бежать. Жуткий звериный страх гнал его по городу, где всего несколько часов назад он ностальгически гулял и удивлялся случившимся переменам. Но теперь он не видел ничего. Он бежал и бежал, спрятав под куртку кровоточащие пальцы. Одному Богу ведомо, откуда было у него столь-

ко сил, чтобы миновать всю Петроградскую сторону, пересечь Неву и Невский проспект. Наконец, в глухом дворе в дальней части Грибоедовского канала он упал в сугроб и забылся.

Глава III. За други своя

Ранним утром, убирая свежевывающий снег, Илья Петрович наткнулся на пьяного. Добрый дворник отвел его в комнату и уложил спать на своей кровати. Пьянчужка беспокойно ворочался, вскрикивал и бредил, взмахивая большими руками.

«Ишь ты, прямо дирижер какой-то», — подумал директор и ушел мести двор. Когда он вернулся, гость сидел у окна и тоскливо смотрел в никуда.

— Выпить нету? — спросил он хрипло.

Дворник покачал головой.

— Не держу.

— Может, сходишь?

Илье Петровичу слишком хорошо было самому известно то роковое состояние, когда все вокруг не в милость. Он постучался к своей работадательнице и спросил у нее бутылку водки. Раздобревшая Катерина нахмурилась, но поллитровку достала. Дрожаящими руками директорский гость попытался сорвать крышку, пальцы его не слушались.

— Ты что же это, даже бутылку открыть не можешь? — усмехнулся Илья Петрович и осекся — пальцы у пьяницы распухли и побагровели.

Хозяин торопливо открыл бутылку сам, чтобы загладить неловкость, и старое полузабытое движение рук напомнило ему о долгих таежных ночах. У него заняло сердце, и подумалось, что те годы, даже самые угарные из них, были все же лучшими в его жизни. Мужичок меж тем быстро выпил, перевел дух и усмехнулся:

— Со всеми ты такой?

— Со всеми, — пробормотал лирически Илья Петрович, которому враз вспомнились Алешка Цыганов, звезды, огибаловские ракеты, шорох в эфире, австралийские радиолюбители, снег, белые ночи, добрые старухи из «Сорок второго», очереди, талоны, — и первый раз за все это время Илью Петровича потянуло в тайгу. Он хотел плеснуть и себе, но удержался.

Мужичок допил бутылку и ушел, но в последующие дни Илья Петрович не раз мысленно к нему возвращался: как он, где, под каким забором валяется пьяный и не замерз ли вовсе?

Зима настала суровая, морозная, каких давно уже в Питере не было. Отвыкшие от холода горожане с покрытыми изморозью волосами, усами, бородами, шарфами двигались по улицам, окутанные дымкой своего дыхания. Через Неву ходили пешком, сонное солнце, пробивая студеное марево, лениво скользило по краю небосвода, и Илье Петровичу вспоминались заснеженный лес, звериные следы и охотничьи тропы. Странно было представить, что с его отъездом все это не исчезло, по-прежнему курится дымок над избами и на широких лыжах ходят по лесу мужики с ружьями, ночуют у ногды, пьют чай и бездумно глядят на огонь. Стольких месяцев он был свободен от этих воспоминаний, но теперь они обступили его, как призраки, и первый раз директор задумался об отъезде. Его обморочная любовь к Петербургу схлынула столь же стремительно, как и пришла.

Через несколько дней давешний пьянчужка вернулся. Он пришел совершенно трезвый, однако с бутылкой водки и в сопровождении молодой, но потрепанной женщины.

— Пустишь к себе под грибок?

— А ведь говорил, что не принесешь.

— Я бы и не принес, — ухмыльнулся он. — Да вот встретил свою знакомую. Когда-то налил ей, а она не забыла. Что только две рюмки?

— Я не пью.

— Ты, может быть, сектант? — встревожился гость.

— Нет, просто такой же беспутный человек, как и ты.

— Меня, между прочим, весь Ленинград когда-то знал,— сказал пьяница надменно.

— А теперь чего ж? — спросила девица насмешливо.— Даже угла своего нет.

— Молчи!

— Да ведь и я тоже,— задумчиво произнес Илья Петрович,— не всю жизнь метлой махал. А живу вот тут по чужой милости.

И неожиданно для самого себя достал фотографию предпоследнего выпуска.

— А, так ты учитель,— протянул мужик так разочарованно, что Илью Петровича покорило: он привык в поселке к тому, что его уважают, и это пренебрежение было ему неприятно. Он пожалел, что достал фотографию, но вдруг в глазах его гостя, не выпускавшего карточку из рук, промелькнуло что-то странное.

— Как зовут эту девушку? — Он указал на одно из лиц.

Теперь побледнел Илья Петрович.

— Почему она тебя интересует?

— Это из-за нее я искалечил пальцы и стал никому не нужным.

Девица мельком взглянула на фотографию.

— Он ее на вокзале снял, переспал и с тех пор мается, забыть не может.

— Не лги! — затрясся пьяница.— Не мерь всех по себе и не смей говорить, чего не знаешь! Она святая.

— Подумаешь! — фыркнула девица.— Если каждую б... святой объявлять, места в раю не хватит.

— Убирайся! — завопил калека.

— Ничего себе, мое пьет и меня же гонит.

Пьяница опустил голову на руки, и в глазах у него появилась такая знакомая директору тоска.

Он ничего больше не говорил, только пил и курил. Подружка его заскучала и стала собираться, но мужик никуда не торопился. Илья Петрович сходил к Катерине за второй бутылкой — ему было с этим человеком хорошо, как когда-то было покойно и хорошо с Алешей Цыгановым.

Меж тем назвавший себя скульптором совершенно опьянел и заплетающимся языком начал рассказывать о ритуальных убийствах и заклинаниях в какой-то бане, о сумасшедших плясках и радениях, из чего Илья Петрович сделал вывод, что его новый знакомый просто тронулся умом. Никакую Машу на самом деле он не видел и не знает, а вообразил себе, что именно она погубила его жизнь. Потом пьяница принял клятву людей, которых показывают по телевизору и с которыми пил, а теперь никто не хочет его признавать и никому он не нужен, и когда Илья Петрович, подобно девице, заскучал, он наклонился к дворнику и тихо сказал:

— Поклянись, что никому не скажешь.

— Клянусь,— неуверенно произнес директор.

Пьяница заозирался.

— У тебя жучков нету?

— Тараканы только.

— Я,— зашептал он, жарко дыша директору в ухо и обдавая его теплой волной перегара,— прельстился лукавым замыслом и впустил в сердце свое и в дом свой лжеучителя. Он изуродовал мои пальцы, чтобы навсегда к себе привязать, но я ушел от него, и теперь Сатана преследует меня.

От религиозной риторики Илье Петровичу стало не по себе, но человек этот, вернее всего потерявший пальцы по пьяни и придумавший жалостливую историю для того, чтобы ему наливали, необыкновенно тронул его тем, что из всех учеников он избрал именно Машу.

— Хочешь, живи у меня,— сказал он.— Никакой Сатана тебя здесь вовек не найдет.

— А ты меня ему не выдашь? — спросил пьяница подозрительно.

— Зачем мне тебя выдавать? — смиренно ответил дворник.

Катерина была страшно недовольна, но Илья Петрович уперся, и дворничиха вынуждена была примириться с новым жильцом. Пальцы скульптора не приобрели той ловкости, которая была им некогда присуща, но открывать бутылку он приспособился, равно как и держать в руках лом и лопату. Теперь они убирали двор вдвоем — два бывших великолепных профессионала: клдбищенский скульптор и школьный директор. Техник-смотритель, тридцатипятилетняя стервозная баба, зная, что эти двое не имеют прописки, пугала их тем, что донесет в милицию, и взвалила, помимо уборки территории, кучу посторонней работы. Она заставляла невольников разбирать подвалы, подсобки, грузить старую сантехнику, кирпичи и мешки с цементом, убирать чужие участки, так что начинавшийся с рассветом рабочий день заканчивался только поздним вечером.

После Нового года декабрьские морозы сменила обычная для середины последних русских зим ростепель. То и дело выпадал снег, таял, замерзал, опять выпадал, и работы было много, как никогда. Илья Петрович по причине совестливости махнуть рукой на непогоду не мог и не приходил домой, пока не убирал участок.

Скульптор же в те дни, когда не напивался, ходил по редакциям газет и пытался привлечь внимание общественности к тому, что творится в его мастерской, рассказывал о психотропных средствах, гипнозе и кодировании, используемых Божественным Искупителем. Однако в городе боролись с фашистами, обсуждали строительство дамбы, смотрели «Пятое колесо» и «600 секунд», а то, что рассказывал Колдаев, никому интересно не было. Отчаявшись сыскать правду в Питере, он принялся писать письма в Москву, в прокуратуру, Горбачеву, в Патриархию, в патриотические и демократические газеты, в тонкие и толстые журналы, но ему нигде не отвечали. Заинтересовались только в одной бойкой московской редакции, но, когда выяснилось, что Борис Филиппович не еврей, быстро охладели.

Колдаев продолжал собирать материалы по тоталитарным сектам и твердить об их дьявольской изворотливости и опасности, куда большей, чем все опасности фашистской и коммунистической сил, вместе взятых. Он утомлял Илью Петровича разговорами и рассказами о таких вещах, в какие даже бывшему фантасту-графоману трудно было поверить, и тот относил их на счет неумной фантазии коллеги.

— Ну, хочешь, я сам туда схожу? — предложил он скульптору.

— Не смей! Они затянут тебя. Я не знаю, как это получается, но когда он начинает читать свои проповеди, то превращается из обычного человека в дьявольского пророка. Если сегодня его не остановить, то завтра за ним пойдут миллионы.

— Так уж прям миллионы?

Они убирались в насквозь пропыленном подвале — у скульптора начался страшный чих, и он яростно швырял на улицу ящики.

— Боже мой, как вы все слепы! Ты видишь мои пальцы? Так вот у них такие души! Ты знаешь, кто мы там были такие? Счастливые рабы. Мы часами делали глиняную посуду, расписывали, потом продавали ее туристам и все деньги отдавали. У нас не было ничего своего, все забирал он. Квартиры, машины, дачи — все отписывалось на имя Церкви. Иногда он уезжал — в Америку, в Европу, в Индию. Представлялся новым пророком, учителем, целителем, философом. А мы были счастливы его видеть. И если бы ты его увидел, ты бы стал таким же. Мне повезло — я не достиг высокой степени послушания. Те, кого он крестит, не возвращаются уже никогда.

Илье Петровичу все эти разговоры о насилии над личностью до боли и скуки напоминали его самого в пору борьбы с Бухарой и никакого сочувствия не вызывали. Однако к человеку этому он привязался.

Полюбивший ходить на митинги Колдаев часами пересказывал коллеге содержание речей, одними ораторами восхищался, других страстно ругал, глаза у него блестели, он твердил, что наконец-то его рабская страна встанет с коленей, распрямится, поднимется и прогонит всю оседлавшую ее нечисть. Она не

допустит, чтобы женщины стояли в унижительных очередях в туалеты, чтобы ею правили негодяи и бездари. Он говорил теперь, что это единственный выход спасти людей и отвлечь их от ухода в секты. Приступы буйной ненависти сменялись нежностью, тоска — веселостью, сомнение — уверенностью. Но в конце концов политику он забросил.

— Знаешь, Илюша, все это такая ерунда, — сказал скульптор однажды, вернувшись с очередного мероприятия.

— А что не ерунда?

— Жениться, детишек нарожать.

— Ну и в чем же дело?

— Мне уже поздно. А ты-то что?

— Мне бы с собою разобраться, — сказал Илья Петрович. — Куда еще детей с толку сбивать?

— Это все отговорки. В сущности, ты такой же калека, как и те несчастные. Здоровый мужик должен иметь детей.

— У меня, знаешь, сколько детей было! — вздохнул Илья Петрович. — И ни одного из них я не сумел в люди вывести. Знать, рано мне еще отцом становиться.

— Сколько же ты жить собираешься, Илюшенька?

— Боюсь, что долго, — отозвался директор невесело.

— А вот я, кажется, нет, — пробормотал Колдаев и открыл очередную бутылку.

Весною скульптор слег. Болезнь напала на него в одночасье, он похудел, пожелтел, жаловался на слабость и постоянную тошноту, и даже водка не радовала его и не утешала, как прежде.

— Душа просит, а тело гонит прочь.

С болезнью он сильно переменялся. Накупил дешевеньких картонных иконок, повесил лампадку, читал Библию, плакал и много молился.

Илья Петрович со свойственной ему деликатностью в жизнь скульптора не вмешивался, но однажды, перехватив его удивленный взгляд, больной грустно произнес:

— Когда у меня стояли настоящие иконы, я на них не молился.

Несколько раз он просил, чтобы Илья Петрович отвел его в церковь. Там он исповедовался молодому священнику. Попик торопился и что-то строго и спешно ему выговаривал, а скульптор целовал холеную руку и плакал.

Директор смотрел на все равнодушно: ему не нравились ни этот храм, ни эта религия, ни суетные священники. Все было фальшивым, недостойным и мелким, жалким суррогатом той истинной веры, что хранилась в таежном скиту.

Когда они шли назад, он сказал:

— Этот мир обречен. Никто его не спасет и ничего не изменит. Но скоро мы найдем еще одного человека и уйдем туда, где нет ни твоего Божественного учителя, ни Муна, ни кришнаитов, ни обмана, ни зла, где люди живут, как братья и сестры, будто ничего не произошло в обезумевшем мире. Там к твоим пальцам вернутся прежние упругость и ловкость, и из камня, дерева и глины ты станешь делать скульптуры Спаса и Богородицы. Мы украсим ими древнюю моленную, и люди истинной веры принесут им свои молитвы.

— А ты, Илюша, все сказками себя тешишь. Не сердись на меня. Ты же знаешь, как я тебя люблю и за одну только нашу дружбу так судьбе благодарен, что со всем остальным готов смириться.

— Я не сержусь нисколько. Пока ты этого не видел, поверить не можешь. Но когда увидишь...

— Я не увижу этого никогда. Я скоро умру. Тише, не перебивай меня. Я всю жизнь торопился и дорожил каждой минутой, потому что знал, что рано умру. После меня не останется ничего. От всех своих работ я отрекся. Господь не дал мне большого таланта, а те малые крохи, что у меня были, я бездарно промотал. Что делать, я слишком поздно понял. Когда я умру, ты найдешь у меня под изголовьем конверт. Это единственное, что я взял из дома. Унич-

тожь его. Не заглядывай туда, уничтожь — и все. Давать клятвы — грех, но прошу тебя — поклянись, что так сделаешь.

— Хорошо, клянусь, — сказал Илья Петрович рассеянно.

В то, что Колдаеву осталось жить совсем немного, он не верил и приписывал это его обычной мнительности.

Сам же Илья Петрович был занят в ту пору совсем иными вещами. Вечерами он ходил в университет и на правах вольнослушателя присутствовал на лекциях, встречая среди профессоров тех людей, что когда-то приезжали в Бухару и тщетно пытались выдать из затворников хоть одну книгу или икону. Профессора жаловались на то, что нива науки оскудела, на экспедиции больше не дают денег, все самое ценное вывозится или само уезжает на Запад. И их жалобы все больше укрепляли директора в правильности выбранного им пути. Но больше всего его заинтересовали лекции, которые читал известный биолог академик Рогов, хотя касались они более широких вопросов устройства мира.

Глава IV. Апокалиптики и нигилисты

Как это часто водится на Руси, человек весьма деспотичный в отношениях с близкими, Виктор Владимирович по своим политическим убеждениям был последовательным либералом. «Я не разделяю ваших убеждений, но готов отдать свою жизнь за то, чтобы вы могли их свободно высказывать» — вот был девиз, которым он руководствовался. Хотя он никогда не принадлежал ни к диссидентам, ни к правозащитникам, идей их не разделял, считал сумасбродными и для России неприемлемыми, тем не менее преследование оппозиционеров его раздражало, и он подписывался под всеми письмами в их защиту. Вероятно, по этой причине его ученая карьера не имела такого блеска, какого он заслуживал, его, как могли, придерживали и все-таки зажать совсем не могли. Но теперь на старости лет приходилось пожинать горькие плоды доведенных до логического конца идей.

Оказалось, что политическая свобода еще не все или даже совсем не то, что требовалось, потому что, кроме порабощения общественного, позволявшего, однако, сохранить свое «Я», пускай даже ценой отказа от карьеры, существовало еще более тонкое и лукавое порабощение. Странно, но люди в массе своей не казались ему более свободными — он чувствовал в них вирус стадности. Они стали необыкновенно внушаемы, и любой подонок, сумей он на этой внушаемости сыграть, мог бы добиться того, что никаким большевикам и не снилось. Еще в ту пору, когда два следователя были национальными героями, а вся страна затаив дыхание смотрела, как ей морочат голову, почудилось ему, что опасность не в коммунистах недобитых кроется, независимо от того, брали они взятки или нет, а в чем-то другом, менее очевидном, но куда более значительном. Или, вернее, что коммунисты — это лишь частный случай соблазна, принимающего самые различные формы, и Бог весть, к каким последствиям эта незащищенность от новоявленных пророков могла привести.

Подлинная же беда российская — ее сектантство. Сколь ни поднималось государство, сколь ни крепло на зависть соседям, сектанты все разрушали. Секты декабристов и народников, хлыстов и духоборов, большевиков и диссидентов, секты «новых русских» и Божественного Искупителя — как по заколдованному кругу мчимся, и снова спотыкаемся, и вниз скатываемся. Есть что-то завораживающее в этих учениях, и вовлекаются в них самые чистые души, а над ними стоят проходимцы и чужой чистотой пользуются. Сектантство и хаос, которые суть две стороны одной медали, пугачевщина и аскетизм, громадное пространство российское и тупорылая власть — вот и лихорадит русского человека, которому слишком неуютно живется меж двух полюсов. Всегда берется за абсолют одна крайность, доводится до абсурда, и тогда проливается кровь. Потому призвание интеллигенции Рогов видел в том, чтобы народ от этих крайностей уберечь.

Заглядывая вперед, в то будущее, в котором Рогов жить не рассчитывал, но о котором хотя бы из-за Маши пекся, он думал, что когда страна упадет совсем низко, когда раство этого пещерного хаоса перенасытится, то по одной жизни ведомым законом начнется обратное — кристаллизация. Разобщенные люди потянутся друг к другу, захотят закона и власти, и вот тогда-то все и решится. Тогда и потребуются те, кто имеет нравственную силу, здоровье и ум, чтобы не дать новому сектантству взять верх. А для этого надо сейчас в подполье хранить и поддерживать огонь, пока бушует непогода. Возрождение будет медленным и нескорым, но оно придет неизбежно. Только не видел академик никого, кто бы это возрождение мог начать, — видел стадо, но не было пастырей. Он глядел поверх жестокости и крови — глядел в будущее и силился понять, к кому придут люди, которым надоеет друг друга убивать. И не видел.

Подобно тому как Илью Петровича во времена суеверного наваждения в «Сорок втором» больше всего тревожили дети, так и Рогова ужасало то, что пустыли университеты, не было тех пытливых глаз, что раньше встречались на лекциях, не было прежних вопросов, неожиданных, прямых и резких, на которые как ответить не знаешь. Скучно стало лекции читать, не для кого, и только странноватый, худо одетый бородатый мужчина лет сорока, то и дело терзавший его и на лекциях, и после лекций вопросами, ободрял Рогова.

Потерявший всех своих учеников, он нашел в нем благодарного слушателя. Так ненадолго они познакомились, и Рогову даже жаль было, что этот способный человек, оказывается, бывший директор лесной школы, работает дворником. В прежние времена, размышлял Виктор Владимирович, интеллигенция в дворницкие шла, чтобы душой не торговать и себя сохранять, — нынче же чего таиться и за доблесть измену духу считать? Теперь в школе работать и беднее, и менее престижно, чем в дворницкой, стало, так, значит, там теперь твое место, если ты учитель по совести. Но вразумительного ответа на столь прямо поставленный вопрос не услышал академик, кроме уклончивого намека на то, что есть у дворника своя гипотеза, которую надлежит ему проверить на практике, прежде чем предавать огласке. Ибо гласность поспешная, как показываю события, ни к чему хорошему не приводит.

Мысль эта академику близка была, и не раз они беседовали и спорили. Это была пора, когда многие горячие умы о русской будущности и русской старине толковали. Так и сяк ее видели, ссорились, ругались, и спор их был отголоском давней распри о том, куда должна идти Россия — на Запад или на Восток. Дворник отстаивал идею национального своеобразия, толковал об исторической ошибке и необходимости историю повернуть, пока не поздно, вспять, вернуться к развилке, когда не по той дороге пошли, и сделать наново правильный выбор, и самыми распоследними словами поносил Петра Романова. Рогов предостерегал своего прыткого вольнослушателя от чрезмерного увлечения славянофильством, в котором тоже — справедливо, нет ли — определенное сектантство угадывал и приводил в качестве примера Пушкина, еще задолго до эпохального спора примирившего два течения отечественной мысли.

Но дворник никакой правоты Петра не признавал. Он готов был не то что погрозить пальцем злосчастному императору, но взорвать его памятник и неожиданно разразился целой лекцией:

— Мы, русские, взяли на себя непосильную ношу, когда приняли православие вслед за дряхлой и слабой Византией и отгородили себя от европейской цивилизации. Византийская религия нежизнеспособна и совершенно не приспособлена для какого бы то ни было развития. Однако молодая и бодрая Русь сумела переплавить эту мистику, преобразовать в мощнейшее созидание и поставить православие на службу собирания азиатских земель. Православие у русских было совершенно иным, чем у византийцев. Никон же отринул все самое крепкое, что было в народе, и заменил аскетичное двуперстие дряблой и женственной щепотью. Его реформа не только расколола общество, она загнала в подполье наиболее сильных и энергичных людей и открыла дорогу для трусов и приспособленцев. Она расплодила суеверие, презрение к обычной прозаической жизни, к накоплению и честности. Раскол часто сравнивают с европей-

ской Реформацией, но ничего похожего между ними нет. Реформа Никона — это по своей сути контрреформация. Протестантство было, безусловно, прогрессивнее католицизма, оно дало мощнейший толчок развитию Европы. Основной жизни каждого европейца, его нормой стал честный и добросовестный труд. У нас же все произошло наоборот. Петр пытался что-то переменить и приучить нас к Реформации, но он не поддержал староверов, причем не поддержал по сугубо личным причинам, и в том было его величайшее заблуждение. К моменту его воцарения Россия колебалась: еще можно было повернуть назад — необходимо было соединить энергию Петра с крепостью духа старообрядцев, и тогда мы не имели бы ни бироновщины, ни пугачевщины, ни восстания декабристов. Если бы Россия была вся Аввакумовской, у нас не было бы семнадцатого года. Мы имели бы совершенно другую страну, обогнавшую весь мир, устойчивую, стабильную и не допустившую, чтобы сумасбродная идея Маркса овладела большей частью ее населения и в одночасье была предана православная вера. Ту же ошибку допустили и энергичные люди — большевики, боровшиеся с религией и пытавшиеся подменить и без того расплывчатое православие никуда не годным обновленчеством. Фигура патриарха Тихона достойна равняться с Аввакумом, чего не скажешь о Сергии. С победой сергианства произошел закат русской церкви. Этого не понял весьма проницательный Сталин, восстановивший в правах не ту Церковь. То же происходит и сейчас. Лишь тот правитель, кто обопрется на старообрядцев, пока они еще окончательно не вымерли, сумеет привести Россию к процветанию. Трагедия старообрядчества и слабости его заключаются в том, что оно не сумело сохранить единства и само вдребезги раскололось. Но именно в этих маленьких осколках и сохранилась истина, и если их склеить, то тогда мы получим сосуд истинной и нерушимой веры.

Рогов возражать не стал. Только подумалось ему: сколько же осталось и бродит еще по Руси таких вот чудачков правдолюбцев и правдоискателей! И Бог знает, как к ним относиться. Истина в том виде, в каком они ее разумеют, им всего дороже, но горячность их, поверхностность суждений, самоуверенность и потрясающее легкомыслие способны увести в любые дебри. Человек этот был Рогову симпатичен и одновременно чем-то его пугал.

Он старался убедить его избегать крайностей, чего бы эти крайности ни касались — политики ли, религии или искусства. Но дворник упрямо гнул свое, и общего языка найти они не могли. Однако по-человечески друг к другу привязались, и часто видели их проходящими вместе от университета до дома, где жил академик. Много было между ними говорено о российском будущем, о детях, кому в этом будущем жить придется, и много раз Рогов приглашал его подняться наверх, но застенчивый дворник под разнообразными предлогами отказывался, а потом и вовсе перестал посещать лекции. И ни тот, ни другой так и не узнали, что за всеми их спорами, поступками и делами стояла любовь к одному существу.

Глава V. Шантаж

Илья Петрович бросил ходить в университет, потому что все больше изнемогал от груза своих мыслей и ощущений. На него все давило: низкое питерское небо, ровные улицы и доходные дома, острые углы и прямые проспекты, набережные, каналы, мосты, парки, сады и церкви. Он не понимал, как живут здесь остальные. Несчастный город! У дворника появилась привычка, махая метлой, бормотать проклятия под нос, и со стороны он напоминал помешанного.

Однажды за этим бормотанием он не разглядел, как, чуть проехав вперед, резко затормозила и остановилась блестящая продолговатая машина. Из нее вышел человек с гладким лицом и выпуклыми глазами и легкой птичьей походкой направился к старательному и яростному чистильщику улицы.

— Илья Петрович, вы ли это?

Директор поднял голову, и, странное дело, виновник всех его злоключений и нынешнего печального положения, человек, которого он когда-то так презирал, не вызвал у него прежних неприязненных чувств.

— Что вы тут делаете, голубчик мой прогрессор?

— Как видите, собираю и уничтожаю мусор. А вы чем занимаетесь?

— Да как вам сказать, примерно тем же самым. И долго вы еще собираетесь мести этот двор?

— Пока не найду свою ученицу.

— Однако ж какой вы упрямый человек,— пробормотал Люппо.— Да помилуйте, зачем вы ей? Она, быть может, давно кого-нибудь почище подцепила.

— Не надо так о ней говорить,— нахмурился дворник.

— Эх, Илья Петрович, Илья Петрович, разве в наше время молодая красивая девушка одна честно проживет?

— Только не она. Ей может быть очень голодно, бедно, плохо, но она никогда не утратит чистоты.

— Как же вы сладко поете! Я знал только одного такого же одержимого.

— Кого?

— Старца Вассиана.

Илья Петрович вздрогнул.

— Что ж, если хотите,— продолжил самозванец,— я попробую разыскать вашу воспитанницу.

— Буду вам весьма благодарен,— церемонно произнес директор.

— Погодите благодарить, как бы не пришлось потом каяться. А вы что же, по-прежнему одиноки?

— Я живу с одним несчастным, больным человеком.

— Это что за горемыка? Тоже навроде вас вечный двигатель истории изобретает?

Илья Петрович замялся, но, чувствуя теперь обязанным себя по отношению к своему собеседнику, взявшемуся ему помочь, понизив голос, сказал:

— Он говорит, что скульптор, но, по-моему, такой же скульптор, как я писатель в пору моего директорства. Бедняжка помешался на религиозной почве и страдает манией преследования.

— Значит, и он тут поселился,— проговорил Борис Филиппович задумчиво.— А вы еще в Провидение не верили.

— Вы его знаете? — встревожился директор.

— Вряд ли. Хотя одного одержимого, возомнившего себя равным гению, знал. Но таких людей сейчас повсюду навалом,— заметил Люппо.— Голодных, оборванных, обозленных, вышвырнутых из жизни и рассказывающих всяческие небывлицы. Кстатти, и вы тоже неважно выглядите.

Он стоял и не уходил, точно чувствуя, что беседа их не окончена, и подзуживая Илью Петровича коснуться одной мучившей его, так и не проясненной темы.

— Послушайте, я давно хотел спросить у вас одну вещь,— неуверенно начал директор.

— О мощах Евстолии?

— Что это было? Совпадение? Чудо? Промысел?

— Вам действительно важно знать?

— Да.

— Видите ли, Илья Петрович, если я скажу, как было на самом деле, легче вам не станет.

— Я хочу знать правду, какой бы она ни была.

— Что ж, вы сами этого хотели. Это был заранее отрепетированный спектакль.

Илья Петрович обмяк.

— И старец об этом знал? — спросил он еле слышно.

— Он сам велел его организовать.

Дворник отвернулся, ссутулчился и стал снова свирепо мести окурки, пустые банки из-под пива и кока-колы, листовки, обертки, бульварные газеты, ругая под нос Петра Великого, птенцов его гнезда и весь петербургский период

русской истории, и не заметил, как вслед за машиной Люппо отправилась другая.

Придя домой, он перестелил постель больному, но весь день был мрачен, грубо сказал что-то Катерине и не улыбнулся даже детям.

— Что-нибудь случилось? — спросил наблюдательный Колдаев.

— Я повстречал одного знакомого, — ответил Илья Петрович нехотя.

— Разве у тебя тут есть знакомые?

— Оказывается, есть. Он, кстати, и тобой интересовался.

— Это он, — прошептал больной.

— Тебе мерещится!

— Розовый, гладколицый, с липучими глазами навывкате, высоким голосом, любит курить трубку?

— Пожалуй что, — согласился дворник.

— Это он! Мне он не сможет причинить уже никакого зла. Но заклинаю тебя, Илья, избегай этого человека. Не верь ни единому его слову и откажись от всего, что он тебе предложит. Он ненавидит людей — я точно это знаю. Ненавидит и хочет иметь над нами власть.

Меж тем блестящая машина, преследуемая вишневыми «Жигулями», продолжала путь по городу. Ее водитель, столь категорически охарактеризованный бывшим ваятелем, был необыкновенно задумчив. В тот день он побывал у нескольких важных лиц и имел неприятные разговоры, ему задавали множество вопросов, на которые он с трудом находил ответы, и теперь ему надо было предпринимать срочные действия.

Проехав через Неву, машина свернула направо и вскоре остановилась возле дома, где жил академик Рогов.

— Мы, кажется, знакомы, прелестное дитя, — сказал Борис Филиппович, пристально взглянув на открывшую дверь девушку.

Маша вздрогнула и попятилась.

— Кто там? — раздался недовольный голос из глубины квартиры. — Если ко мне, я занят!

— В прошлую нашу встречу, Виктор Владимирович, — сказал Люппо деловито, отстранив Машу и войдя в комнату, — я обещал, что подумаю над вашим предложением. Так вот, я готов его принять.

— Какого черта вам от меня надо?

— Видите ли, у нашей Церкви начались неприятности с властями, и мне бы хотелось, чтобы авторитетный ученый написал письмо в ее защиту.

— У меня нет времени писать письма.

— Письмо уже написано. Вам останется только поставить подпись.

Рогов хотел его прогнать, но прогнать не получалось — розоволицый Люппо как будто занял весь кабинет.

— Скажите мне, чего вы добиваетесь? — произнес ученый устало. — Деньги, власти, славы?

— Ни того, ни другого, ни третьего, — ответил Борис Филиппович, откинувшись в кресле. — Ко мне приходят, простите за дерзость, труждающиеся и обремененные, психически неустойчивые, мечущиеся люди. Потенциальные маньяки, несостоявшиеся убийцы, закомплексованные, неуверенные в себе, неудачники, жертвы насилия и обмана и инвалиды. Я даю им деньги, крышу над головой, даю работу и еду. Я даю им смысл жизни, наконец.

— И превращаете в своих рабов?

— Эти люди все равно обречены. Не я, так кто-то или что-то другое их погубит — наркотики, алкоголь, кришнаиты. Я очищаю город и спасаю погибающих, до которых никому нет дела. Если посчитать, сколько убийств, самоубийств и изнасилований я предотвратил, то мне можно поставить памятник. Меня же обвиняют черт знает в чем, не зная и капли правды. Мои оппоненты не понимают, что всякие гонения и преследования бессмысленны. И тем делают только хуже. Нас вынуждают к тому, чтобы мы ушли куда-нибудь в тайгу, куда нет никаких дорог и где никто не будет вмешиваться в наши дела.

— И где вы будете иметь неограниченную власть и уже никто не сможет вас покинуть?

— Где начнется новая цивилизация, и я готов позвать вас в союзники.

— Неужели вы всерьез допускаете, что я за вами пойду?

Борис Филиппович зажег трубку.

— А почему бы и нет? Я предлагаю людям выход из тупика.

— Еще один рецепт спасения человечества.— От люпповского табака академику сделалось дурно.— Вы не могли бы воздержаться от курения?

— Странно, что вам не нравится этот запах. Отличный голландский табак. И еще более странно, что вам не нравится моя идея. Я практически у вас ее позаимствовал.

— Я терпеть не могу никакого табака! — ответил Рогов яростно.— Искаленные судьбы и новоявленный лесной фюрер, провозглашающий себя Христом,— при чем здесь я?

— Но не ваша ли эта мысль, что чрезмерная свобода, то есть безграничность, вредна? Не вы ли писали о красоте иерархии, красоте служения, ограничения, отказа от удовольствий и необходимости добровольного подчинения одного человека другому ради общей цели? Не вы ли говорили о том, что культура существует там, где существуют границы? А теперь отворачиваетесь от меня, всего-навсего претворяющего ваши мысли на практике?

— Вы ничего не поняли! Я вовсе не имел в виду, что нужно подчинять всех воле одного!

— Ну, это как посмотреть.

— Я ищу истину и ей хочу служить. А всяческое насилие над личностью мне отвратительно, под какими бы лозунгами оно ни проводилось.

— Так то ж над личностью,— усмехнулся Божественный Искупитель.— Где вы сейчас такую сыщете? Кроме нас с вами, никого не осталось.

— Я напишу статью,— сказал Рогов в бешенстве,— тогда у вас начнутся не просто неприятности — вы в тюрьму пойдете.

— А ваш сын опять колотья. И больше его не вытащит уже никто. Или вас он теперь не интересует? Вы себе дочку нашли. Но должен заметить, Виктор Владимирович, что вам катастрофически не везет на детей. Сын у вас наркоман, а, так сказать, дочка — вокзальная проститутка.

Рогов рванулся из-за стола, но учитель успел отскочить.

— Виктор Владимирович, мне отвратителен любой шантаж, но не позднее завтрашнего вечера я вам представлю наглядное доказательство своих слов.

— Убирайтесь вон!

— Посмотрим, что вы скажете завтра.

В коридоре Люппо поравнялся с Машей.

— Виктор Владимирович занят и просил его не тревожить. А ты, прелестное дитя, все хорошеешь. Скоро я тебя приглашу, и ты нам попозируешь в одном красивом спектакле.

— Нет! — отшатнулась она.

Бровь у него дернулась, и в глазах появились отвращение и боль.

— Академик пока ничего о фотографиях не знает, но если узнает, то его сердце не выдержит.

Глава VI. Испытание

Уже много часов Колдаев лежал без движения и видел в окошко лишь краешек стены соседнего дома и ржавую крышу. Боль отпускала его только тогда, когда уставала сама. Отдохнув, она принималась терзать скульптора с новой силой. Он не соглашался лечь в больницу и не принимал никаких лекарств. Вызвать участкового врача как лицу непрописанному ему не могли, и Илья Петрович пригласил частного.

— Может быть, нужно какое-нибудь лекарство?

— Только обезболивающее, — сказал меланхолично юный доктор, засовывая в карман плаща конверт с гонораром. — И посильнее.

Но скульптор отказывался даже от обезболивающего. Илья Петрович за ним ухаживал, но теперь дворник ушел на несколько часов, и Колдаев читал псалтырь.

«Господи, да не яростию Твоею обличиши мене, ниже гневом Твоим накажешу мене, — шептали его пересохшие губы. — Яко стрелы твои унзоша во мне, и утвердил еси на мне руку Твою. Несть исцеления в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костех моих от лица грех моих. Яко беззакония моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отягощеша на мне».

— Так, Господи, так! — восклицал он, крестясь слабеющей рукой.

«Возмердеша и согниша раны моя от лица безумия моего. Пострадах и слякохся до конца, весь день сетуя хождах. Сердце мое смятется, остави мя сила моя. Друзи моя и искреннии мои прямо мне приближишася и сташа, и ближнии мои отдалече меня сташа и нуждахуся ищущии злая мне глаголаху суетная и льстивным весь день поучахуся».

Скрипнула дверь.

— Илья, ты?

Колдаев повернулся, и в глазах у него помутнело. Перед ним стоял Божественный Искушитель.

— Ну вот, наконец-то я тебя нашел, — проговорил Борис Филиппович удовлетворенно.

— Уйдите! — прохрипел Колдаев. — Что вам нужно от умирающего человека?

— Считаю, что я сентиментален. Я хочу посмотреть на тебя последний раз и утешить. Столько лет ты делал надгробия другим, кто же сделает тебе? Вряд ли у этого блаженного дворника хватит денег. Но не беспокойся, умирай спокойно. Я заботился о твоей душе, позабочусь и о теле. Ты получишь похороны по высшему разряду и, если только душа, как уверяет нынешняя наука, бессмертна, сможешь убедиться, что я не обманул. За это я попрошу всего-навсего об одной вещи.

— Я заклинаю вас, — Колдаев из последних сил приподнялся, — не приходите на мои похороны.

— Почему? — удивился Борис Филиппович. — На похороны не приглашают и, следовательно, не возбраняют приходить. И потом, неужели ты меня, а не свое непомерное тщеславие считаешь всему виною?

— Не мучайте меня. Я расплатился за все сполна.

— Ты ничего не понял в том, что увидел, глупый и ничтожный человек. Судьба давала тебе шанс, а ты не захотел его использовать. Вместо того чтобы стать Художником и сделать то, чего не делал до тебя никто, ты позорно сбежал. И теперь подохнешь в дерьме никому не нужный.

— Я искуплю этой смертью свою жизнь. А вы — антихрист с отметиной дьявола, вы — соблазнитель малых сих, вы не расплатитесь за грехи никогда.

— Брось кликушествовать! — проговорил Люппо раздраженно. — Ты проиграл наш спор. Отдай фотографии, и я сразу же уйду.

— Зачем вам изображение святой?

— Какая она, к черту, святая? Обыкновенная смазливая девица, про которую Бог знает что нагородили. Где фотографии?

— Я их уничтожил.

— Не лги, ты не мог этого сделать.

Он подошел к кровати. Колдаев попытался сопротивляться, но Люппо откинул его высохшую руку.

— Тише, тише. Не думай, что мне доставляет удовольствие копаться в твоём белье.

Он достал из-под подушки конверт и положил его в карман.

— Ну, вот и все.

Больной рванулся, попытался встать, но силы оставили его, скульптор упал и захрипел. Лицо его сделалось невообразимо желтого с оттенком коричневого цвета, он жадно открывал рот и тяжело дышал.

Люппо мельком на него поглядел и отвел глаза. В коридоре послышалась тяжелая поступь Катерины, зашумели дети. Он дождался, пока все стихнет, и выскользнул из комнаты.

Божественного Искупителя никто не видел, но в подворотне он столкнулся нос к носу с Ильей Петровичем. Дворник отвернулся и сделал вид, что не узнает его.

— Что это с вами, голубчик мой? Вы поверили бредням больного человека? Бог с вами, но про Машу неужели вы не хотите ничего спросить?

— Вы нашли ее? — Директор с мукой посмотрел в безмятежное лицо Искупителя.

— Видел, как вас сейчас.

— Где она?

— К сожалению, наихудшие опасения подтвердились. Ваша воспитанница живет на содержании у развратного старика.

— Это неправда!

— Увы. Вот полюбопытствуйте, старик любит фотографировать девочек голыми. И, надо признать, у него это хорошо получается.

Илья Петрович побледнел и в ужасе отвел глаза от фотографий.

— Маша, Маша... Что с тобой сделали! — воскликнул он горестно.

— Да, милый мой Макаренко, то, что не удалось вам, посчастливилось другому.

— Я хочу ее видеть!

— А зачем? Она вполне довольна нынешним положением, а вы станете ее смущать, попрекать...

— Но вы же обещали мне сказать, где она!

— Поверьте мне, Илья Петрович, — сказал Люппо так утешающе и мягко, как в их первую встречу на кладбище, — исправить что-либо вы не сможете, а только наделаете глупостей.

— Вы лжете! — воскликнул директор с мукой. — Вы всегда и во всем лжете. Это опять подлог.

— Нет, Илья Петрович, никакого подлога тут нет, — отозвался Божественный Искупитель грустно. — Я не лгу никогда, и в том моя главная печаль. Я ведь очень несчастный человек, и вы первый, кому я об этом говорю.

— Чем же вы несчастны? — спросил директор вло.

— У меня нет и не может быть детей. А знаете, мне кажется, что и вы живете безрадостно. Если вы себя одиноким чувствуете, то могу дать адрес, где собираются близкие вам люди.

— Нет, благодарствуйте. Я этот адрес знаю, но он не для меня.

— Зря отказываетесь. Может быть, там вы и встретите ту, которую ищите.

— Маша? У вас? Нет, нет... — Илья Петрович попятился. — Это невозможно, нет.

— Это будет именно так. И запомните, второй раз я вас звать не стану.

Илья Петрович взял в руки метлу и отвернулся. Люппо глядел на него с любопытством, и странное выражение застыло в его глазах. Он точно размышлял, что еще можно сотворить с этим неподатливым громадным человеком.

— А помните, вы меня давеча спрашивали про мощи?

Директор не оборачивался, и рука его продолжала мерно взмахивать.

— Так вот, — произнес Борис Филиппович, наклонившись прямо к его уху, — там, под сосной, действительно лежал ковчег.

Дворник обернулся как ужаленный.

— Поклянитесь мне, что не лжете!

— Клясться Господь Бог не велит. Или вы Евангелие не читали?

— Поклянитесь! — прохрипел директор, схватив Люппо за горло.

— Хорошо, клянусь.

— Так что же вы вчера говорили обратное?

— Одно другому не противоречит.

Илья Петрович с сомнением посмотрел в его глаза.

— До чего же грязный вы человек! Одного не могу понять, почему старец в Бухаре вас принял.

Люппо усмехнулся, но ответить не успел — маленькая девочка в красном в горошек платье выбежала из подъезда и пронзительно закричала:

— Дядя Илья! Дядя Илья! Иди скорее, тебя мама зовет!

Директор отшвырнул метлу и бросился к дому. Перепрыгивая через ступени, он взбежал на четвертый этаж. Скульптор был мертв. Его лицо сделалось необыкновенно благодетным. Страдание оставило его, он лежал умиротворенный, и слезы Катерины никак не вязались с его успокоенностью.

Илья Петрович закрыл товарищу глаза и пошел на улицу звонить в «Скорую». Врачи долго не приезжали, и все это время дворник стоял, прижавшись к окну, и глядел на склоны крыш, антенны и провода, бесконечными рядами уходящие к горизонту.

— Проклятый, проклятый город, — шептал он. — Город, которого не должно было быть, основанный человеком, которого не должно было быть, город, который должен исчезнуть, проклятый со дня своего основания на болоте до дня нынешнего, выстроенный на костях узников первого русского ГУЛАГа, носящий два самых страшных в российской истории имени. Нет равного тебе по числу несчастных, обездоленных, обманутых, город проклятой революции, блокады и убийств. Город, введший в соблазн всю Россию, прельстивший ее нерусской красою, чужеземными идеями, разгневавший ее чернь роскошью чересчур пышных дворцов. Город, с которого начались все российские несчастья, ее раковая опухоль. Ни одного счастливого, радостного, светлого лица здесь нет и не может быть — все больно, отравлено, тяжело, — здесь плодятся самые нелепые фантазии и снятся самые безумные сны. Месту сему быть пусты.

Но смотрел Илья Петрович на Петербург и не мог оторваться и пересилить своей к нему любви. Прекрасна была северная столица в час прозрачных и сырых весенних сумерек, хоть и порочна и грешна была ее красота.

Не видал Илья Петрович ни Венеции, ни Пальмиры, но был убежден, что с великолепием и изяществом его прародины не может сравниться ни одно из чудес света. Вдали, на горизонте, за скатами крыш, виднелся купол Исаакия, рядом с ним игла Адмиралтейства, а еще дальше за угадываемой рекою — шпиль старой крепости. И все это было так точно вписано в пейзаж, словно строили не рабы, а выросло все здесь само на болотистой, скудной почве, как произрастают лучшие плоды земли.

Ностальгически-сентиментальное настроение дворника было разрушено прибытием полупьяных санитаров. Когда выяснилось, что покойник не имел ленинградско-санкт-петербургской прописки, везти его в морг они отказались. Илья Петрович выгреб все деньги, которые были и у него, и у Катерины, неожиданно изменившей обычной скупости и отдавшей все до последнего рубля. Убедившись, что больше из этих бедных людей выжать нечего, похоронные рэкетиры забрали тело, прибавив, что погребение в городе непрописанного лица — совсем другая статья и потребует денег в десять раз больше.

Когда они уехали, Илья Петрович вспомнил предсмертную волю покойного и дрожащими пальцами поднял подушку. Там было пусто.

Глава VII. Разборка

В тот же дождливый и ветреный апрельский вечер академик Рогов получил небольшой плотный конверт. В него было вложено несколько фотографий. Между ними он обнаружил записку: «Предлагаю купить весь набор по условленной цене не позднее 12 часов завтрашнего дня».

До последнего момента старик надеялся, что это только дешевый шантаж, не могла его жена быть замешана в хоть сколько-нибудь сомнительной исто-

рии. Но фотографии лежали на столе, трогательная, нежная Маша была открыта любому похотливому взгляду, и он с ужасом подумал, что другого выхода, как принять условие негодяя, у него нет. Ради этой светловолосой девочки он был готов пойти на все и предать себя лжи.

Он хотел позвать ее, но не смог. Снова стало плохо с сердцем, но он не двигался, чтобы взять лекарство. Лучше всего ему было бы умереть и оставить расхлебывать эту кашу кому-нибудь другому, более решительному и сильному. Однако смерть не приходила. Она наблюдала за стариком с недалекого расстояния и, как ни звал он ее, не трогалась с места — совсем не страшная, похожая на умного лесного зверька.

Сколько так прошло времени, он не знал. Легонько постучала Маша и позвала ужинать. Он нашел в себе силы ровным голосом сказать, что еще не освободился. За окном дул и дул ветер, дребезжали стекла и гудели наверху у соседей старые трубы. Зазвонил телефон — он слышал, как Маша сказала, что его нет. Но сказала так, что чувствовалось: даже в этом пустяке солгать ей трудно.

И он вдруг подумал, что за семьдесят с лишком лет так ничего в жизни и не понял и уходит растерянным и неготовым к тому инобытию, что мелькнуло перед ним, как просвет в облаках, когда машина «Скорой помощи» везла его по метельному Петербургу. Известный всему миру ученый, одинокий и преданный старик, он должен будет поддержать шарлатана и негодяя, расплывшего по свету его семью. Рогов думал о сыне, о той обморочной любви, которую испытывал к нему маленькому, и о том, как отдалялась и затихала эта любовь, по мере того как мальчик вырастал. Он никогда не прощал никому и себе в первую очередь малейшего отступления от идеала, требовал невозможного. Поэтому, наверное, и смог столько добиться и столько потерять. В сущности, тоже своего рода сектант, вот ему-то теперь и прямая дорожка в объятия шестой цивилизации.

Был еще один выход — уйти самому, не решая ничего. Теперь первый раз в жизни он пожалел, что у него нет охотничьего ружья или пистолета.

Раздался звонок в дверь. Маша открыла, и Рогов услышал, как, не обращая внимания на возражения хозяйки, в квартиру кто-то вошел. Он поднял голову и увидел перед собой мужчину с неприметной наружностью и незатейливыми голубыми глазами.

Рогов подумал, что где-то видел этого человека раньше, но припомнить точно в эту минуту не мог и не хотел.

— Что вам угодно?

— Я хочу знать: что вы намерены предпринять? — произнес вошедший спокойно, и Рогов вспомнил, что десять лет тому назад именно этот человек беседовал с ним в Большом Доме и уговаривал его не подписывать никаких писем в защиту своего коллеги-физика, потому что, сколь ни был тот благороден и честен в своих намерениях, действия его, объективно говоря, вели к хаосу.

— Хотите опять отговорить меня? — произнес академик с горечью. — Боюсь, что и на этот раз ничего не получится, хотя совсем по другим причинам.

— Послушались бы тогда — не пришлось бы подписывать сегодня.

— Может быть, вы и правы, — сказал Рогов, вставая, но посетитель не двигался.

— Виктор Владимирович, вы вольны поступать, как вам угодно, но я хочу, чтобы вы знали одну вещь. Несколько лет тому назад человек, называющий себя Божественным Испытателем, изнасиловал тринадцатилетнюю девочку. Его застigli на месте преступления и кастрировали. С тех пор он выдает себя за наследника скопцов и самолично осклапляет членов секты, предварительно доведя их до состояния полной психической беспомощности.

— Зачем ему это надо?

— Во-первых, я полагаю, он получает от этого известное патологическое удовольствие. А во-вторых, представьте себе: чем прочнее вы можете связать людей, как не объемлю их общим уродством? Он осклапляет своих адептов, находящихся под глубоким наркозом, а когда они приходят в себя, то обратного пути у них уже нет. Эти калеки верны ему до гробовой доски. Им нет смысла идти в суд и на него жаловаться, они не могут вернуться в семью или к друзьям —

нигде, кроме как среди себе подобных, они не нужны. Единственная их цель с тех пор — подвергнуть той же процедуре других. В сущности, абсолютно идеальная секта.

Некоторое время Рогов молчал, и перед глазами у него стояло похожее на гипсовое изваяние лица сына.

— Куда же вы смотрите, если вам все известно? — спросил он глухо.

— Нам не разрешают его трогать. Вы даже представить себе не можете, какие крутятся там деньги и кто эти деньги получает.

— И никак нельзя ему помешать?

— Ну почему никак? — задумчиво произнес роговский визитер. — Всякие бывают неожиданности. Например, кто-то из родственников решится отомстить за изувеченных детей.

Весь следующий день академик занимался тем, что приводил в порядок архив. Он отдавал Маше указания, как и что делать с бумагами, кому их передать и как распорядиться имуществом. При этом он избегал смотреть девушке в глаза, но в его голосе, во всех движениях чувствовалась решимость. Он совсем не походил на того безвольного человека, который накануне сидел в кабинете и не знал, как ему поступить. Эта решимость пугала ее, но спросить, в чем дело, она боялась и только послушно кивала головой. Архив Рогова оказался объемным, спокойным голосом старик объяснял, чем надо заняться в первую, чем во вторую очередь. Потом он сел за стол и написал семь писем одинакового содержания своим ученикам в Америку, Австралию и в три европейских страны, и в тот же день Маша отнесла их на почту.

После этого Рогов уехал из дома на встречу со вчерашним поздним гостем. Говорили они недолго. Мужчина передал старику небольшой сверток, и вечером в Репине в сумерках слышно было, как на берегу залива раздалось несколько глухих выстрелов. На дачах не особенно удивились — к выстрелам и в городе, и в его окрестностях уже привыкли, как привыкли и к трупам, о которых добросовестно информировал жителей в ту пору еще не разжиревший и не обрюзгший их телелюбимец.

Однако никаких трупов на сей раз обнаружено не было. Назавтра Рогов встал рано. Он поцеловал недоумевающую Машу и отправился в бывшую мастерскую Колдаева. Академик был сосредоточен, шел медленно и держался прямо и ровно.

В обители его уже ждали.

— Рад вас видеть, Виктор Владимирович, — произнес Божественный Искупитель, закуривая трубку. — Вы что-то неважно сегодня выглядите.

— Давайте сюда письмо.

Учитель протянул ему листок. Рогов быстро пробежал его глазами и подпisał.

— Фотографии! — сказал он требовательно.

Сердце уже не колотилось, а разбухло в груди, заняв всю грудную клетку, как у монаха, изображенного на скопческой иконе. Борис Филиппович наклонился к ящику, а когда поднял глаза, то увидел направленный на него пистолет.

Искупитель побледнел, выставил вперед руки с письмом, но академик его опередил. Лицо его исказила судорога, он нажал на спусковой крючок и одновременно с этим или, быть может, чуть раньше услышал, как что-то разорвалось. Ему вдруг стало необыкновенно легко. Он подумал, что этот страшный человек уничтожен и не принесет больше никому зла. Однако Борис Филиппович был цел и невредим, только очень бледен, и Рогов понял, что это разорвалось его собственное сердце.

Некоторое время Божественный Искупитель в оцепенении смотрел на поверженного убийцу и не двигался. Потом в глазах его появилась мысль. Он встал и положил несколько фотографий во внутренний карман роговского пальто. Полчаса спустя двое апостолов вынесли академика и перевезли его на машине в Приморский парк. Там в сумерках тело оставили лежать на скамейке, и только на следующее утро оно было обнаружено прогуливающимся пенсионером, но заявить в милицию тот побоялся. Впрочем, Рогову торопиться

уже было некуда, и посмертная судьба вместилища души его не слишком волновала. Он глядел с небольшой высоты на свое мокнущее тело и терпеливо ждал, пока наконец в середине дня заявили в милицию, пока приехали врачи и покойника отвезли в больницу. Ему казалось, что все опять повторяется, но только теперь все было намного легче. Убивалась и плакала пожилая медсестра, пришел патологоанатом, и после ненужной, но обязательной процедуры вскрытия посиневший старческий труп отнесли в привилегированный морг.

Он ждал, когда за телом придет Маша, и переживал от того, что она может испугаться, но обязана будет выполнить все формальности, связанные с погребением, казавшимся ему теперь совершенно ненужной процедурой. Однако вместо его воспитанницы в морге оказалась бывшая жена. Ей выдали его вещи, в том числе роковой конверт с фотографиями, после чего Борис Филиппович Люппо, самолично доставивший ее в морг, отвез женщину в роговскую квартиру.

— Это ты довела его до смерти! — крикнула она, швырнув Маше в лицо фотографии.— Убирайся вон, проститутка!

Академик все видел, но не мог ниво что вмешаться и ничего изменить. Одна некогда близкая ему женщина быстро переверорошила вещи и уничтожила завещание, другая, согревшая последний год жизни, вздрагивая и судорожно рыдая, уходила по сырому городу, и защитить ее теперь было некому.

Рогов глядел на них и думал о том, что всю жизнь ему не хватало любви к этим людям. И теперь от избытка нерастроченной любви и переполненности ему было грустно и странно. Он чувствовал, что та свобода, которой он одновременно боялся и искал, пришла к нему, и он был волен делать, что хочет, гонимый игольчатым ветром посмертия. И рядом с ним так же блуждали в потемках души других людей, задевали друг друга, жаловались и тосковали. Иные, более опытные, готовились к восхождению в вышину, и среди этих душ ему встретила душа человека, умершего сутками раньше. От нее, как и от души академика, тоже исходила нерастроченная любовь, их прибило друг к другу, и они безмолвно рассказывали, что помнили и знали.

Глава VIII. Прощание с Петербургом

На похоронах академика Рогова собралось много народу. Присутствовал при сем и Борис Филиппович, убивший сразу двух зайцев: подписанная академиком статья, последняя и, следовательно, претендующая на роль духовного завещания, уже стояла в наборе, а фотографии, ценой которых она была куплена и на которые у Божественного Искупителя были свои виды, целыми и невредимыми лежали в сейфе. Нарядный гроб выставили в университете, было много венков, цветов, произносились речи и зачитывались телеграммы соболезнования из важных учреждений, Академии наук, от учеников, разъехавшихся по всему миру.

Поскольку Рогов до конца дней оставался атеистом, то отпевать в церковь его не повезли, и сразу после гражданской панихиды в университете процессия отправилась на кладбище. День был теплый, одетые в черное люди обливались потом, один оратор сменял другого, меж тем в университетской профессорской столовой уже был накрыт стол для поминок, и темп похорон было решено ускорить, а число выступавших сократить. Тем не менее все прошло исключительно торжественно, и организаторы получили благодарность от ректора.

В тот же день и на том же кладбище состоялись другие похороны, не в пример первым скромные и малолюдные. Хоронили когда-то весьма известного на кладбище скульптора, автора многих здешних надгробий, несчастного, опустившегося и спившегося человека. Кроме кладбищенской публики, знавшей и любившей Колдаева за то, что во время своего расцвета он щедро делился со всеми работающими, были только двое: высокий плотный мужчина с проседью и рыжеволосая женщина. Женщина принесла шикарный букет роз и изредка прижимала к глазам платочек, а мужчина сутулился сильнее обычного и, хотя ему предлагали выпить, не пил.

Первые похороны закончились раньше, и, возвращаясь от свежей могилы академика, Борис Филиппович Люппо, которому удалось удачно вернуть словцо о сложном духовном мире покойного и его нетрадиционном подходе к человеческому сообществу, приблизился к небольшой группе, в которой он увидел Илью Петровича. Директор был настолько погружен в себя и сосредоточен, что не заметил своего знакомого.

— Кого хоронят-то? — шепотом поинтересовался Люппо у могильщиков.

— Скульптора Колдаева.

Борис Филиппович вспомнил про просьбу несостоявшегося апостола, но не удержался и со смешанным чувством приблизился к могиле. Он подоспел к тому моменту, когда прощались с покойным, и с любопытством поглядел в его закрытые глаза.

И вдруг сделалось ему нехорошо. От жары сдавило виски, и почудилось, что колдаевское лицо передернулось тем же ужасом и отвращением, что и в момент экспроприации фотографий.

— Фу ты, черт,— пробормотал Божественный Искупитель и быстрыми шагами пошел к машине.

— Ну вот,— доброжелательно рассказывал наголо обритый приземистый могильщик, любовно оглядывая аккуратную свежую насыпь,— сейчас засыпали мы его землицей, пусть он там лежит себе спокойненько, а осенью цветочки можно будет посадить.

— А памятник? — спросил Илья Петрович.

— Ну-у, памятник... Кто ж сразу-то памятник ставит? Вот земля устоится, успокоится через годик-полтора, тогда уж и на памятник соберем.

— Я бы поучаствовать хотел.

— Не волнуйтесь. Это мы на себя возьмем. Мы покойному многим обязаны.

Директор кивнул и пошел по аллее.

Недалеко от выхода его внимание привлек свежий холмик, заваленный цветами и венками. Илья Петрович приблизился к могиле.

«Вот и старик тоже помер»,— подумал он, прочтя надпись на ленточке венка.

Он стоял над этой могилой и думал о том, что в мире не бывает ничего случайного, все совершается в свой срок, когда приходит ему время родиться и умереть. В каждой жизни есть некий замысел, и человеку следует его угадать и со всем, что происходит, примириться. И, верно, подобный замысел был в судьбе человека, действительно оказавшегося известным скульптором, в судьбе старика-академика, Маши, ее родителей, Катерины и, наконец, в его собственной судьбе. Он не разгадал пока этого замысла, он по-прежнему шарил в потемках, но теперь казалось ему, что до конечного поворота осталось совсем немного. Тогда начнется настоящая жизнь, а все прежнее окажется лишь цепью необходимых ошибок и поворотов, по которым течет река жизни. И потому он совсем не удивился, когда увидел плачущую свою возлюбленную ученицу, потерянную, несчастную, опозоренную перед всем светом и готовую броситься с моста в реку от безысходности.

Она не посмела прийти на похороны и подошла к могиле только после того, как все разошлись. Маша долго стояла возле заваленной цветами и венками насыпи и что-то говорила покойному, точно чувствуя, что душа его здесь, рядом. Илья Петрович ей не мешал, а потом тихо взял за руку и повел к выходу. Ей было все равно, куда и с кем она идет, но хорошо от того, что директор ничего не спрашивал и ничего не говорил. И она тоже ни о чем его не спрашивала, как будто между ними давно все было обговорено.

А между тем за всеми участниками кладбищенской драмы наблюдал недавний посетитель академика. Но Илья Петрович и Маша его не интересовали. Он поджидал Божественного Искупителя у его машины и здесь же предъявил ему ордер на обыск.

— И в чем конкретно меня обвиняют? — спросил Борис Филиппович довольно равнодушно.

— Я ищу один ствол.

— Оружия в моей общине нету.

— Я знаю, что нету, — улыбчиво согласился мужчина. — Вы его выкинули. Но придется объяснить, зачем вам потребовалось переносить труп академика Рогова из вашего дома?

— Он меня убить хотел.

— Вот напишите подробно, при каких обстоятельствах и почему.

— Я к нему никаких претензий не имею, — сказал Борис Филиппович надменно. — Вы свои фокусы оставьте. Ничего у вас не выйдет. Сейчас не те времена, милейший. Вы не посмеете меня тронуть. Я на вас прессу напущу, и вас сожрут.

— А я на вас — медицинскую экспертизу. Вас лично и всех ваших апостолов.

Божественный Искупитель вздрогнул и впился в безмятежное лицо голубоглазого мужчины.

— И никто из ваших покровителей палец о палец не ударит, чтобы за вас заступиться. Такого скандала они не перенесут.

— Что вы хотите? — спросил он глухо.

— Вы должны на время исчезнуть. В этом случае я смогу дать вам гарантии, что дело будет замято.

В тот же вечер Церковь Последнего Завета прекратила свое легальное существование, а еще неделю спустя в колдаевский особняк вселилось культурно-просветительское общество не то из Японии, не то из Южной Кореи с весьма нечистой репутацией, но с мировым размахом, не в пример Церкви Последнего Завета куда более солидное и основательное и заплатившее городским властям за право регистрации умопомрачительную сумму.

Божественный Искупитель обратился к своим последователям с просьбой не предпринимать никаких противоправных действий и подчиниться решению властей. Одновременно с этим он довел до верных, что скоро грядет час X, когда всем надлежит последовать за учителем к новому месту жизни, а покуда зайти и ждать вести.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕТ

Глава I. Великий поход

Поезд в Чужгу пришел в два часа ночи. Было светло, пасмурно и тихо. Казалось, за три года ничто в поселке не переменялось: около станции бродили собаки, железнодорожные пути были забиты составами, трещал мотоцикл и валялись в кустах пьяные. Илья Петрович никогда Чужгу не любил и, живя в «Сорок втором», бывал здесь только по необходимости. Но теперь, после Ленинграда, все радовало его сердце. Он с нежностью глядел на лица старух, прислушивался к ихговору, все казалось ему необычным, наполненным особым смыслом. Но все же и эта малость людей тяготила его. Директору мечталось о том, чтобы как можно скорее оставить эту жизнь и укрыться от нее в таежном скиту. Странное дело, столько лет он занимался тем, что выводил детей из леса в большие города, теперь же пришла пора уводить их обратно.

Поезда в «Сорок второй» не ходили, но сохранилась железнодорожная ветка, по которой он рассчитывал за неделю дойти до места. Илья Петрович был даже рад, что они с Машей отправятся в Бухару пешими, как паломники к святым местам, и никогда более не суждено будет им вернуться в мир, которому прочил бывший лучший дворник Санкт-Петербурга гибель, пусть даже не в апокалиптическом, но в самом обыкновенном житейском смысле.

Наутро директор и Маша вышли из поселка и по усуправились в лес на восток, туда, где затерялась теперь совсем одинокая Бухара. У Илья Петрови-

ча висели за спиной заплечный мешок с сухарями и консервами, котелок, рыболовные снасти и ружье, которое он перед отъездом из поселка оставил у бывшего председателя. Теперь предприимчивый хохол самый первый открыл в Чужге коммерческий киоск, во всяк час дня и ночи торгующий водкой. Он раздобрел, округлился, обленился, забросил охоту и идти в Бухару отсоветовал.

— Та Бог його знае. Може, зараз и нема там никого. Дорога тяжка, та й робыты там ничего. Тилькы дивчину вымучишь.

— Ничего, проберемся.

— Та живы тут. Дивчина хай у мене в ларку торгуе, а ты за товаром издыты будешь. Заживемо, як в Бога за пазухов. От и це... бухаряне-то сами воны зальшились, и управы на них ниякой нема. Хто зна, що в них на думци. Старець-то ихний, кажуть, звихнувся ныбы.

— Что такое?

— Пропонувалы им в район переихаты. Поселытыся компактно. А вин не-защо.

— Они всегда хотели, чтобы их в покое оставили.

— Не знаю, що воны там хотилы,— проворчал хохол.— Але вин-то завжды був недурный чоловик и розумиты повинен, що воны сами там не выживут. Пропонував я йому разом працоваты. И вузькоколийку могли б трыматы, ягоды б заготовлялы, грибы, рыбу, торгувалы б хоч з Москвою, хоч з Питером, а хоч з Финляндиєю. Колысь старовиры як разверталыся — мы б з нымы таки дила творылы, тильки держись. Не то що сись бовт. Тьфу!

— А он?

— Отказався. Як на мене добром все це не кинчиться.

Они шли по усю довольно бодро, но чем дальше углублялись в лес, тем тяжелее становилась дорога. Природа быстро брала свое: узкоколейка зарастала кустами, рушились мосты через ручьи и маленькие речки. На первых километрах дороги еще сохранялось движение самодельных дрезин, именуемых в здешних краях «пионерками», и, услышав звук, похожий на треск мотоцикла, путешественники заблаговременно уходили в сторону, чтобы не привлекать ничьего внимания. Но уже через два дня пути дорога оказалась совершенно заброшенной. Сюда не доходили ни охотники, ни рыбаки, и путники шли теперь одни. Лишь изредка тишину нарушал далекий гул самолетов — больше же о людях и их мире ничто не напоминало.

В тайге еще не сошел до конца снег, в низинах стояла высокая вода, и местами они пробирались с большим трудом. Ночевали прямо в лесу у костра — дремали то вместе, то по очереди. После нескольких лет жизни в городе Илья Петрович наслаждался покоем, отсутствием грязи, даже физическая усталость к вечеру доставляла ему небывалое удовольствие. В маленьких лесных озерах и ручьях он закидывал удочку и ловил сорожек и окушков, бойко клевавших на шитика, хватала на блесну отнерестившаяся щука, он запекал ее на углях или готовил уху. Это напоминало ему какой-то поход, похожий на те, что он совершал в молодости, и душа директора наполнялась радостью. Только грустное и отрешенное лицо ученицы его огорчало. Машу, казалось, ничего не радовало. Она устала, натерла ногу, но сказать об этом Илье Петровичу стеснялась. Они шли и шли, с каждым пройденным шагом приближаясь к таинственной Бухаре, жить в которой еще много лет назад сулили отроковице прозорливые старухи из «Сорок второго», частью умершие, а частью разбегавшиеся по всей стране и вряд ли помнящие и Машу, и Бухару, и директора школы.

Потом начались дожди. Они лили, не переставая, больше недели. Вода в лесу поднялась и подтопила железнодорожную ветку, Илья Петрович и Маша нащупывали шпалы и брели по колено в воде, проходя в день не по тридцать километров, как наметил директор, а вдвое меньше. Часто случалось так, что вода заливала сапоги, в конце концов девушка простудилась, и Илья Петрович соорудил шалаш, где они сушились, отдыхали и прожили почти два дня.

— Мы будем учительствовать,— говорил Илья Петрович, босиком разгуливая вокруг костра и жмурясь от удовольствия.— Мы должны соединить чистоту и строгость Бухары с лучшими достижениями человеческой мысли, мы

должны примирить прогресс с верой, знание с моралью и исправить совершенную человечеством в эпоху Просвещения ошибку. С этой точки начнется отсчет новой цивилизации. Сделать это можем только мы, русские. Человеческая история зашла в тупик. Пока что этот кризис проявился со всей отчетливостью лишь у нас в России, но скоро он охватит весь мир. И тогда только мы, первыми принявшие на себя этот удар, как некогда приняли мы на себя удар монгольской орды, сможем весь мир спасти. Самые великие идеи — Достоевского, Циолковского, Федорова, Вернадского, Даниила Андреева, Солженицына — рождались на нашей земле, в наших нищих городах, в наших тюрьмах, в голоде и стуже, то есть там, где истинные идеи и должны рождаться. Мир к нам несправедлив, нас презирают и на Западе, и на Востоке, ибо люди не любят тех, кто их спасает. За это распяли они Христа, и мы тоже будем принесены в жертву, но жертва эта спасительна, она искупит грехи всех тех, кто об этом даже и не догадывается. Отсюда, из этой тайги, будет явлен новый свет.

Глаза у Ильи Петровича горели, он говорил с таким пылом, точно обращался не к измученной девочке, а выступал не меньше, чем с Нобелевской лекцией.

Но Маша его не слушала, она продрогла, костер еле горел, и в прозрачном дымчатом лесу, от которого она отвыкла, ей уже никуда не хотелось: ни вперед, ни назад, а остаться в этом шалаше на веки вечные, как хотелось когда-то остаться в метельном поле. Вокруг уже много дней был лес, и трудно было поверить, что в этом лесу вообще возможна жизнь людей. И нет, и не было никакого скита — все это морок, обман.

Глава II. Кладбище брошенных кораблей

На исходе девятого дня путники подошли к полуразрушенному «Сорок второму». Среди высокой травы осталось несколько домов, смотревшихся сиротливо и печально, как только может смотреться покинутое людьми жилье. В покосившемся родном доме гулял свежий майский ветер. Ему вторили тонко дребезжавшие стекла в росохшихся рамах. Маша затопила печь. Дрова долго не хотели загораться, потом задымили так, что пришлось открыть дверь. Вода в застоявшемся колодце оказалась невкусной, и было в избе сырее и неуютнее, чем на улице. Все словно изгоняло и объявляло пришедших нежелательными персонами, не прощая им совершенного некогда бегства.

Ели молча, добирая остатки крупы и крошки хлеба, — паломники не ожидали, что их путь к скиту окажется таким долгим и продуктов не хватит. Было ябько, и хотелось поскорее укрыться и лечь спать. На широкой супружеской кровати, где была без малого двадцать лет назад зачата на удивление всему «Сорок второму» Маша, Илья Петрович быстро захрапел и спал без сновидений, но девушке не спалось. Ей было так же странно и тревожно в родной избе, как когда-то в пустом ленинградском доме. Она встала и долго бродила по горнице, зашла на двор, где еще сохранились остатки сена и висели на стене инструменты, спустилась в хлев, открыла ворота и долго смотрела на покинутые избы, улицы, поваленные столбы и ржавые трактора. Хотелось отсюда уйти, но уходить было некуда — последняя надежда рушилась: это единственное место, где она рассчитывала найти свой кров, не было готово ее принять. Она жалела теперь о том, что вернулась сюда, — было тяжело невероятно, словно присутствие на собственных похоронах.

С этим тягостным чувством, которое наутро передалось и Илье Петровичу, они встретили новый день, и оба, не сговариваясь, заторопились уйти из поселка.

Через два часа пилигримы подошли к скиту. Над крышами домов клубился дымок, раздавался стук топора, сквозь весеннюю дымку Бухара казалась нарисованной, и у Ильи Петровича от счастья, от того, что он дожил до этой минуты, защемило сердце.

Дверь отворилась, и показался тощий парень.

— Чего вам? — вытаращил он удивленные глаза.

— Я привел девушку,— сказал директор.

— Вы оттуда? — жадно спросил вратарь.— Что там?

— Агония.

— Да? — произнес парень потухшим голосом и недоверчиво взглянул на директора.— Обождите тут. Я скажу старцу.

Илья Петрович вдруг почувствовал, как колотит его озноб. Он подумал о том, что сейчас откроются ворота этого обетованного места, к которому шел он всю жизнь через уверенность в его ненужности, через сомнения к убеждению, что оно единственное есть тот ковчег, где можно спастись. И странная мысль, что ворота впустят его, закроются и никогда больше он не выйдет, коснулась его души. Захотелось назад — это было мимолетное и малодушное чувство, и оно тотчас же ушло, оставив лишь тень на его душе.

Дверь снова открылась. За оградой стояли старухи в белых платках со свечами и смотрели на девушку. Это вдруг напомнило ей картину детства, обретение мощей, молящие глаза поселковых женщин. Старца не было, и только маленький келарь пристально глядел на Машу.

— Сохранила ли ты девство?

Илья Петрович испуганно обернулся на свою ученицу.

— Чиста ли ты? — повторил эконо́м.— Отвечай, как перед Богом.

— Да,— вымолвила она, покраснев.

— Заходи,— сказал Харон, и в его голосе прозвучало что-то похожее на трепет.

Она нерешительно оглянулась.

— Ну иди же.

Женщины окружили ее, и они пошли в глубь деревни.

Илья Петрович шагнул вслед за ними, но келарь преградил ему путь.

— О тебе ничего сказано не было.

— Как?

Ни слова ни говоря, Харон запер ворота, и Илья Петрович остался перед закрытым скитом. Удар был настолько ошеломительным, что он даже в первый момент не подумал о девушке, с которой его разлучили. Потом застучал в ворота.

— Что еще?

— Я,— сказал Илья Петрович, с трудом сдерживаясь от гнева,— отвечаю за свою ученицу.

— Она в твоём догляде больше не нуждается.

— Мне было обещано, что вы примете нас обоих.

— Ступай,— ответил келарь.— И чем дальше ты отсюда уйдешь, тем будет лучше.

Что теперь делать и как жить, Илья Петрович не знал. К вечеру он вернулся в заброшенный поселок и снова переночевал там в Шурином доме, глотая горький дым и утоляя жажду затхлой водой. Если бы у него была водка, то он точно бы не сдержался и напился — таких страшных разочарований ему не доводилось испытывать никогда. Быть так глупо использованным и за ненадобностью отброшенным. Он пытался искать объяснения, он размышлял о собственной неготовности взойти в сонм избранных, но все забивалось одним — безмерной душевной усталостью. Однако ж, постепенно принявшись рассуждать более трезво, Илья Петрович решил, что главным для него было не найти пристанище самому, но спасти Машу, что он и сделал, а его собственная судьба и будущность в конечном итоге большого значения не имеют.

В ту ночь ему приснился сон. Будто бы он снова пришел к воротам в Бухару, но увидел не келаря, а самого старца Вассиана. И между ними произошел разговор. Илья Петрович упрекал старца в том, что тот о спасении малого стада думает, а до огромной гибнущей страны ему дела нет.

— Выйдите за ограду и обратитесь к людям. Вы не представляете, как нуждаются они сейчас в вашем слове. Никто, кроме вас, сделать этого не может, вы наш единственный шанс спастись.

— Ты путаный интеллигент, в котором нет ни настоящей веры, ни силы духа,— сказал старец.— Сказано в Писании: много званых, но мало избранных. Всем твоим исканиям грош цена. Они суть духовный блуд, прелюбодеяние мысли и ложь. Ты других спасти хочешь, а на себя взгляни. Душа твоя смердит.

— Что же мне делать, отче? — сокрушенно спросил Илья Петрович.— Чем я виноват, что родился не в скиту, как вы? Неужели теперь для меня и для миллионов других нет никакой возможности спасения?

— Как могут спастись те, кто всю жизнь служил Антихристу?

— Я же ничего не знал! — воскликнул директор.

— Ты и сейчас ничего не знаешь.

— Пусть так, но помогите. Мне некуда больше идти.

— Спасти можно только детей,— ответил старец.— Приведи сюда из мира сто сорок четыре тысячи отроков и отроковиц, тогда заслужишь прощенья.

— Да где же я столько найду? — растерянно спросил Илья Петрович.

— Это твое дело.

Директор проснулся. Накануне он слишком рано закрыл печку, и в избе было угарно. Через забитые ставни в комнату проникал прозрачный свет белой ночи, и казалось, что старец действительно сюда приходил и сон был вещим. Илью Петровича знобило, болела голова. Он открыл трубу, проветрил комнату и снова лег, укрывшись старым полушубком. Сон долго не шел: гулкие звуки мешали директору уснуть, чудилось, что по избе кто-то ходит — то ли Шура, то ли его застрелившийся друг, дребезжали стекла в оконных рамах, скрипели двери и половицы. Несколько раз он поднимался, выходил в коридор и тревожно всматривался в молочную полумглу, но не было видно никого,— только облюбовавшие чердак большие птицы стучали по крыше. Под утро Илья Петрович забылся, и в этом забытии наступило продолжение давешнего сна.

Он уходит по железнодорожной ветке в Чужгу, устраивается в магазине у бендеровца, но привозит не товар, а детишек и уводит их в Бухару. Потом снова начинает работать в школе и на зимние каникулы собирает детей в лыжный поход. Они идут тяжело, через снег, через сугробы тропят лыжню. Он привозит детей и уходит, но в школу больше не возвращается. В Чужге оставаться опасно, объявлен розыск, и он переезжает на другую станцию, в другой поселок, работает там и снова ведет детей. Его ищут по всей области — говорят о маньяке, его фотографии на всех столбах, и он едет куда-то на Урал, опять работает в школе и опять собирает в ужасном рабочем поселке детей. Чтобы не привлекать внимания, они совершают громадный переход и идут всю зиму через леса, реки и болота. Они идут в Бухару, как некогда уходили люди в поисках Беловодья, и снова дети исчезают за оградой, но его по-прежнему не пускают.

Так проходит много лет, скит растет и опутывает всю окрестную тайгу, все меньше детей остается в мире, и вот наконец наступает день, когда сто сорок четыре тысячи отроков и отроковиц спасены и находятся в ковчеге. Заветные врата распахиваются. Илья Петрович входит и видит приземистые бараки, ряды колючей проволоки, вышки, надсмотрщика-келаря и приведенных им детей в арестантских робах.

Глава III. Бухарский пленник

Директор очнулся только после полудня. Он с трудом дошел до колодца и долго жадно пил. На улице было тепло, солнечно и сухо. Стояла та короткая благодатная пора поздней весны, когда еще не поднялась мошка, но уже подсохла земля. В такие дни крестьяне первый раз выгоняют скотину, бросают в распаханную черную влажную землю зерно, сажают кормилицу картошку, за которую одну можно было бы простить Петру-антихристу все прегрешения перед нацией.

Но человеческий труд не беспокоил больше окрестности этой некогда отвоёванной заключенными у леса земли. Она вся зеленела и цвела, переливалась

необыкновенными красками, полевыми цветами, и даже дома в поселке не казались такими унылыми.

— Боже, какая красота,— пробормотал страдалец.

По вечной своей привычке все объяснять и со всем смиряться и по неизбывному оптимизму Илья Петрович рассудил, что со временем бухаряне к нему привыкнут и примут, и решил куда пожить в поселке. Он расчистил колодец, нарубил дров и стал обустриваться, привыкая заново к деревенской жизни с ее каждодневными немудреными хлопотами. У него было ружье, снасти, в одной из изб ему удалось найти сети и перегородить Пустую, так что умереть с голода директор не боялся. Чуть позже посуху можно было сходить в Чужгу и запастись продуктами у верного своего товарища-хохла. В любом случае отсюда уходить и искать счастья где-то еще Илья Петрович не собирался.

Но неожиданно он столкнулся с совершенно непонятной вещью. Однажды, возвращаясь домой с охоты, лесной житель почувствовал запах гари — он испугался, что в тайге начался пожар, и пошел быстрее. Выйдя к поселку, он увидел, что несколько изб горят. Сперва у него мелькнула мысль, что он не затушил печку, но ни одно строение в «Сорок втором» не уцелело: поселок горел, кем-то намеренно подожженный, и он понял, что его изгоняют из тайги.

До вечера погорелец бродил по пепелищу, а потом ушел в лес. Там он смастерил шалаш, однако через три дня шалаш разрушили, и ему снова пришлось блуждать по лесам. Еще несколько раз он приближался к Бухаре — на него спускали собак, однажды раздались выстрелы. Он не сомневался нисколько, что, появившись у них желание его убить, они сделали бы это не задумываясь — это было просто предупреждение. Илья Петрович был и огорчен, и недоумевал, что это значит. Настойчивое желание сектантов изгнать его за пределы их территории не могло запугать, но насторожило храброго директора.

Он продолжал искать встречи с этими таинственными людьми, ставшими еще большими отшельниками, чем во времена существования «Сорок второго», гонимый теперь не одним лишь любопытством и жадой найти пристанище, но тревогой за свою ученицу. Меж тем началось лето, солнце едва закатывалось за горизонт, долго скользя над верхушками деревьев, народились комары, и жизнь в лесу стала похожей на ад. Илья Петрович изнывал от изобилия мошки, ночевал в лесу, разводя костерок, а днем кружил вокруг Бухары, как кружил всю свою жизнь вокруг им самим выдуманных и торопливо сменяемых идеалов. Он не знал, что больше его здесь удерживает: тревога за Машу, упрямство или присущая ему с детства жажда докопаться до истины, чего бы эта истина ни стоила. Теперь ему казались отчасти даже наивными его петербургские мечтания, но все же загадочные люди, которые уже больше трех столетий хранили верность гонимой вере, вызывали у директора смешанное чувство уважения и ревности. Однако его следующая встреча с бухарянами произошла при обстоятельствах весьма драматичных.

Однажды в лесу Илья Петрович обнаружил привязанного к березе голого парня лет двадцати, в котором с трудом узнал вратаря. Тело его вспухло от укусов, он бредил, постоянно кого-то звал и просил пить. Директор отвязал несчастного и, когда тот пришел в себя, узнал, что вратарь пытался бежать.

— Голодно у нас. Весной траву ели.

Илья Петрович побледнел.

— Как траву?

— Летось засуха была. Сгорело все. Сей год тоже утренники, все померзло. Вот и бегут люди дак. А их ловют и либо к деревьям вяжут, либо в ямы судят и исть не дают.

— А девушка? Маша? Что с ней?

— Не знаю того,— покачал головой вратарь.— Она отдельно живет при старце. И никого к ей не допускают.

— Да что же ты дальше станешь делать? Хочешь, я тебя на дорогу выведу?

— Ты снова меня привяжи,— попросил вратарь.

— Зачем? — изумился директор.

— Вернутся они. Вернутся и простят. А если узнают, что отвязал ты меня, то не пощадят уже. Ты, батюшко, привяжи и уходи скорей.

Назавтра он вернулся к березе — вратаря не было.

После этой встречи Илья Петрович окончательно решил, что уходить ему нельзя. Через несколько ночей он нашел укывище на берегу лесного ручья и жил там тихо, не стреляя и не зажигая костра. Ему хотелось создать иллюзию, что он отчаялся, ушел, и тем притупить бдительность сектантов. Стояли светлые ночи, и, пока они были светлыми, нечего было думать, чтобы пробраться в скит.

По счастью, леса здешние за десять лет охоты он изучил не хуже местных жителей, кормился нехитрыми дарами раннего лета и укрывался от мошки, как олень, на продуваемых ветрами грядах.

Миновал Иван Купала, начался сенокос, рыба брала все хуже, зато подоспели первые грибы и ягоды. Илья Петрович тосковал без чая и думал, что, слава Богу, отучил себя от табака. Без этого зелья, имей он к нему привычку, в тайге не высидеть.

Найти пропитание в лесу пока удавалось, а о том, что будет зимой, он старался не думать. Постепенно мысли, под тяжестью которых он изнемогал в Питере, совсем покинули Илью Петровича, у него обострились зрение, слух и обоняние. Он сделался похожим на лесного зверя — осторожного, пугливого и чуткого, ходил бесшумно, и выследить его в этом лесу было почти невозможно.

В душную пасмурную ночь на Петра и Павла Илья Петрович вышел из укывища и направился к скиту. Он миновал кладбище с неугасимой лампадкой, могилу Евстолии, которую некогда пытался разорить, и через ограду воровски проник в скит. В моленной избе шла служба, Илья Петрович приблизился к окошку.

Часовня освещалась несколькими свечками. Стоя у маленького окошка, он долго слушал тягучее стройное пение — не в силах шелохнуться, точно коснулся какой-то тайны, приоткрыл покров и увидел то, что видеть ему не следовало. Служение необыкновенно тронуло его: было в нем что-то высокое, особая искренность и пронзительность, обреченность горстки людей, убежденных в том, что именно им принадлежит истина, они спасутся, а весь остальной мир давно уже стал добычей Антихриста. Илья Петрович не слишком хорошо различал слова, но пение так поразило его, что очарованный им странник, забывший о своих звериных повадках, не заметил, как сзади к нему кто-то приблизился.

Директор обернулся слишком поздно — на него накинули удавку, и дальше все погрузилось во тьму.

Он очнулся в яме. Было сыро, капала со стен вода, а над головой у него был дощатый настил. Илья Петрович заворочался — болела голова, и хотелось пить, он крикнул, но крик потонул в вязкой тишине. Сколько так прошло времени, он не знал. Он засыпал, видел во сне скульптора и академика, просыпался в сырой яме и не мог понять, что есть явь, а что сон, его заточение или бесвязные обрывки разговоров и встреч с покойниками, которые почему-то вместе откуда-то издалека жалеючи на него глядели и тихо между собою говорили, но слов их он расслышать не мог. Потом он окончательно проснулся и бодрствовал до самого вечера, когда на веревке ему спустили кувшин с водой и кусок вяленой, уже начавшей пахнуть щуки.

Назавтра все повторилось — только рыба была еще душистей.

И потянулось время. Как оно тянулось и что с ним было, Илья Петрович не осознавал. Здесь же он ел и пил, здесь спал, здесь был его туалет, что сперва вызывало у чистоплотного директора отвращение, затмевавшее по силе и голод, и несвободу, но вскоре и к этому он привык. Из щелей сверху едва пробивался свет, потом мерк. Илья Петрович по этому свету вел счет дням и делал ногтем царапины, которые на ощупь пробовал и считал. Что происходило наверху, он не знал. Он не боялся умереть, однако ему было странно, что про него еще не забыли и каждый день спускали на веревке еду — кусок тухлой ры-

бы, горох или лук. Первое время он кричал и требовал, чтобы его подняли наверх и позвали старца. Но ответом всякий раз было молчание.

Было неясно, зачем они вообще его кормят. Он подумал, что лучше, наверное, вообще ничего не есть и не пить и так прекратить это бессмысленное мучение, но мысль о Маше останавливала от самоубийства. Все время грызло его сомнение: что с нею, не рядом ли в такой же яме сидит, жива ли? Поначалу казалось, вот-вот поднимут и все объяснят, на худой конец выгонят, но время шло, ничто в его положении не менялось.

И опять накатились на директора мысли, что прежде забивались заботой о пропитании. Он стал снова размышлять о жизни и о смерти, которая была теперь совсем рядом и не казалась ему ни ужасной, ни страшной. Он свыкся с нею и, когда думал о том, что дальше последует, представлял это таким образом, будто бы жизнь есть нечто вроде контрольной работы. День изо дня люди ее пишут, решают задачи и примеры, которые даются каждому свои, по мере сил — одним много, а другим — мало, одним надолго, а другим — совсем на чуть-чуть. И когда для каждого урок кончается, то кто-то очень умный, очень добрый, могучий и справедливый, кто-то похожий на настоящего школьного учителя, каким хотел быть, но не дотянул Илья Петрович, показывает тебе твою работу и твои ошибки, вместе с тобой разбирает и ставит оценку. Эта оценка ничего не значит — это всего лишь учеба, все равно всем, кому только можно простить, прощается, что они совершили. Берутся в расчет любые смягчающие обстоятельства, все детские обиды и душевные скорби, заставляющие людей совершать глупые промахи, ибо зло есть не воля души, но ее ошибка. Только то чувство, которое испытываешь, когда эти ошибки видишь, есть стыд, и этот стыд будет твоей вечной мукой в раю.

И еще здесь, в этой вонючей яме, задыхаясь в собственном дерьме, возлюбил Илья Петрович жизнь и возрадовался тому, что уши его что-то слышат, глаза хилый свет различают и пальцы пусть стены темницы, но осязают. Весь Божий мир, даже мусор тот, что мел он по питерским мостовым, вспоминал Илья Петрович с любовью. Смирился дворник с тем, что все для него закончилось, но хотелось напоследок, прежде чем закидают комьями глины и даже креста над нехристом не поставят, глянуть на небо.

Однако дни сменялись днями, только еда все скуднее становилась, и понял Илья Петрович, что недолго ему нахлебником осталось быть. Но однажды крышка отодвинулась.

Пленник поднял голову и увидел вратаря.

— Воздухом-то подыши, пока никто не видит.

Перехватило дыхание у директора, и не мог он наглядеться на звездное небо и долго-долго плакал, как вдруг загремело что-то и точно болид пронесся по небу.

Вратарь втянул голову в плечи.

— Часто летают они.

— А-а,— рассеянно отозвался Илья Петрович.— Байконур ведь закрыли. Вот и запускают теперь в Огибалове.

— Старец бает, признак это.

— Какой признак?

— Конец дак скоро. Ну ладно, пойду я,— заторопился он.— Не ровен час увидит кто — мне головы не сносить.

— Погоди еще! — взмолился Илья Петрович.

— Пойду,— сказал вратарь неумолимо.— А я дак буду когда к тебе заходить.

После этого едва не пал духом директор. Но жил теперь от встречи до встречи со звездами да новости нехитрые узнавал.

— Голод-то страшнее прошлогоднего. Патронов к ружьям нет. Сети изорвались, соль вся вышла. Раньше из «Сорок второго» мужики приносили, торговали с ними. И муку, и одежду, и чай, и соль — все подмога была. А нынче — ничего.

— Да что же не уходите вы тогда?

— Старец говорит, нельзя нам отсюда уходить. Всюду в мире погибель — только здесь спасение.

И заняло сердце у Ильи Петровича, точно старец его собственные мысли подслушал или, наоборот, свои нашептал.

— Скажи старцу, что хочу я с ним побеседовать. Пусть потом в яму на вечные, но один хотя бы раз поговорить.

Вратарь покачал головой.

— Боишься его?

— Не его. Есть там другой — за всеми доглядывает. Лют он, батюшко. Если прознает, что я с тобой говорил, со свету сживет.

— Все равно скажи старцу, — как заклинание повторил директор. — Самому ему скажи. Знаю я, как вам спастись и что делать. Скажи: затем и пришел. Все равно погибать вам, а так и себя, и всех спасешь. Обещаешь?

Вратарь долго молчал, наконец втянул воздух.

— Обещаю.

Но напрасно ждал Илья Петрович старца, не было ему никакой вести, и товарищ его исчез — только приносили ему через день еду и питье, молча бросали, и опять стихали шаги. От отчаяния узник даже царапины на бревнах забывал делать и счет дням потерял. Уже не жил, а доживал и не знал, сколько дней минуло, и все сделалось ему едино, заживо похороненному в этом срубе. Но однажды сверху чей-то знакомый высокий голос окликнул его. Илья Петрович встрепенулся и поднял ослепшие, опухшие глаза, пытаясь разглядеть, кто его зовет. Вместо старца и вместо знакомца своего, не забывшего доброго дела, в полумраке летних сумерек увидел он совсем другого человека, кого меньше всего ожидал да и меньше всего хотел увидеть.

Глава IV. Второе пришествие Искупителя

Он глядел на Илью Петровича так же насмешливо и снисходительно, как в пору их ночного разговора на кладбище, — гладкое лицо блестело, и глаза равнодушно скользили по изможденному, грязному арестанту.

— Как вы сюда попали? — изумленно спросил Илья Петрович.

— Нанял в Огibalове пожарный вертолет. Вы лучше скажите, что не ожидали такого приема? Хотели теплое местечко на корабле занять, а оказались в трюме.

— Может быть, и ожидал, — сказал директор тихо. — Может быть, другого и не заслужил. Что с Машей?

— Пока что она на верхней палубе. Старец имеет к ней интерес, берет ее на богослужения и обучает своей грамоте.

— Слава Богу!

— Но долго это не протянется. Следующей зимы они не переживут.

— Я знаю, — ответил Илья Петрович печально. — Вы имеете на них почему-то влияние. — Он медленно соображал и плохо подбирал слова. — Если они не хотят говорить со мной, то убедите их обратиться к властям.

— Да помилуйте, какие власти им станут сегодня помогать? Таких Бухар со стариками и старухами по России сотни тысяч наберется — никаких денег не хватит.

— Но что же делать?! — воскликнул директор в отчаянии.

— Ничего не делать. Их время прошло, и не надо мешать им уйти. Они уйдут, как уходили древние цивилизации, оставив после себя груды сокровищ и тайну, которую люди будут разгадывать. А на их место придут другие.

— Да как вы можете так бесцеречно рассуждать, вместо того чтобы спасать живых людей?

— Для них спасение — совсем не то, что для вас, и смерть — лишь избавление от антихристового мира. Они и живут-то ради того, чтобы поскорее умереть и избавить души от бремени греховных тел.

— А Маша? — вскричал Илья Петрович.

— Ее они возьмут с собой.

— Она же святая!

— Никто не бывает святым при жизни, милый мой прогрессор.

— Что вы этим хотите сказать?

— Ваша отличница будет скрашивать своим присутствием их угасание, а когда придет срок, то вместе с ними оставит грешный мир.

— Святая мученица уберегла ее тогда, убережет и теперь.

— Какая святая мученица? Ей-богу, раньше вы производили впечатление более благоразумного человека. Да неужели ж вы в самом деле поверили, что кости женщины оказались в том самом месте, где шарахнула семьдесят лет спустя молния, и это спасло девочку?

— Значит, все-таки это был подлог? — спросил Илья Петрович упавшим голосом.

— А вы что же, чуда хотели?

— Мне не чудеса нужны! Я обмана не приемлю!

— Как же вы в скиту-то жить собирались? Тут на каждом шагу, начиная со старца, сплошной обман. Беда с вами, интеллигентами, как втемяшится что в башку, хоть кол на голове теши. Из университетов — в яму норуют. Но чуть что не по ним, сразу бунтуют.

— Убедите их отпустить ее!

— Это бесполезно.

— Тогда помогите бежать — ведь вы свободны.

— Я не хочу оказаться по соседству с вами или же быть привязанным голым к сосне на съедение комарам. Они с нее не спускают глаз.

— Что они собираются сделать? Вам известно?

— Полагаю, что скоро в этом благословенном месте вспыхнет большой костер и запахнет человеческим мясом.

— Господь этого не допустит. — Илья Петрович поднял на Люппо безумные глаза.

— Господь уже столько всего допускал, что надеяться на Него было бы по меньшей мере легкомысленно. Хозяин наш, как и самые верные его поклонники, любит кровь.

— Неправда, Он милосерден.

— Он жесток, Илья Петрович, запомните это. В этом Его сила и правда. Вы никогда не задумывались над тем, что все эти войны, аварии, катастрофы, эпидемии, взрывы, которыми переполнена человеческая история, есть не что иное, как дань, которая берется с людей за то, чтобы был продлен срок их существования? Бухара станет просто еще одним жертвоприношением в общечеловеческую свечу.

— А вы пришли посмотреть на агонию этих людей, чтобы потом прибрать к рукам их богатство?

— Ничего-то вы так и не поняли, глупый директор. У меня в этой драме иная роль. У нас есть немного времени, и я хочу напоследок развлечь вас беседой, которую мы когда-то так и не окончили. Я глубоко равнодушен к людям, которые мне не подобны, но к вам чувствую странное влечение. Этакую смесь любви и ненависти, которую не испытывал еще ни к кому. Даже к тому безумному, возомнившему себя Микеланджело. Быть может, дело в том, что вы девственник. Вы ведь девственник, Илья Петрович? Так вот я хочу вам кое-что сказать. Как белый голубь белому голубю. Из этой ямы вы все равно никогда не выберетесь, вы прожили жизнь бесполовую и погибнете вонючей смертью, но я хочу, чтобы вы знали: то будущее, ради которого вы жили и к которому стремились, та сила, которую вы искали и которой хотели служить, она — за мною.

— За вами нет ничего! — сказал директор яростно. — Вы лжепророк!

— Что есть ложь? — спросил Люппо насмешливо. — Неужели вы не видите, что граница между правдой и ложью мало кого сейчас интересует? В прошлые эпохи люди искали истину и за нее клали голову на плаху — нынче же истина растворилась как соль, и умирать за нее никто не хочет. Современный человек живет в мире устоявшихся представлений, как слепой с собакой-поводырем, и в этом находит счастье. Любой шарлатан или сумасшедший, объявля-

ющий себя целителем, святым, пророком, гуру, способен нынче собрать целые стадионы. Бывший милиционер провозглашает себя Христом, и по его мановению люди бросают все и идут на край света в верховье Енисея. Комсомольская активистка объявляет себя Богородицей, и тысячи готовы сгореть живьем по ее призыву. Толпа взбесилась и ищет, за кем бы ей последовать. И она права, ибо стала громоздка и неуправляема, и не что иное, как инстинкт самосохранения, толкает ее в объятия вождя. Но в отличие от всей этой публики в нашем одичавшем мире я один знаю радикальное и действенное средство, как обуздать в человеке зверя. И когда настанут времена всеобщего скотства, а, поверьте мне, они обязательно настанут, ибо то, что происходит сейчас,— ничто по сравнению с тем, что нас ждет, когда похоть окончательно победит человека и все погрузится во тьму инстинктов, то сюда по лесным дорогам бросятся не Бога взыскующие, не чающие озарения духовного, но самые обычные люди, ищущие, как выжить и уберечь детей. Здесь, где не режут, не убивают, не насилуют, станут искать прибежища. И я это прибежище дам всякому, и та цена, которую за это потребую, не покажется никому чересчур высокой. Я все рассчитал, прежде чем поставить на кон свою судьбу. Дайте мне время, за мной пойдут миллионы, и те, кто меня изгнал, меня призовут. У них просто не останется другого выхода, когда армия и полиция выйдут из их повиновения, когда никакие заборы не удержат их от взбесившейся толпы. Они придут ко мне на поклон, и я куплю их, и они будут мне служить и вместе со мной управлять миром, пока не прозвучит финальный гонг. Я сотворю новое человечество, оставив несколько сотен скотов для размножения, которых будут держать в клетках и водить на случки, а остальные миллионы будут совершенными и свободными. Это из них я создам империю, которая будет разрастаться, пока не охватит столько земли и столько людей, сколько я смогу вместить, и ее я положу к подножию Творца, Который не сможет отринуть мой дар. Вас я не приглашаю, Илья Петрович,— вы отказались однажды от моего приглашения, и повторного не последует. Но до конца дней своих, сидя в этой вонючей яме, вы будете об этом жалеть. Я буду кормить вас объедками со своего стола и свидетельствовать перед вами о своей силе.

— Послушайте,— произнес директор дрожащим голосом,— на вашей совести много зла. Но, если вы спасете хотя бы ни в чем не повинную девочку, вам простится многое из того, что вы сделали.

— Не вам судить, что я сделал. Позаботьтесь лучше о собственных грехах.

— Я знаю, что они никогда не простятся. Но дело ведь не во мне.

— Как же это не в вас? Без вас история Бухары не смогла б завершиться.

— Спасите девочку!

— За нее не беспокойтесь,— сказал Люппо, и бровь над его выпуклым глазом дернулась.— Ей будет уготована особая роль. Я принесу ее в жертву Хозяину, ибо она слишком напоминает мне ту, из-за которой я претерпел когда-то боль.

Лицо его вдруг исказила гримаса судороги и отвращения.

— Вы ничего не видите? — воскликнул он нервно.

— Что я должен видеть?

— Знакомого вашего. А, дьявол... Нервы ни к черту! — пробормотал Люппо и торопливо зашагал в отведенную ему избу.

Первый раз Бориса Филипповича принимали в Бухаре так плохо и давали понять, что каждый лишний кусок хлеба, который он съедает, предназначен для него. В обед отошавшая баба хмуро приносила ему тарелку пустого супа, сваренного из полуистлевших листьев капусты. Поначалу он несколько раз тыкал ложкой в несъедобное варево, где вместо мяса плавали черви, и отодвигал тарелку, но больше еды не было. Он скучал и устал от этого однообразия, но старец Вассиан до сих пор не удостоил его личной беседой. Люппо видел старца только мельком, и Вассиан держался неприступно, будто ничто их не связывало.

В соседней комнате кто-то долго и нудно вычитывал правило. Хотелось достать трубку и закурить, но Борис Филиппович боялся, что запах табака мо-

жет быть услышан. Он вышел на улицу. Был долгий летний вечер, душистый, душный и теплый. Пахло сеном, ленивые облака висели над землей, природа точно оцепенела и остекленела, мужики с тоской глядели на небо — все ждали дождя, но ничто не предвещало перемены погоды. Борис Филиппович вернулся в избу, достал из рюкзака папку и открыл ее. В папке лежал плотный конверт с фотографиями, которые он выкрал у скульптора и с которыми не расставался ни днем, ни ночью. От частого использования фотографии потерялись, но краски сохранились. Он повертел их в руках, и на губах у него появилась неприятная улыбка, глаза заблестели, дыхание участилось, он заерзал на стуле и задрожал.

Неслышно отворилась дверь, Борис Филиппович вздрогнул, повернулся и увидел старца. Резким движением Люппо скинул фотографии, и это движение не укрылось от Вассиана.

— Зачем ты пришел? — спросил старец враждебно. — Я же сказал тебе, что больше в твоих услугах не нуждаюсь.

Выпуклые глаза Люппо сузились.

— Что ты хочешь мне сказать? Говори быстрее и уходи.

— Видите ли, Василий Васильевич...

— Не смей меня так называть!

— Как вам будет угодно. Я пришел сказать вам о том, что ожидает Бухару.

— Я и без тебя это знаю.

— Вы не представляете всего, — покачал головой Люппо. — Двадцать лет вы не были в миру и не знаете, до какой степени он изменился. Никто больше не будет вас преследовать и изгонять. Даже если вы уцелеете сегодня, завтра вас разыщут и купят на корню, как купец Лопахин купил вишневый сад. На этом месте построят кемпинг, откроют охоту и экскурсии по лагерям для иностранных туристов и русских толстосумов с непременно посещением экзотического скита. А заодно организуют бордель, куда рано или поздно сбегут все ваши девицы. Это вам не какой-нибудь несчастный леспромхоз. Против этого вы не устоите.

— И это все, что ты хотел сказать?

— Нет, не все, — отдельно произнес Борис Филиппович. — Если вы захотите, то завтра на этой поляне сядет вертолет с продуктами. И будет садиться здесь каждый месяц или чаще — ровно столько, сколько потребуется. Вы получите новые ружья, патроны, порох и сети. Вы сможете наладить ремесла и торговлю, официально зарегистрируетесь, выкупите у государства эту землю и ее окрестности. У вас будет достаточно средств на то, чтобы нанять охрану, и никто посторонний не проникнет сюда и не уйдет отсюда.

— Что ты за это потребуешь? — спросил старец угрюмо. — Опять иконы?

— Нет.

— Что?

Люппо наклонился к нему, его глаза налились синевой, и, задыхаясь, он произнес:

— Чтобы вы все приняли огненное крещение Господа нашего Иисуса Христа, без которого нет спасения души. Смотрите сюда. Ну!

Резким движением Борис Филиппович приспустил брюки. Старец вздрогнул и попытался.

— На моем теле есть знак — оно свято! — выкрикнул Божественный Искупитель иступленно. — И мне, а не вам должна принадлежать здесь власть, которую вы захватили обманом. Ваша жертва — ничто по сравнению с моей.

Вассиан оцепенело смотрел на него.

— Я наследник «Белых голубей», я хранитель истинной веры и завета, своей жертвой я искупил собственный грех и грехи человеческие. И мое тело есть не подложные, а истинные мощи, которые я вам открываю.

В глазах его старцу почудилось что-то неестественно сильное и подавляющее.

— Вот он, единственный путь к спасению, — прошептал Борис Филиппович. — Другого, сколько ни мудрствуйте, нет и не будет. Последуйте за мной не

из страха и не по принуждению, но по вольному выбору, и вы станете свободны и бессмертны.

— Ты впал в безумие. Что тебе затерянная в лесах деревня?

— Сто лет назад ваши старцы отвергли нас, нынче же пришла мне пора получить все сполна и собрать жито в житницу.

— Оставь нас! — Вассиан поднялся и хотел выйти, но Борис Филиппович неожиданно проворно вскочил и совсем другим голосом заговорил:

— Иного способа спасти общину от голода и распада у вас нет. Я буду ждать до тех пор, пока вы не начнете есть друг друга и свои трупы. И помните: вертолет может приземлиться здесь по первому вашему требованию. Подумайте об этих людях, Василий Васильевич. Игры кончились — тут же дети, тут девушка, которую завлек сюда этот полоумный. Да и сам он в яме неизвестно сколько еще продержится. Неужели вы рискнете брать на себя ответственность за гибель стольких людей?

Глава V. Перебежчик

В небольшой, намоленной и увешанной иконами часовне, где в прежние времена горели всегда лампадки, а теперь не осталось ни капли масла и чадили лучины, старец Вассиан не торопясь отбивал поклоны. Рядом отрок вычитывал молитву. Больше в часовне не было никого — был тот полуденный час, когда старец уединялся в моленной. Отрок устал, но продолжал читать привычные слова, скользя глазами по старым буквам. Несколько раз старец, не оборачиваясь, поправлял его. Все было обычно и буднично. Еще один вечер, общая молитва в часовне и сон.

Ковчег Бухара плыл по житейскому морю, уже двадцатый год ведомый старцем Вассианом, и до тех пор, пока наставник направлял его через соблазны и прелести, в людях жила уверенность, что каждый из них достигнет спасительного берега. Они верили себя старцу, как большие врачу, и беспрекословно делали все, что он им велел, но никто на борту не знал, что грозный, не ведавший снисхождения, жалости и сомнения кормчий в действительности невыносимо страдал и, помимо одной, благочестивой, безупречно строгой и не признававшей никаких послаблений, жизни жил иной, тщательно ото всех скрываемой.

Эта другая жизнь начиналась для него вечерами, когда он выходил из просторной на высоком подклете избы, шел на берег озера и в лодке выплывал на маленький каменистый островок с одиноко торчащей сосной. На этом островке вскоре после своего возвышения старец велел поставить отдельную молельню и проводил там много времени, как полагали в скиту, в долгих молитвах и умерщвлении плоти, но в действительности — в душевном отдохновении и покое. Это было единственное место, где он мог расслабиться и перестать чувствовать себя наставником.

Старец разжигал костерок, кипятил чай и украдкой от всех включал радиоприемник. Он жадно слушал треск в эфире, мелодии, голоса дикторов, отзвуки спортивных состязаний и представлял далекие города и страны. Этот приемничек был единственной радостью в его небогатой на развлечения жизни, но, как ни экономил он батарейки, не позволяя себе прослушивать радио более получаса, а потом и вовсе сократив это время до пяти минут, приемника хватило ненадолго. Однако привычку ездить на остров он не утратил. Там он был предоставлен сам себе, но там же, как нигде в другом месте, он по-настоящему ощущал одиночество и заброшенность — то самое беспомощное одиночество, которое подметил когда-то в его глазах пронизательный Илья Петрович. Старец смотрел на небо бесцельным взором и с ужасом думал о том, что завтра начнется новый, похожий на тысячи предыдущих день.

И причина этого одиночества и тоски была в одном: старец Вассиан, продливший существование Бухары, человек, досконально знавший все тонкости ее богослужения, не верил в древнего византийского Бога с усеченным именем

Исус, которому отдал свою уже близившуюся к завершению жизнь. Это болело в нем рваной раной и обесмысливало все им содеянное.

Задолго до начала описываемых событий по глухим деревням Архангельской области, по Печоре и ее притокам вплоть до самого Урала ходил высокий, худощавый человек, собиравший в старых, темных избах рукописные книги. Он покупал их у ветхих старух или у их спившихся наследников, но ни тех, ни других никогда не обманывал и платил за книги сполна. Человека этого звали Василием Васильевичем Кудиновым. Он окончил Московский университет и по образованию был историком.

В ту эпоху благословенных шестидесятых годов собирание книг и икон сделалось среди интеллигенции занятием довольно модным, так что ни одна уважающая себя образованная семья без деревенского образа столичной квартиры не мыслила. Превеликое множество дипломированного жулья шаталось по безлюдным северным деревням, покупало за бесценок работы, в которых ничего не понимало, украшало ими стены и книжные полки, продавало, обменивало и сбывало товар за границу. По этой причине с каждым годом икон и книг становилось все меньше, и часто случалось, что научные экспедиции приезжали обследовать глухие края, когда все самое ценное было вывезено или же наглухо припрятано от охотников поживиться ходким товаром.

Тактика, избранная Кудиновым, была по-своему очень умной. Он ездил всегда один и, заходя в избу, никогда не начинал с прямого вопроса-просьбы, может ли хозяйка продать или обменять книгу или икону, а расспрашивал ее про жизнь, про детишек, про огород и про скотину. Василий Васильевич обладал приятным густым голосом, умел расположить к себе людей, и годами не слышавшие доброго слова женщины охотно ему обо всем рассказывали. Он выслушивал их жалобы на местную власть, обещал помочь и действительно помогал, ходил в поселковые советы, в правления совхозов и колхозов, потрясал столичным мандатом, которого по старой памяти в провинции боялись, и выбивал для пенсионеров дрова, комбикорма, сено для коровы и деньги на ремонт покосившихся изб. Когда же совестливые старухи хотели его отблагодарить, он просил за труды старые книги, подробно объясняя, что они нужны ему не для наживы или домашнего украшения, а для научных целей.

Кудинов выезжал обычно в конце весны и странствовал до самых холодов. Ночевал он где придется, ни дальние расстояния, ни отсутствие дорог его не смущали, и он забирался в самые глухие края, на стыки районов и областей, в междуречья, где приезжих не видели годами. Он был упрям и принадлежал к той редкой, почти уже исчезнувшей в наше время породе людей весьма цельных, требовательных и к себе, и к другим, не признававших никаких компромиссов и не имевших снисхождения к человеческой слабости.

Видимо, поэтому однажды у него вышел конфликт с директором института, после того как тот воспользовался в своей работе кудиновскими материалами без указания на источник. В сущности, это был рядовой случай, но для категорически мыслящего Василия Васильевича он оказался ударом не столько даже потому, что ему было жаль своего труда, сколько потому, что принес разочарование в людях науки, которых до этого он боготворил. Самолюбивый ученый не пожелал слушать добрых советов и увещаний, будто бы в научном мире все так делают, интеллектуального воровства не потерпел и от влиятельного шефа ушел, закрыв для себя тем самым путь к совершению научной карьеры и унеся стойкое отвращение к академической среде.

Сокровенная кудиновская мечта сказать свое слово в науке, однако, не угасла. Василий Васильевич устроился на ни к чему не обязывающую его работу внештатного корреспондента в журнале «Наука и религия», писал раз в месяц дурацкие статейки на темы атеистической морали, а весной продолжал отправляться в одиночные экспедиции в поисках материала для научной работы, которой хотел потягаться мир.

Он был неутомим и, случалось, действительно возвращался с редкой находкой, но, в общем, удачи выпадали ему нечасто. С каждым годом открытые северные старики становились все более хмурыми и необщительными, все ре-

же его пускали в дом, и не было речи не о том даже, чтобы купить или получить в подарок книгу, но попросить кружку молока. Порой после долгих бесплодных дней и многих километров таежного пути к нему приходило разочарование и мелькала мысль завязать с этими странствиями, остепениться и пойти на поклон к шефу, который, чувствуя некоторую свою вину, не раз делал косвенные предложения о заключении мира на выгодных для гордеца условиях. Но он все откладывал и откладывал окончательное решение до тех пор, пока однажды в отдаленной деревне печальная беззубая старуха, зорко оглядев заросшее бородой кудиновское лицо, не спросила:

— А ты, батюшко, часом не поп?

Кудинов покачал головой.

— Жаль,— сказала старуха.— Иконы — что? Просто доски. Я бы их тебе отдала, да и книги отдала бы, если б ты старика моего отпел. А может, ты поп все-таки, да скрываешься? Так ты не таись, я никому сказывать не буду.

И тогда у корреспондента атеистического журнала сверкнула замечательная мысль, такая простая и очевидная, что он удивился даже, как она не пришла ему в голову раньше.

Всю зиму Кудинов исправно ходил в церковь, приглядываясь к тому, как служат священники, он внимательно наблюдал за всеми их действиями, а в особенности за требами, сверяя все происходящее с настольной книгой священнослужителя, взятой им в редакционной библиотеке. И то, что поначалу виделось таким мудреным и сложным, оказалось в конце концов достаточно простым.

В следующий свой сезон он отправился за книгами в новом качестве, выдавая себя за опального священника, собирающего пожертвования на подпольную церковь в городе Галиче. Первый раз, когда он надел рясу, его вдруг тронуло холодком и мелькнуло в голове, что все это не просто так и за свой обман он расплатится когда-нибудь по самой высокой цене. Но ради той цели, которую самозванец перед собой поставил, он был готов пойти на все и тревожное предчувствие отогнал.

Он крестил младенцев и отпевал стариков, его приглашали, когда заболела скотина, он служил молебны за здоровье и панихиды. Перед ним распахивались все прежде наглухо закрытые двери: из подполья, из старинных кованых сундуков и деревянных ларей ему доставали книги и образа. И в глазах этих старух было столько немой благодарности, что черствое сердце собирателя смягчалось и, уходя из покосившихся, обреченных на скорую гибель вековых изб, от женщин, десятилетиями не видевших в медвежьих углах пастырей бросившей свой народ Церкви, он думал о том, что если Господь и в самом деле существует, то совершенные им таинства обретут спасительную силу и не будут поставлены в вину ни ему, ни тем бедным, никому не нужным старухам, которым он дарил надежду и утешение.

Со временем он даже перестал считать себя самозванцем, и ему действительно стало казаться, что когда-то он служил в городе Галиче и был уволен из-за происков местной власти. Он претерпевал на своем пути немало приключений, случалось, его разоблачали, забирали в милицию и даже пытались привлечь по статье, но благодаря редакционной ксиве и непосредственному заступничеству из Москвы, где о его маскараде знали и находили затею очень забавной, все эти перипетии заканчивались счастливо. Лжеиерей кочевал из района в район, время от времени снабжая редакцию заметками об атеистической работе в глубинке.

И все-таки настоящая удача к нему так и не пришла. Все, что он находил, уже было сотни раз исследовано и описано, в лучшем случае он мог рассчитывать только на частности. А в то, что истинная наука, как говаривал его провинившийся учитель, именно из частных и состоит, безрассудный ученик так и не уверовал и надежды совершить великое открытие не терял.

Однажды во время своих странствий, разговорившись с одним рыбачком, Кудинов услышал о деревне со странным названием Бухара, затерянной далеко в тайге. Рыбачок это знал наверняка, ибо дед его был православным священником, который долгое время возле Бухары служил, желая обратить ее жите-

лей в свою веру. В этой-то Бухаре, как сказал ему старик, хранится громадное количество книг, но воспользоваться этим не может никто, ибо сектанты никого к себе не пускают.

Словоохотливый рыбарь рассказал Василию Васильевичу немало баек о счастливой участи скита, избежавшего продрозверстки, о травнице Евстолии и сгоревшем коновале. С той поры Бухара сделалась целью Кудинова, и он решил туда проникнуть, но не как ученый, а сочинив для этого случая подходящую легенду, чтобы расположить бухарян к себе. Все это было с его стороны большим риском. Бог знает, чем ему грозило разоблачение: сектанты, судя по всему, были люди суровые и обмана не потерпели бы, но ничто не могло его остановить.

Глава VI. Подлог

Поначалу Кудинов чувствовал себя в Бухаре не то цивилизованным путешественником, попавшим в плен к туземцам, не то лазутчиком, заброшенным во вражеский лагерь. Благодаря его замечательной и ничем не объяснимой осведомленности бухаряне полуфантастическому рассказу о енисейском ските, откуда он якобы был родом и куда чудесным образом докатилась слава их родины, поверили. Однако выстаивать долгие томительные службы в темной часовне, питаться скудной пищей, соблюдать все посты и разделять повседневные тяготы лесной жизни оказалось невероятно тяжело. Много раз ему хотелось все бросить и исчезнуть, но он понимал, что другого такого шанса судьба не предоставит ему нигде и никогда. Он полагал сначала, что проживет в скиту несколько месяцев и этого будет достаточно, но чем больше жил среди затворников, тем меньше его собственная цель казалась ему желанной.

Он полюбил Бухару, ее избы, озеро, тайгу, он полюбил этих людей, которые были близки самой его страстной, непримиримой и непрощающей натуре. Они были отвергнуты большим так же, как был отвергнут когда-то он, и, как он, не пошли на поклон к сильному мира сего. В сущности, Василий Васильевич сделался раскольником задолго до того, как провидица судьба привела его в скит. Но тогда же он понял, до какой степени истончилась стена, отделяющая бухарян от мира, как трудно им выжить в стране, где население более веровало и ждало пришествия коммунизма, нежели Христа, где, как ему казалось, те самые люди науки, к которым он имел несчастье принадлежать, для удовлетворения научных амбиций и интеллектуальных потех превращали в объект изучения то, что было для других святыней. Так на смену прежней честолюбивой мечте вынести из Бухары все, что в ней было, и прославить себя в научном мире пришла другая, быть может, более достойная: этому выносу воспрепятствовать и от научного мира Бухару уберечь.

Он мог гордиться собой — ему удалось сделать все и даже больше, чем он намеревался. Он остановил самый ход истории, и никто не был властен ему помешать, при нем Бухара поднялась и окрепла. Но, когда на двенадцатом году Вассианова правления в соседнем поселке появился молодой, энергичный директор и попытка поставить скитских детей ходить в школу, старец понял, что у него появился достойный противник. Илья Петрович с его верой в науку и прогресс, с его увлечениями и убеждениями принадлежал к миру, который нынешний Вассиан ненавидел, наступлению которого изо всех сил противился, ибо для него образованные люди были не абстракцией, но той средой, которую он знал и от которой претерпел незабытое и непрощенное зло.

Так потянулись новые долгие годы — старец ждал, когда директор сломается, сопьется, уедет: много их здесь поменялось на его веку — одни отработывали три года по распределению, другие не выдерживали и этого срока. Но Илья Петрович никуда не уезжал, и Вассиану порой казалось, что он не выдержит и сбежит первый или же однажды придет к Илье Петровичу и откроет опостылевшую ему тайну самозванничества, всласть наговорится с ним обо всем и послушается радио.

От проведенных им без веры сотен часов в молитвах, от безблагодатных постов он чувствовал себя невероятно утомленным. Он был болен, тосковал, и ему хотелось хотя бы на время вырваться отсюда и перестать таиться. Ему хотелось вернуться в мир, из которого он давно ушел, получить от этого мира какую-нибудь весть, снова услышать море звуков, треск и шорох в радиозэфире. Но откуда было этому взяться? Его окружали замкнутые, умные и хитрые люди, следившие за каждым его шагом. И казалось ему порой, что никакого другого мира и вовсе не существует.

Но однажды случилось невероятное. Поздним осенним вечером он шел по лесной дороге к озеру, как вдруг его окликнул незнакомый голос:

— Василий Васильевич?

Старец вздрогнул и впился глазами в вопрошающего, но чистое, гладкое лицо осталось совершенно безмятежным. Никогда раньше этого человека Вассиан не видел, и знать его тот не мог. Старец хотел повернуться и пойти дальше, однако неприятный высокий голос спокойно и даже как-то буднично продолжил:

— Вы меня не знаете, это верно. И я вас тоже. Но я вас вычислил. Ваша ничем не оправданная ревнивая неприязнь к ученым заставила меня подозревать, что здесь что-то нечисто.

Старец не двигался и гневно смотрел на него.

— Я аплодирую вашей стойкости и предлагаю вам заключить маленькую сделку. Я обещаю хранить вашу тайну и буду помогать вам. Вы же, в свою очередь, будете позволять мне приходить сюда, когда мне заблагорассудится, присутствовать на богослужении и жить в скиту столько, сколько я захочу.

Вассиан молчал.

— Василий Васильевич, мне не надо от вас ничего. Я не ученый и не буду посягать на вашу интеллектуальную собственность — меня интересует лишь кое-что из духовного опыта и дисциплины бухарян, — говорил между тем незнакомец, нимало не смущаясь пронзительного взора, которого не мог выдержать ни в скиту, ни в миру ни один человек. — Вы можете абсолютно доверять мне. Никто не знает вашей тайны. Напротив, кое в чем я смогу быть вам полезным. Другой подобной возможности у вас не будет никогда. Скажите мне, не нужно ли вам чего-нибудь?

Старец хотел повернуться и уйти, но против его воли губы разжались и он произнес:

— Принесите мне батарейки для радиоприемника.

Неведомый Вассиану пришелец идеально подошел для той роли, которую сам себе назначил. Он не только привозил в Бухару батарейки, газеты, научные журналы — он привозил самый дух оставленного Кудиновым мира, толковал на свой лад происходящие в нем перемены, и мало-помалу старец полюбил беседовать с этим немного циничным, но остроумным человеком. Бывший ученый изжил в себе многое из того, чем был наделен от рождения, но одно в нем осталось и было неистребимо — он был любопытен.

Там, в огромной стране, умирали и нарождались новые вожди, страна воевала, расправлялась с инакомыслящими и инаковерующими, она изгоняла тех, кто не хотел смириться с ее ложью, она по-прежнему дремала, но под спудом этой дремы ощущалось таинственное, неведомо во что могущее вылиться течение. И, размышляя над всем этим, старец думал порой, что, быть может, когда-нибудь его Бухаре надлежит еще сказать свое слово в человеческой истории. С некоторых пор он стал глядеть на историю как на осуществление Божьего замысла о человеке и человечестве, полагая, что судьба каждого этому замыслу должна быть подчинена, и даже свое самозванство рассматривал как исполнение этого замысла.

Однако шло время, ничего не происходило, только с каждым годом он все острее чувствовал, что община устала и нет у нее больше сил сопротивляться течению жизни. Директор школы наступал, Бухара выходила из повиновения, и бунт был неизбежен. Надо было идти либо на какие-то послабления, либо на чрезвычайные меры.

Однажды у него вышел разговор с Борисом Филипповичем. Это произошло вскоре после той страшной грозы на Илью-Пророка, когда странным и необычным образом уцелела девочка из леспромхоза.

— Что вы об этом скажете? — деловито осведомился гость.

— Господь подал знак, но люди по своим грехам и маловерию не могут его распознать.

— Их следовало бы к этому подтолкнуть.

— К вере подтолкнуть нельзя, — сказал старец печально.

— Отчего же? — возразил пришелец. — История часто доходит до нас в виде мифа, и иногда бывает неплохо эти мифы вспоминать и обращать в свою пользу.

— Выражайтесь яснее! — сказал Вассиан раздраженно.

— Возьмите, например, историю с травницей. Никто не знает теперь достоверно, была ли она на самом деле святой, или же обыкновенной смазливой бабенкой, которая бегала на свидание с полубовником, а потом изменила ему и была из ревности убита. Но какое это имеет значение? В памяти у людей сохранилась красивая легенда. Ее мощи, будь они теперь найдены, могли бы послужить для благого дела.

— Вы знаете, где они лежат?

— Я знаю, где они *могли* бы лежать.

— И дерзнете совершить подлог? — спросил старец, помолчав.

— Почему нет? Вас смущает нравственная сторона этой истории? Но чем ваше жестарчество лучше? Будьте последовательны, Василий Васильевич. Сказавши «а», найдите мужество сказать «б».

Старец пристально посмотрел на него, но понять что-либо в непроницаемых глазах было невозможно, и Вассиану вдруг сделалось страшно. Он ощутил в душе какой-то мистический холодок, подобный тому, что испытывал иногда во время самых торжественных служб, когда читал Евангелие.

В тот же вечер он отправился на островок. Но против обыкновения не развел костер, а зажег свечи и стал молиться. Это был первый раз, когда он молился не на людях, выполняя как бы необходимую работу, а в одиночестве молился робко и горячо. Старец мысленно просил прощения и благословения у бедной женщины, которую поминали они в своих ектиниях, за то, что теперь желал воспользоваться ее именем. Он был искренен и растерян и все время глядел на небо и просил знака. Он ждал этого знака без малого двадцать лет, ждал осуждения или одобрения своего обмана. Ему казалось в эту минуту, что может произойти все, что угодно, — разверзнуться небо, упасть ракета и поглотить грешника. Смутно мерцали звезды, ночь была лунная — Вассиан ждал. Он был готов уверовать, если бы только чудо произошло и кто-то подал ему знак. Но небо молчало, и не было никакого просвета или разрыва.

В далеких избах погасли керосиновые лампы, Бухара отошла ко сну, и два лазутчика отправились к тому месту, где ударила в дерево молния. Они шли скорым шагом по лесной дороге. В небольшом рюкзаке у одного из них лежали кости безвестного узника ГУЛАГа, которым надлежало стать прославленными и чудодейственными. Преступники подошли к сосне и стали копать. Несколько раз лопата натыкалась на камни — они были разбросаны здесь повсюду, и план выкопать ложную могилу не удавался. При внимательном рассмотрении самозванцы обнаружили нечто вроде небольшого холмика, окруженного валунами. Действовать надо было очень осторожно и быстро. Августовская ночь едва ли длилась больше двух часов. Они сняли дерн и углубились в яму. Копали больше часа, и все это время тревожное чувство не покидало старца. Ему казалось, что теперь он вторгается в область запретного, неизвестного. И очевидно было, что после этого обмана надо будет уйти. Неожиданно лопата звякнула о что-то металлическое. Люппо достал фонарик.

— Черт возьми! — воскликнул он. — Там, кажется, кто-то уже лежит.

Старец нагнулся и увидел завернутый в промасленную холстину ящик. Они поднесли фонарь и подцепили крышку.

В следующее мгновение Вассиан упал ниц перед разверстой могилой. Он обхватил руками голову и сжался в комок: вера, так долго удерживаемая в глу-

бине его души, хлынула, как кровь из горла. Он в исступлении целовал землю и твердил: «Господи, помилуй, Господи, помилуй»,— и так без счета. Напарник его стоял в стороне, он глядел на распростертого неофита большими задумчивыми глазами, и его влажные губы шевелились.

— Интересно,— пробормотал он,— какова, по-вашему, вероятность подобного совпадения? Один к миллиону?

— Изыди от мене, сатана! — гневно блеснули глаза старца.

— Да погодите меня гнать,— пробормотал будущий Божественный Искушитель.

Он осветил фонариком вокруг и еще раз оглядел найденный в яме ковчег. Луч выхватил подрубленные корни сосны и засохший срез.

— Смотрите сюда! — сказал он, толкнув коленопреклоненного старца. — Сдается мне, что нас кто-то опередил.

Глава VII. Харон

Неслышно вошел келарь и стал равнодушно глядеть на молящегося.

— Что тебе? — спросил Вассиан, поднимаясь с колен.

— Все ждут твоего слова,— сказал келарь негромко, но по телу наставника пробежал озноб: он догадывался, но никогда не думал, что дело дойдет до того, о чем спокойно и буднично объявил низенький невзрачный мужичок.

— Этого нельзя делать,— произнес старец.— Такая жертва никому не нужна.

Келарь исподлобья смотрел на него.

— Ты чужой для нас,— произнес он тихо.— Ты был всегда чужим и никогда нас не понимал. Ты жалеешь нас как человек, в котором нет веры, и жалость твоя, яко лжа.

— Как ты смеешь?!

— Я слышал твой разговор со скопцом. Я знал давно, что ты самозванец, но я тебе не мешал, потому что ты делал то, что должен был делать. Я следил за каждым твоим шагом: как ты слушал богомерзкие голоса, вместо того чтобы молиться, как принял чуждого нам человека и позволял ему присутствовать на наших молитвах, как, омраченный неверием, ты разрыл землю в святом месте и хотел подкинуть туда чужие кости. Если бы ты хоть раз оступился, я бы убил тебя. Но все, что ты делал, ты делал для блага Бухары. Теперь ты должен будешь сделать последнее. Не бойся за них — они более любят ту жизнь, чем эту. За себя решай, как хочешь. Там, в часовне, есть потайной выход. Когда все заволочет дымом, ты сможешь уйти. Но если ты не сделаешь того, что должен, ты знаешь, что тебя ждет?

— Ты хочешь меня испугать?

— Нет. Я только хочу, чтобы ты сделал положенное. С тобой или без тебя это все равно произойдет. Мы не можем более хранить нашу веру в чистоте и должны последовать своему завету. И ты должен будешь им объявить, что час пришел. Посмотри на улицу.

Старец выглянул в окно: перед часовней собралась вся Бухара — сорок человек, ровно столько, сколько без малого триста лет назад сюда пришло и осталось здесь жить. Маленькое и злое солнце зависло над их головами, но они как будто не замечали его, лица их истончились, потемнели от голода и казались плоскими, как изображения на иконе.

— Они действительно этого хотят?

— Да! — выкрикнул келарь.— Они хотят спасти свои души. Им нечего больше тут делать. Господь призывает их к Себе.

— Нет,— качнул головой старец,— этого хочешь только ты. А Господь, кажется, просто растерян и не знает, что Ему с нами делать.

— Уходи,— сказал келарь, нахмурившись.— Забирай все, что хочешь, и уходи. Ты больше не нужен здесь, ибо только станешь смущать людей. Ты хо-

чешь спасти их тела, но если продашь хоть что-то, если вступишь сюда деньги, не удержишь их и погубишь их души.

— Ты, кажется, хорошо понял то, что услышал сегодня, — промолвил старец печально. — Но ничего не понял во мне. Зато я тебя понял.

Келарь угрюмо взглянул на него.

— Все эти годы за моей спиной ты правил людьми. Я был только твоей ширмой, и даже меня ты смог обмануть. Это ведь ты подложил под сосну ковчег. Но неужели ты не боишься, что за подлог ты будешь гореть в аду?

— Это не подлог. В ковчеге лежат мощи Евстолии.

— Откуда они могли там взяться?

— Их положил туда убийца, — нехотя сказал келарь. — Я знал место в лесу, где они зарыты.

— И все годы молчал?

— Я ждал, как она велела, знака и перенес ковчег под сосну, потому что так было угодно Богу. Он вел мою руку. И я сделаю все, чтобы довести их до спасения и не уклониться ни на один из соблазнов.

— И здесь то же самое, что и там, — пробормотал старец тихо. — Все только и делают, что друг друга обманывают.

— Не смей богохульствовать! — выпрямился келарь. — Здесь — воля Господа.

— Которую каждый толкует на свой лад. Что ж, Он вел тебя, будем считать, что поведет и других.

— Что ты намерен сделать?

— Я дам им свободу выбора. Пусть каждый решает за себя сам.

Келарь хотел что-то сказать, но, не дожидаясь возражений, старец вышел.

Стоящие перед избой люди смотрели на него неподвижными слезящимися глазами, и, глядя в эти глаза, он понял, что жизнь уже оставила их. Он медленно переводил взгляд с одного лица на другое, и все они, молодые и старые, одинаково изможденные, были уже неотмирными. Он искал хотя бы одно живое лицо, за которое можно было бы уцепиться, но не находил — даже посеревшие от голода младенцы казались старичками. И его вдруг пронзило острое осознание своей вины — он снова чувствовал себя не старцем, но историком Василием Кудиновым, который двадцать лет подряд с невероятным успехом проводил научный опыт по остановке истории и теперь пожинал горькие плоды этого эксперимента.

Вместо того чтобы спасти Бухару, он погубил ее каким-то хитроумным способом, отняв у этих людей свободу и возможность следовать своей воле. Предложи он им сейчас выбор, привыкшие к полному послушанию, они бы не вынесли этого бремени. В тот момент ему захотелось упасть на колени и покаяться перед ними за свой обман, пусть бы побили его камнями, как лжепророка, пусть кинули бы в яму или привязали к дереву на съедение мошке. Но покаяние его — кому оно было нужно?

Далеко над лесом появилась светящаяся точка, многократно отразившаяся в сорока парах глаз, послышался гул, и когда ракета-носитель вонзилась в стратосферу, то Вассиану почудилось, что небо дрогнуло и как будто приоткрылось. Там, в полоснувшем глаза разрыве, на мгновение он увидел невыносимо яркий свет и отблеск иного мира, где жил сочиненный некогда корреспондентом атеистического журнала мужичонка с помятыми крыльями, которого посылали в особо трудных случаях на помощь неопытным ангелам. Гул ракеты стих, глаза у всех погасли, но старцу вдруг показалось, что все на Земле не имеет смысла, если этого мира не существует и эти люди не могут в него войти. И не нужно было никаких чудес, чтобы уверовать: все оказалось очевидным, стоило только эту завесу приоткрыть. В сущности, то, что они хотели сделать, было просто эвакуацией самым быстрым и безопасным способом из погибельного, рушащегося мира. И даже если оно противоречило установленным Небом канонам, все равно этих беженцев там не могли не принять по законам обыкновенной гуманности и милосердия.

А люди стояли под солнцем и ждали помощи, как солнечными весенними днями оставшиеся на отколовшейся и уменьшающейся в размерах льдине рыбаки ждут вертолета, до рези в глазах всматриваются в белесое небо и вслушиваются в бесконечное пространство.

Старец обнял взглядом их всех, посмотрел в глаза каждому и негромко — но в наступившей тишине это прозвучало пронзительно и отчетливо — произнес:

— Потерпите еще чуть-чуть. Скоро вы будете со мною в раю и узрите Бога Живаго.

Глава VIII. Спасатель

Август перевалил за середину, начался Успенский пост, но по-прежнему стояла жара. Из колодцев ушла вода. Дождей не было уже больше месяца, не уродилось ни грибов, ни ягод, птицы и звери двинулись на север, днем воздух раскалялся, и даже ночь не приносила долгой прохлады. Быстро высыхала на траве и листьях роса, и нечего было рассчитывать на то, чтобы сделать в такое лето запасы на долгую северную зиму. Лес стоял черный и страшный в то лето, когда прошло ровно семь тысяч и еще полтысячи лет от сотворения мира.

В картофельной яме, отделенный от воли толстыми бревнами и дощатым накатом, закинув голову к небу, жадно молился Илья Петрович. Он не знал никаких молитв и молился своими словами, истово и стремительно, боясь, что не успеет.

«Господи, спаси ее, — твердил он, — никогда и ни о чем я не просил, но не попусти ее смерти. Если Тебе нужны жертвы, то возьми меня вместо нее. Исус Ты или Иисус, признаешь меня своим или нет, но сохрани девочку, как хранил Ты ее столько лет».

Он чувствовал, что там, наверху, готовится совершиться что-то ужасное, и собственное бессилие угнетало его. Никто из приносивших еду не заговаривал с ним, никто больше его не посещал. Он кричал, что объявляет голодовку, звал старца, осыпая его руганью и проклятиями, которые неизвестно как могли появиться на устах интеллигентного человека. Ему нечего было терять, он требовал, чтобы его убили, распяли или сожгли, — все было напрасно.

Но однажды ему показалось, что кто-то стоит и слушает его.

— Ты здесь? — закричал Илья Петрович. — Что же ты не идешь? Или ты трусил? Ты боишься поглядеть мне в глаза? Ты понял, что завел всех в тупик, потому что ваша вера всегда была тупиком! Вы выродились! То, что было хорошо триста лет назад, нынче жалко. Но ты трус и боишься признать поражение. Я верил в вас, я был готов положить для вас свою жизнь, а вы оказались миражем. Вы жаждете только новой крови и для того завлекли сюда обманом невинную и чистую душу. Вампиры! И ваш Бог, он тоже вампир. Он высосал из вас всю кровь. Возьмите меня вместо нее! Я не осквернен ничем, кроме собственной слепоты и доверчивости, но таких грехов у Бога нет. Да падут на ваши головы проклятия, да не примет вас ваше небо, да сгорят ваши души в аду, если вы погубите девушку!

Он кричал и бил кулаками по стенам, пока наконец не обессилел и провалился в забытьи. Никого не было, и Илья Петрович вдруг так явственно ощутил это одиночество, точно один остался во всем мире. Все куда-то шли, не стало больше людей на земле, и ангелы, и демоны на небе сложили оружие и примирились: брошенная, позабытая земля неслась сквозь черное пространство со своим единственным пассажиром, до которого никому не было дела. Битвы, страдания и страсти закончились — все, кому было суждено спастись, спаслись, кому погибнуть — погибли, и только с ним не знали, что делать, и оставили здесь. Он позвал матушку и, не услышав никого, тихо, обиженно, как ребенок, заплакал.

Вдруг послышались чьи-то шаги. Илье Петровичу стало стыдно, что его рыдание могло быть услышано, и он затих.

— Эй! — негромко позвал его незнакомый голос. — Ты свободен.

Узник встрепенулся и крикнул:

— Кто там?

Ответа не последовало, однако в темноте он заметил, что обычно задвинутая крышка лежала неплотно, хотя, когда он засыпал, никакого света сверху не падало. Он приподнялся и толкнул ее: крышка приоткрылась, и директора окатило свежим воздухом. Не веря в происходящее, он с трудом, цепляясь за выступы в стене, вылез из ямы. Рядом лежала котомка, а в ней спички, несколько вяленых рыб, соль, сухари и картошка.

Кто был его освободитель, не было ли здесь новой ловушки, друг или враг дарил ему свободу, человек или ангел, Илья Петрович не знал, но понимал одно — нужно идти как можно быстрее за помощью к людям.

Никем не виденный, в темноте он покинул Бухару и скорым шагом пошел по направлению к Чужге. Он не разрешал себе останавливаться на ночлег и изнурял себя дорогой, как изнурял в темнице молитвой, прикладывая голову на два-три часа и снова шел, и все равно ему казалось, что он идет слишком медленно.

После нескольких недель заточения ноги плохо слушались, он падал, поднимался и снова шел. Жгучее солнце светило в глаза, и ему казалось, что он похож на весельную лодку, выгребаящую против течения. Иногда над головой пролетали самолеты, след их таял — он узнавал дорогу, по которой несколькими месяцами раньше вел Машу, и теперь чувствовал себя предателем оттого, что уходит один и оставляет ее в опасности.

Он ускорял шаг, почти бежал по этим шпалам, от которых в разные стороны расходились усы и лежневки, терял дорогу и снова возвращался. Но поселок был далеко, а сил с каждым днем оставалось все меньше, и опять ему казалось, что на земле он один.

Обессилевшего, упавшего на рельсы, Илью Петровича подобрала ехавшая на «пионерке» поселковые и отвезли в Чужгу. Косматый, искусанный мошкой, он был страшен и напоминал беглого зека. Днем он отсиделся на пилораме, вдыхая запах свежего дерева, а под покровом ночи прокрался к знакомому дому на окраине поселка, где возле магазинчика толпился народ и бывший глава «Сорок второго» вместе с женой отпускал товар.

Продавец критически поглядел на него и велел жене идти топить баню.

Всю ночь друзья сидели на окраине Чужги под рев мотоциклов, ругань, пьяные песни и продавали водку подвыпившей братве, причем многим приходилось давать бесплатно.

— Лидпалять,— сказал хохол горестно.

Когда все страждущие насытились, он выслушал историю, рассказанную ему узником, но, к возмущению директора, сказал то же самое, что и Борис Филиппович:

— Лыши их, Илля. Хай що хотять, те й роблять.

— Там моя ученица.

— Раньше треба було думаты про свою ученицю.

— Она заложница, а заложников во всем мире освобождают, чего бы это ни стоило.

— И як ты соби це уявляеш?

— Пусть пошлют милицию, десант, армию — что угодно!

Хохол вздохнул и налил себе из бутылки.

— Мынулого року выдкололась крыжина з рыбаками. Чоловик двадцять чи тридцять. Треба було послаты вертолит. Послалы. Вин годину пролитав, тай и все. Довше шукаты не став, грошей не було. Загинулы вси.

— Сколько это будет стоить? Дай взаймы!

— Кыбы я продав все, що маю, ледве выстачило бы грошей на дорогу туды. Так що забудь их, Илля. Хочеш, продавцем тебе до себе визьму?

Директор молча поднялся.

— Де йдеш? Тоби видлэжатыся треба. Ты подывысь на себе — сами мощи, а не чоловик. Кидь даколы треба помочи, що зможу — дам.

Илья Петрович вышел из дома. Мужчины, женщины, старухи, дети шли по улицам, разговаривали, ругались, что-то покупали, но больше только глядели и купить не могли. Они жили плохо, очень плохо, но худо-бедно жили, и с голоду никто из них не умирал. А где-то там в тайге погибала целая деревня.

Всю следующую неделю он обивал пороги в Чужге и доказывал, требовал, убеждал, но никому ни до чего дела не было. Те люди, которые некогда приглашали его работать в райкоме партии, сидели на высоких должностях в новых органах власти и говорили с ним через губу, а то и вовсе гнали прочь. Снова сбывалось то, что говорил Борис Филиппович, и казалось порой беглецу, что истина и ложь поменялись в мире местами, сбываются лжепророчества, а пророчества не исполняются — все бессмысленно, и спасти не удастся уже никого.

Он поехал в Огibalово, некогда закрытое и таинственное место, а теперь известное всей стране. Но известность не принесла космодрому удачи. Там были те же разруха и разворуха, что и в прочих местах преображенного Отечества. На летном поле стояло десятка два вертолетов. Скучающие летчики сидели и покуривали, с интересом и, как казалось рассказчику, с сочувствием слушали его повествование.

— Ну, мастак ты, дядя, сказки рассказывать, — не выдержал наконец один из них.

— Помогите им! — взмолился он.

— Заплатишь — полетим, а так, извини, батя, не выйдет.

— Что же мне теперь делать?

— Жди! Будет оказия — полетим.

Он сел на летное поле и уснул. Изредка взлетали и приземлялись вертолеты, поднимая кучу мусора, слонялись голодные собаки. Сколько так прошло времени, директор не знал — ему снова казалось, что он сидит в гнилом срубе. Жирные мухи ползали по лицу, его прогоняли, но он снова приходил, и в конце концов его оставили в покое.

Потом дали в руки метлу и заставили мести дорожки — все повторялось на бесконечной спирали жизни.

А жара не спадала, летчики одуревали от духоты и пили водку. Но однажды вечером что-то переменилось.

— Эй, батя! — крикнул один из них. — Тебе, похоже, повезло. Вышел на связь клиент в сорок втором квартале. Через час вылетаем.

Глава IX. Лестница

С утра в Бухаре топились бани. Дым валил из окон, из дверей, из щелей между бревнами, и издали можно было подумать, что пожар в деревне уже начался. Но до огня оставалось еще несколько часов, и люди делали последние дела: мыли дома и готовили одежду, доставая из древних ларей и сундуков самое дорогое. В их движениях не было обреченности, напротив, чувствовалась небывалая сосредоточенность. Никто не говорил между собой о том, что произойдет вечером, в светлых утомленных глазах наступило успокоение.

К обеду деревня опустела. Замерла и природа, ничто не колыhalось ни в воздухе, ни в воде, ни на земле: гладкое озеро лежало окруженное лесом и хранило сонный покой. И только один человек в Бухаре находился в страшном волнении.

Борис Филиппович ждал вертолета. Накануне у него пропали колдаевские фотографии. Люппо перерыл все в избе, так ничего и не нашел, и его охватил мистический ужас. Этот ужас в последнее время все чаще проникал в душу Божественного Искупителя. Нечто непредвиденное стояло на его пути и опрокидывало все замыслы и расчеты — и этим непредвиденным был элемент случайных на первый взгляд совпадений, которыми была переполнена его жизнь.

Как некогда Илья Петрович ломал голову над тем, что произошло у межевой сосны — было ли это чудом, обманом или невероятным совпадением, так и Люппо теперь не мог уразуметь, почему люди, которых он использовал в своих целях, сталкивались в громадной стране и цеплялись друг за друга, как шес-

теренки в часах. Точно был кто-то еще, незримо направлявший ход жизни по своей воле, и в исчезновении фотографий Борис Филиппович увидел свидетельство этой воли и предостережение.

Он долго не мог уснуть. В избе было душно, зудели жадные комары, только под утро навалился тяжелый и муторный сон. Ему приснилось, что сектанты завели его в лес, привязали к дереву и оставили так до тех пор, пока тело не распухнет от укусов и он не сойдет с ума от этой пытки. Натренированное воображение сластолюбца даже во сне мигом представило все до буквального ощущения. Он чувствовал веревки, режущие нежное, холеное тело, и ему стало физически дурно при мысли, какая ужасная участь может его поджидать. Потом ему привиделся Колдаев с пожелтевшим лицом и неподвижными глазами. Борис Филиппович хотел проснуться, но сновидение было сильней. Он видел чердак в ленинградском доме и снова ощущал страшную боль в паху. От этой боли он заворочался: кто-то стал его трясти. Люппо с трудом раздвинул слипшиеся веки.

— А, это ты? — проговорил он облегченно. — Как хорошо, что ты меня разбудил.

— Пойдем, — сказал Харон, легонько его толкнув. — Тебя хочет видеть старец.

— Зачем я ему?

Келарь ничего не ответил, и Борис Филиппович поежился. Несмотря на летний зной, ему стало зябко. Он никогда не обращал внимания на этого угрюмого человека, но сегодня что-то необычное почудилось Люппо в поведении эконома. То ли был он непривычно чисто одет, то ли взгляд его был пронзителен, но Божественного Искупителя охватил страх, бывший как бы продолжением ночных кошмаров.

Ему подумалось, что непостижимым образом этому человеку известно о нем все, начиная от того жаркого полуденного часа, когда на чердаке в доме на Грибоедовском канале расвирепелый дворник кастрировал жадного до острых наслаждений молодого насильника, и до сегодняшних сокровенных мыслей и тайн скопца.

Об этой стороне жизни Бориса Филипповича не знал никто. Лишь наиболее приближенные и доверенные последователи учения постигали с его помощью, что потеря детородного органа не означает угасания чувственного влечения, а, напротив, делает его изысканнее и тоньше. Он учил апостолов ценить не само удовольствие, но его оттенки, и кто знал, сколь изощрена была фантазия гладколицых евнухов, обладавших в сладострастном воображении любимыми женщинами и предающихся в мыслях тайному разврату. Этот разврат с годами сделался основной целью жизни Бориса Филипповича. Он был беспределен, требовал новых фантазий, и, пресыщаясь одними, Божественный Искупитель жадно искал других. Он оскоплял не только мужчин, но и женщин, калечил их тела, отрезая груди и точно вымещая таким образом свою физическую несостоятельность. Теперь для полноты наслаждения и мести ему нужна была так похожая на изнасилованную им дочь дворника скитская святая — Маша. Он был скопческим христом — ей надлежало стать богородицей.

Он давно знал, как это произойдет, и вождедел этого дня. Большая светлая комната, наполненная братьями и сестрами в длинных белых одеждах. Посреди раздетая девственница, сидящая в чану с теплой водой и иконой Нерукотворного Спаса в руках. Эту девушку долго готовили, она глубоко набожна и восприимчива, ее окружают уважение и почет. Она знает, что предназначена Богом для особых целей, и готова к тому, что сейчас совершится что-то необыкновенное. А вокруг горящие лица, радения, иступленные выкрики, вот-вот накатит святой дух, и тогда отрежут ножом левую грудь девственницы, искромсают на кусочки и станут причащаться живым телом скопческой богородицы. Вот до чего не дожил бедняга-скульптор, вот чего не успел он вылепить, а вылепи такое, точно заслужил бы славу второго Буонарроти.

Нужно было только помешать бухарянам увлечь девушку с собой и уговорить Вассиана отдать ее до того, как все начнется. И он ее отдаст — другого выхода в этот раз у него не будет.

Меж тем одетый в новую белую рубаху Кудинов сидел в просторной избе и вместе с Машей читал окованную железом книгу. Они читали эту книгу каждый день по несколько предложений, и Василий Васильевич долго и подробно объяснял девушке непонятные места. Он не разрешал ей никому рассказывать об этих беседах: для всех насельников Бухары Маша была избранной Богом отроковицей, в которой они видели залог своего спасения, для него — первой и последней ученицей, посланной ему перед тем, как уйти. Он учил ее тому делу, от которого некогда отрекся и к которому теперь вернулся. Лишь в этом одном старец видел теперь смысл своего существования и оправдание тому, что совершил. Кудинов торопился: он должен был успеть вложить в свою слушательницу как можно больше, чтобы все узнанное им в скиту за двадцать лет не пропало.

Поначалу Маша с трудом понимала, чего он от нее хочет, терялась и путалась в самых простых вещах. Он приходил в отчаяние, но вида не подавал. Его терпение было вознаграждено: древние песнопения и молитвы, жития святых и далекие предания ровным дождем ложились на ее душу. После этих уроков она шла в моленную и видела наяву все то, о чем он ей только что рассказывал. И тогда из ученицы она превращалась в главное действующее лицо бухарской истории.

Эта раздвоенность странным образом уживалась в ее душе. Маша чувствовала, что своим присутствием она поддерживает этих изможденных людей. Самые суровые лица смягчались и теплели, когда она шла к моленной, когда вставала подле старца и приветливо всем улыбалась. От нее ничего не требовали и ни о чем не просили, людям было достаточно того, что она рядом с ними в эти последние дни. Никакие тяготы Бухары не ложились на ее плечи — ее оберегали от всего, как оберегают и ласкают любимое дитя. Они предупреждали все ее желания, баловали гостинцами, платьями и игрушками. Ей пели самые красивые песни и рассказывали самые долгие сказки.

Был только один человек, которого она боялась, — скитский келарь. Она ловила на себе иногда его угрюмый, тяжелый взгляд, в котором ощущала что-то нечистое. И теперь, когда келарь вошел и поклонился старцу, мельком взглянув на нее, ей снова стало не по себе.

— Пойди к себе, Машенька, отдохни перед вечерней, — сказал старец, как обычно, ласково.

Под тяжелым взглядом эконома она вышла.

— У меня все готово, — сказал Харон.

Вассиан подошел к окну. День был душный и паркий, как и все предыдущие, но к вечеру потянуло южным ветром. Избы стояли пустые, и собаки потерянно бродили по улицам. Вся Бухара собралась у часовни — старики, старухи, несколько мужчин, возраст которых определить было невозможно, женщины, подростки и дети. В их глазах не было ни страха, ни отчаяния. Нарядно одетые, чистые люди сбились в кучу и напряженно ждали.

Вдруг старец заметил странную вещь: перед тем как войти в часовню, люди связывались по двое, по трое веревками.

— Зачем они это делают?

— Чтобы Сатана не похитил их в последний момент, — сказал келарь, и глаза его торжествующе вспыхнули. — И так будут связаны все. Ты напрасно рассчитывал отнять у нас отроковицу и забрать ее с собой. Ты отпустил директора и уйдешь отсюда в вечную гибель сам, но ее я тебе не отдам. Она принадлежит нам и спасется, связанная одной вервью со мною.

Он ожидал, что старец побледнеет, но ни один мускул не дрогнул на лице Вассиана.

● Затонувший ковчег

— Ты думаешь замолить так свои грехи? Думаешь, если привяжешь ее к себе, то вас вместе возьмут на небо и никто не напомнит тебе о тех, кого ты замучил?

— Я всегда делал то, что было угодно Богу,— выпрямился Харон.

— Но в этот раз Господь рассудил иначе,— сказал старец.

— Не тебе об этом судить!

— Она осквернена и не может войти в ковчег.— Он протянул келарю конверт с фотографиями.

В глаза Харону брызнуло нагое девичье тело, и он зажмурился от глянцевой яркости снимков.

— Откуда это у тебя? — прошептал он и попятился.

— Они были в вещах скопца. Он утолял таким образом свою похоть.

Лицо келаря сделалось жалким и напуганным: маленький, пришибленный человек, похожий на пьянчужку, ошивающегося возле пивного ларька, которого с похмелья бьет дрожь, безвольный и ни к чему не способный.

— Что же теперь делать? — спросил он в ужасе.

— Если хочешь спастись, исполняй то, что велю я.

Харон поднял слезящиеся глаза и вздрогнул — не самозванец, не ученый, а властный большак стоял перед ним. Уверенность и сила исходили от Вассиана, и этого человека он не смел слушаться.

— Оставайся здесь! — приказал старец.

Вассиан поднялся с высокого стула и прошел наверх в светелку, где сидела Маша.

— На сегодня хватит,— сказал он негромко.

— Я еще не устала,— возразила она.

— У тебя впереди дорога.

Она удивленно взглянула на него: ей никогда не разрешали выходить из скита.

— Ты сейчас отсюда уйдешь. Уйдешь навсегда.

— А как же все остальные?

— Тебя это не касается, и то, что произойдет здесь, не твоя судьба. Я дам тебе несколько книг. Они немало весят, но ты должна их донести. Это книги невероятной ценности. Там, в мире, тебя будут спрашивать, откуда эти книги. Ты расскажешь обо мне и скажешь, что я простил им все, не держу ни на кого зла и прошу прощения у тех, кого обидел.

Она хотела что-то сказать, но теплые глаза Кудинова посуровели.

— Уходи сейчас же и, что бы ты ни увидела и ни услышала сзади, не оборачивайся. Иди и ничего не бойся. Ты свободна.

Внизу его поджидал келарь.

— Ну, вот и все,— сказал старец спокойно.— Можешь забить выход — он больше не нужен.

Харон поглядел на него непонимающими глазами.

— Я не чужой вам и пребуду здесь до конца. Позови скопца и принеси для нас троих веревку.

— На что нам этот грешник, святой отче? — несмело возразил эконом.

— Мы должны закончить с ним старый спор.

Когда келарь вышел, старец достал фотографии: в светлой избе, где со всех сторон глядели на него темные лики, они казались чем-то кощунственным. Но, видимо, человек, их делавший, в самом деле был талантлив, и на мгновение строгий кормчий залюбовался красотой своей ученицы. Его душа отозвалась сожалением о том, сколько он себя за эти двадцать лет лишил. Вслед за тем, точно изгоняя запоздалое сожаление, старец протянул снимки к лучине и стал смотреть, как пламя поедает глянцевый край. Огонь подбирался к руке, и он подумал, что так же сторит и его плоть. На секунду мелькнула мысль уйти вслед за Машей — еще были время и возможность. Пальцы обожгло, но он заставил себя не отнимать их от огня. Лицо его исказила гримаса, но он держал фотографии в руке до тех пор, пока у ног не образовалась кучка пепла. Это оказалось не так больно, как он думал. Нужно было быть просто очень после-

довательным и идти до конца. Он поднялся на вершину, с которой любой путь вел вниз. А вниз идти он не хотел, и никакой лаз ему не был нужен.

Глава X. Эвакуация

На высоте полутора тысяч метров, едва видимый с земли, над тайгой летел оранжевый пожарный вертолет. День клонился к закату, ровно гудели моторы. Салон был пуст, только в углу жадно приник к окошку исхудавший мужчина. Но, сколь он ни вглядывался вниз, понять сверху ничего не мог — на много километров тянулся ровный, похожий на приполярный лишайник лес, который изредка разбавляли светлые пятна болот, капли больших и маленьких озер и извилистые плоские реки. Пролетели над большим озером, и снова потянулась громадная, не имеющая начала и конца лесистая равнина. Трудно было поверить, что внизу проходят дороги и тропы, стоят охотничьи зимовья, раскиданы остатки лагерей, колючая проволока, бараки и брошенные военные объекты.

Тайга обезлюдела, и вертолеты летали теперь далеко от базы нечасто. Гул борта беспокоил пугливых зверей и птиц, на всякий случай они замирали и провожали влажными глазами летящую высоко в небе машину. С таких машин их иногда жестоко обстреливали люди, и ни волкам, ни оленям, ни кабанам некуда было спрятаться от летящего чудовища. Но оранжевый вертолет летел высоко и неопасно — гораздо страшнее для всего живого была лесная сушь.

При подлете к сорок второму кварталу борт пошел на снижение, и Илья Петрович стал узнавать места. Промелькнуло коновалово стожье, Большой Мох, извилистое русло Пустой, и вертолет сделал круг над Бухарой. Внизу, как игрушечные, стояли дома и стройная темная часовенка. Не было видно ни одного человека, только собаки поднимали головы к небу и лаяли на вертолет.

Около часовни было свободное место, и летчики хотели посадить машину прямо тут, как вдруг заметили, что из окон выбивается пламя. Вертолет снова взлетел вверх и, совершив еще один круг, приземлился на берегу озера. Поднялись пыль и рано опавшие листья, сбившиеся в кучу собаки завывали, в их вое была не угроза незнакомцам, а тоскливый призыв о помощи.

Не дожидаясь, пока останутся лопасти винта, Илья Петрович спрыгнул на землю и побежал к скиту. Пламя уже охватило всю часовню, и за ровным гулом огня и треском бревен слышно было, как истово поют и молятся люди.

— Потушите часовню! — закричал директор, оборотясь к подоспевшим пилотам.

— Да пустые мы, батя, — растерянно отозвался один из них, замороженно глядя на пламя. — Кто ж знал...

Обезумевший Илья Петрович с воплем бросился в огонь. Его оттащили, он рванулся снова, но вертолетчики не пускали его.

Меж тем пламя перекинулось на соседний дом, потом по изгороди на сарай и другие избы. Сильный ветер разносил его во все стороны, уничтожая деревню. А в часовне, дверь в которую была забита, как крышка гроба, связанные одной веревкой, катались по полу старец Вассиан, маленький келарь и Божественный Искупитель.

— Выпустите меня! Выпустите! — кричал Люппо, пытаясь то порвать веревку, то оттащить старца и келаря к выходу.

Огонь пожирал темные стены, древние иконы и книги. Он опалил просветленные лица людей, но бухаряне ничего не видели вокруг. Они пели, не чувствуя ни жара, ни боли. Где-то высоко над ними распахнулась крыша, и в открывшемся куполе неба они увидели лестницу, поднимающуюся выше звезд в Небесный Град и Небесную Церковь, по которым тосковали их души и где триста лет ждали их предки.

Огонь охватил уже полдеревни и с бешеной скоростью двигался к лесу, а потом вдруг повернул к той стороне, где стоял оранжевый вертолет.

— Бежим! — заорали летчики.

— Не пойду! — уперся директор.

— Черт с тобой, пропадай!

Люди побежали наперегонки с огнем и в последний момент успели завести двигатель. Качнувшись, вертолет поднялся над поляной и, вырываясь из дыма, стал уходить резко вверх. Но если бы кто-нибудь смотрел в этот час на небо, то наверняка увидел бы, как вслед за вертолетом вместе со снопом искр над пепелищем взметнулось ввысь сорок душ. Одна из них тотчас же канула вниз, остальные стали медленно подниматься к небу, и ангелы с помятыми и обожженными крыльями торопливо уносили их с собой.

Маша дошла до Большого Мха, когда услышала рокот улетавшего вертолета. Она проводила его глазами, но вскоре до нее донесся странный гул. Казалось, будто не один, а целая эскадра вертолетов шла на низком бреющем полете. Гул нарастал, смешивался с треском и хрустом, и, обернувшись, она увидела позади черный дым, стелившийся над землей. За ним следом по ломкой траве, по кочкам, кустам и деревьям стремительно полз огонь. Болото высохло, и там, где раньше всегда держалась вода, ноги поднимали только пыль. Все загоралось моментально, точно в мире началось предсказанное в тот год светопреставление.

Девушка побежала, и вместе с нею от лесного пожара бежали собаки, зайцы, лисицы, олени, волки, кабаны, рыси и лоси. Ветер то и дело менял направление, огонь распространялся хаотично и во все стороны, стремясь уничтожить не только Бухару, но все вокруг нее. Пламя казалось живым существом — раскаленная вздрагивающая плазма пульсировала над землей, не оставляя ни одного свободного места и ни малейшего шанса спастись.

Огонь был уже совсем близко, беглянка чувствовала за спиной его дыхание и боялась, что вот-вот вспыхнут волосы, уже не было сил бежать, как вдруг прямо перед собой Маша увидела женщину. Сперва она подумала, что это Шура, однако светлое лицо было как будто ей незнакомо. Женщина смотрела прямо на нее спокойными глазами, и тогда она вспомнила, что именно эту женщину видела в детстве, когда в межевую сосну ударила молния, увидела и навсегда забыла — до сегодняшнего дня, когда та снова появилась в огне перед нею.

«Мученица Евстолия, спаси мя», — прошептала Маша.

Пламя обтекало святую, как обтекает вода камень. Она стояла не на земле, а точно парила над нею и рукою звала девушку к себе. Маша бросилась через огонь вперед. Затрещали опаленные волосы, в рот и в нос ударила обжигающая струя дыма, еще секунда — и это был бы конец, но в следующее мгновение она упала в глубокую сырую яму, где много лет назад стояла ловушка коновала.

Катившаяся сзади огненная стена пронеслась прямо над Машиной головой. Вверху бушевал огонь, нечем было дышать, казалось, она задохнется сейчас в дыму, но, сметая все на своем пути и оставляя сзади выжженную черную землю, вал стремительно пронесся вперед, не тронув лошину. Однако этого Маша уже не осознавала. Она потеряла сознание и очнулась только тогда, когда ощутила на лице тяжелые капли воды.

Потревоженные огнем небеса разверзлись, и страшный ливень, подобный тому, что сотрясал когда-то Бухару и «Сорок второй», а до того много тысяч лет назад всю Землю, затопив ее до самого Арарата, обрушился на тайгу. Земля зашипела и покрылась дымом, возвращая влагу назад небесам. А дождь лил и лил всю ночь и весь день, и обуглившаяся, обожженная почва никак не могла насытиться, вбирая воду, пополняя запасы подземных речек, болот и пересохших лесных озер.

Всю следующую неделю Маша ходила по выжженной тайге и не могла ничего узнать. Облачное низкое небо покрыло пространство над лесом, не было видно ни дневного солнца, ни ночных звезд, и она шла уже наугад, выбиваясь из сил и не веря, что выберется отсюда. Хотелось лечь и умереть, но она шла, и виделась ей Шура, которая заставляла ее вставать и идти. Сколько так продолжалось, она не помнила — стали холодными звездные ночи, и по утрам иней покрывал изуродованную землю.

Однажды дорогу ей преградило большое озеро. Лесной пожар не дошел досюда. Она ходила по берегу, выискивая редкие ягоды брусники, и там же, на мху, уснула.

Разбудили ее голоса. Две рыбацкие лодки плыли по озеру. Еще издали люди заметили девушку и свернули к берегу. Маша открыла глаза. Светлоглазый парень держал в руках ее голову и, смеясь, что-то говорил, говорил, она не разбирала слов, а потом нагнулся и поцеловал ее в потрескавшиеся, пересохшие губы. Но этого она уже не помнила.

ЭПИЛОГ

Некоторое время спустя после таежного пожара в Чужгу приехало несколько десятков человек. Они выглядели довольно странно и, хотя были с рюкзаками, на туристов походили мало. На них настороженно косились местные жители, кто-то из мужиков пытался задираться, но приезжие вели себя кротко, водки у них не было, и весь интерес поселковые к ним потеряли. Как только рассвело, чужаки вышли из поселка в северном направлении и вскоре скрылись из виду.

Они шли по тому же пути, по которому шли несколькими месяцами раньше Илья Петрович с Машей, и каждый свой шаг сверяли с подробной картой. Путешественники были людьми малоприспособленными к такого рода перемещениям, им удавалось проходить в день самое большее по два десятка километров. Вечером они неумело ставили в лесу палатки, с трудом разводили огонь и готовили мудреную пищу, сплошь состоящую из одних запретов. Утолив голод и жажду и сидя вечерами у костра, они часто говорили об Искупителе, велевшем им собраться в таинственной намоленной деревне, где отныне должны они будут жить и где никто не будет их преследовать. Они прославляли мудрость Учителя, и, хотя их пугали ночные звуки, хотя казалось, что вот-вот нападет из темноты неведомый зверь, исчезнет дорога, они продолжали идти, и вера освещала им путь. На лицах их в эти минуты блуждали таинственные неземные улыбки, и глаза смотрели без боязни и чисто.

Так прошло больше недели, но потом с местностью что-то случилось. После участков угрюмой, глухой тайги, высоких, проветриваемых гряд, откуда на многие километры открывались горизонты тайги, прозрачных, легких березовых рощ, просторных полян и старых покосов, лесных озер, ручьев и речек, изумрудных болот, разнообразно встречавшихся на их пути, они вступили в полосу горелого леса. Сперва они надеялись, что полоса эта скоро кончится, но они шли и шли, а опустошенный, мертвый лес тянулся на многие километры, и обуглившиеся, неестественно прямые деревья торчали повсюду, как использованные спички. Деревья страшно скрипели от ветра и, казалось, в любую минуту могли упасть. Но люди продолжали идти, потому что впереди, в лесном квадрате, очерченном рукой Учителя, их ждал Он Сам, и подобно древним иудеям, бежавшим из египетского плена, они шли через лесную пустыню в обетованную землю, незримо предводимые своим мессией.

На исходе сорокового дня путники миновали сорок второй квартал и подошли к Бухаре. Какое же разочарование их ждало... На искомом месте, в этой обетованной земле, не было ни деревьев, ни Учителя. Ветер гулял по каменным фундаментам изб, чернела трава, и стояла такая жуткая тишина, какой не было и в ночном лесу. Казалось, страшнее, чем эта картаина, трудно было что-либо вообразить, и еще невозможнее представить, что здесь была жизнь. Пришедшие растерянно бродили по деревне и в старой картофельной яме случайно обнаружили волосатого, жилистого старика.

Они попытались узнать от него, что здесь случилось и не видел ли он их Учителя, но старик не говорил ни слова. Он смотрел на них каким-то звериным взглядом, а потом грубо повернулся, ушел в землянку и больше оттуда не выходил.

Приближалась ночь, пришельцы снова разбили палатки, развели костры и стали ждать, когда придет Искупитель. Они не верили в то, что он мог их бро-

силь в этом горелом месте с обезумевшим стариком. Но проходили дни, а Учителя не было — только ветер мерно шумел над озером, зеленел по берегам не тронутый огнем тростник, плескалась рыба и мхурое небо висело от края до края над их головами. Меж тем у переселенцев кончилась еда. Искупитель обещал им, что в Бухаре у них будет все необходимое для лесной жизни: продукты, теплая одежда, инструменты,— теперь же не было ничего, и между пришельцами возникло разногласие. Одни говорили о том, что надо возвращаться назад, другие хотели идти дальше через лес и искать Учителя, третьи же считали необходимым с точностью выполнить его волю и поселиться именно в этом месте.

В Бухаре осталось чуть меньше половины из тех, кто пришел. Начались затяжные осенние дожди, стало холодно, и целыми днями они сидели у костра, кипятили воду и в унынии пили кипяток. Многие из них были простужены, и высокие голоса женщин и неженщин сделались сиплыми и приглушенными.

Ночами они сбивались в кучу и так спали, накрывшись полиэтиленом, доедали крошки сухарей и принесенные с собою концентраты. Скопцы не заботились о будущем. Они еще верили, что Учитель не оставит их, придет и принесет все, как обещал, но с каждым днем вера их таяла и не было уже ни желания, ни сил жить дальше.

Старик не обращал на них никакого внимания. Целые дни он проводил в своей землянке, иногда уходил в лес. Но однажды в конце сентября, когда ночами застывала вода в лужах и выпадал иней, старик стал копаться на пепелищах домов и овинов и извлек оттуда несколько лопат и топоров. Он приделал к лопатам ручки, потом велел скопцам вставать и идти за ним. Они посмотрели на него равнодушно. Тогда он стал бить их палкой, по-прежнему не говоря ни слова. Скопцы жалобно заскулили, встали и нехотя поплелись за стариком. Он дал каждому из них лопату, стал рыть яму и велел им делать то же самое. Они не понимали, чего он хочет, и думали сперва, что роют себе могилу, но оказалось, что старик захотел их копать землянки. Потом он отобрал нескольких человек, отправил их далеко в лес рубить деревья.

С этого дня они перестали собираться вечерами в магический круг, потому что у них не было сил. Руки их огрубели, и даже лица стали другими. Особенно изменились женщины — природа взывала к их инстинкту, они сильнее цеплялись за жизнь, поддерживали старика и помогали ему заставлять неженщин работать.

Они ходили на болото и приносили клюкву и бруснику. Собирали в лесу грибы, которых уродилось невиданное, сумасшедшее количество,— точно все, что не могло произрасти на сгоревших местах, сгруппировалось в уцелевшей части тайги. Старик плел из ивы большие корзины и ставил их в устье речки, впадавшей в озеро. Они отказывались сперва есть мясо и рыбу, но старик заставлял их это делать. Однако все равно еды было мало, и как пережить зиму, они не знали.

Однажды старик стал рыться в их вещах. Они не возмущались, потому что привыкли к любым его действиям. Он взял все деньги, которые у них были. Потом заставил их снять кольца и часы — они безропотно и молча ему отдали, хотя и недоумевали, кому и зачем это может потребоваться в лесу,— и исчез.

Скопцы подумали, что он бросил их, больше не вернется, и почувствовали себя сиротами. Прошла неделя, другая, они не знали, что им делать,— положение их было отчаянным, и они молили Бога, чтобы старик вернулся. Потерять его для них теперь было страшнее, чем когда-то потерять своего Учителя. Снова жутко им было одним в ночной осенней тайге, снова пугали их звуки, доносившиеся из обгорелого леса, и представлялись медведи, волки и никому не ведомые многоголовые чудища и змеи.

И старик вернулся. Он пришел тяжело навьюченный, подгоняя перед собой корову, с мешком соли и пороха за плечами и ружьем. Они не спрашивали его, куда он ходил и откуда все это взял. Они верили ему теперь во всем и стали постепенно забывать прежнего Учителя.

Зима настала рано, и была она лютая, как их спаситель. Случалось, целыми днями завывали метели, снег наглухо засыпал землянки, и приходилось дол-

го их откапывать. Ударяли морозы, и в такие дни не то что выйти наружу, даже представить, как можно встать и покинуть душное, пахучее тепло землянки, казалось невозможным. Но едва светало, ужасный удар топора о лопату будил новых обитателей Бухары, и они знали, что если кто-то из них не встанет или опоздает, то будет жестоко наказан: его бросят одного на целую ночь в лесу или оставят без еды. Они боялись этого наказания и из страха работали так хорошо, как только могли.

Всю зиму старик заставлял и женщин, и неженщин валить деревья. Потом эти деревья они волокли по снегу на себе в деревню. Успевали мало — рассветало поздно, и смеркалось рано, он выгонял их из деревни утром, когда было еще темно, и в темноте же они возвращались. Дежурная бригада встречала с готовым ужином. Ели жадно, быстро, молча, потом без сил валились спать. Когда засыпали, то перед глазами вставал бесконечный, бездонный снег, а потом опять, не то во сне, не то наяву, начинался изматывающий день.

Когда они заготовили достаточно леса, стали строить в деревне два барака, как велел старик, для женщин и для неженщин. На пепелищах они разгребали и выпрямляли старые гвозди. Сам же он, покуда, выбиваясь из сил, они тащили, запрягшись, как лошади, бревна по снегу, смастерил лыжи и еще несколько раз уходил в Чужгу и приносил оттуда инструменты и семена. С утра до ночи в Бухаре стучали топоры. Получалось плохо, он заставлял их переделывать.

К лету их осталось меньше половины, но они засеяли землю, на берегу Пустой стояло два приземистых слепых барака, и тогда они поняли, что смогут жить дальше. Жизнь снова затеплилась на погорелье, как затеплилась, покрываясь неувыдаемой зеленью, земля.

Прошло несколько лет. Мало-помалу люди обжились на новом месте. У них было уже небольшое стадо, бродили по Бухаре куры и гуси, хрюкали свиньи, и все же по-прежнему старик с ними не говорил, жил в землянке и питался отдельно. Они привыкли к нему и не трогали его, но их мнения относительно него разделились. У них снова появилось теперь время, чтобы рассуждать о жизни, они спорили о том, кто он есть, одни называли его пророком, другие — инопланетянином, а третьи — принявшим земное обличье ангелом. Они снова рассуждали о степенях цивилизации, смотрели в космос, собирались в круги и устраивали радения и хороводы. Они хотели, чтобы он тоже участвовал в их обрядах, но, когда неженщины предложили старику принять огненное крещение, он схватил в ярости топор, разметал их вокруг себя и гонял по деревне, как щенков. После этого они оставили все попытки обратить его в свою веру.

Однажды одна из женщин вошла к старику в землянку и вернула только утром со счастливыми блуждающими глазами. Она приходила к нему каждую ночь, и поначалу никто об этом ничего не знал — старик никак не выделял ее среди прочих, да он, верно, и не знал, кто именно к нему приходит. Когда другие женщины узнали об этом, они стали собираться ночью вокруг землянки, слушая крики счастливицы, ее стоны и всхлипы, и терпеливо ждали очереди.

Потом женщина почувствовала, что забеременела, и перестала к нему ходить, но другая пришла следующей ночью, и так в течение нескольких месяцев они перебивали в землянке почти все. Неженщины никак не препятствовали женщинам совокупляться со стариком, и животы сестер их не смущали. Напротив, они как будто обрадовались этим переменам и с нетерпением ожидали, когда женщины разрешатся от бремени.

Весной в Бухаре родился первый ребенок. Через месяц появился на свет его единокровный брат, за ним другие сестры и братья, все как на подбор здоровые, горластые и крепкие. Женщины не могли кормить их своим молоком, потому что у них не было грудей, и вскармливали коровьим и козьим, но ни один из младенцев не умер. Через несколько лет по деревне бегало семеро мальчиков и пять девочек. Старик по-прежнему охотился в лесу и рыбачил, и дети очень любили за ним наблюдать. Но, сколько ни приходили к нему женщины, он больше не принимал ни одну из них, и они оставили его в покое. Зато к детям своим он привязался, проводил с ними много времени и учил хитро-

стям деревенской жизни — косьбе, рыбалке, пахоте и уходу за скотиной. Потом он принялся обучать их грамоте. Ни женщинам, ни скопцам старик не разрешал приходиться на эти уроки, и, когда матери спрашивали детей, о чем говорит старик, дети отвечали, что он рассказывает им о мире, об истории, о Боге, о звездах и далеких континентах, рисует карты и читает стихи и что он совсем не страшный и они его не боятся, потому что он очень добрый.

Взрослые не верили, но дети все равно уходили к старику в его школу, которую он сам для них построил — с большими застекленными окнами, с доской, мелом и тетрадами, за которыми он специально несколько раз ходил в Чужгу. Они называли его отцом, обожали и жадно слушали каждое слово.

Они привыкли к тому, что у каждого своя мать и один отец, — неженщин они, как и старик, почти не замечали. Их разговоры были им скучны, их радения и хороводы пугали. Старик же объяснил им коротко, что эти люди несвободны.

Когда они выросли, неженщины хотели оскопить мальчиков, чтобы продолжился скопческий род, и только одного или двух оставить с удами, дабы в будущем те смогли произвести на свет потомство. Но старик не позволил этого сделать. Он взял в руки ружье и загнал всех скопцов в озеро. Там они стояли по горло в воде и боялись тронуться с места, потому что больше всего губили свои безгрешные тела и чистую жизнь, а старик велел детям уходить по старой железной дороге в поселок и оттуда дальше в мир. Он сказал, что научил их самому главному — любить друг друга. Как бы ни было им тяжело, они должны держаться вместе и должны победить этот мир и спасти его. Он говорил о том, что в мире много людей, которые не любят других и хотят отнять у них свободу, отнятую у самих себя, но им, рожденным свободными, нечего бояться. Он говорил, что они узнают много того, что он не успел им рассказать, увидят других людей и им надо будет найти свое место. Но, как бы ни было им трудно, как ни будет выталкивать их мир назад, возвращаться в Бухару старик запретил. Он сказал, что это место должно быть забыто и никто и никогда не должен его разыскивать ни на карте, ни наяву.

Дети не плакали, когда расставались с ним, — он учил их ничего не бояться и не плакать. Они уходили по заброшенной узкоколейке, и скопцы смотрели на них со злобой и тоской. Женщины не хотели отдавать своих детей, а неженщины не хотели, чтобы скопческий род угас.

Когда дети ушли, они искали убить старика, однако как это сделать, не знали. Никто не решился поднять на него руку. Но однажды один из них нашел, роясь в какой-то яме, железный ящик. Он открыл его и увидел среди костей капкан. Капкан был старый и ржавый, но действовал отменно, перерубая толстую палку. И, когда старик отправился на охоту, они поставили капкан на его тропе. Старик попал в ловушку, и тогда они собрались вокруг и сказали, что отпустят его, если подобно им он примет огненное крещение. Но старик яростно и зло ругался, и они отстали от него.

Когда на третий день он умер, они торжественно и с плачем похоронили его на старом кладбище и каждый день собирались и пели высокими голосами свои красивые песни, которые некому было записывать. И за этим пением не заметили, как однажды в вечерних летних сумерках поляна тихо колыхнулась, будто снялась с якоря, и погрузилась в болотную трясины.

Много лет спустя дети старика попытались разыскать лесную родину. Это же хотела сделать и одна женщина — известный историк и этнограф. Но напрасно посылали в леса экспедиции, напрасно облетали тайгу вертолеты: того места, в котором, судя по карте, должна была размещаться деревня с таинственным названием Бухара, более не существовало. Лишь река Пустая катила темные воды мимо низких, подтопленных берегов, а возле ее устья раскинулась зыбкая поляна, к которой не вела ни одна дорога, словно никто и никогда здесь не жил.



Послесловие

— Алексей Николаевич, тема вашего нового романа неожиданна или закономерна для вас?

— Скорее закономерна. Она, как мне кажется, продолжает линию, начатую два года назад в «Лохе» («Октябрь», 1995, № 2), а именно — стремление распознать те вирусы, которыми поражено сознание современного русского человека. В предыдущем романе речь шла о том, как разрушающе действуют на личность апокалиптические настроения. То же самое и, быть может, даже в большей степени относится и к теме «Затонувшего ковчега» — сектантству. Пренебрежение к реальности вплоть до жажды конца света и уход от жизни вплоть до биологического уродства и самоуморения — это две наши национальные болезни, две жизнеотрицающие ереси, которые столько всего напортили в русской истории. Обе эти идеи проистекают, по-моему, из одного корня — от завышенных требований к жизни в сочетании с нехваткой доверия к ней (что, кстати, я попытался показать в повести «Рождение», «Новый мир», 1995, № 7), но при этом они имеют своеобразную притягательность, а особенно во времена, подобные тем, что мы переживаем сейчас. Конец света ждут и в секты уходят не худшие, но лучшие люди. Вот в чем беда-то.

— Однако согласитесь, что есть разница в вашем отношении к Бухаре и к «Церкви Последнего Завета».

— Да, конечно. Сектантство — это всегда тупик, но если во главе сектантства исторического, консервативного и стремящегося уйти от мира стояли люди по крайней мере искренние и никого не обманывавшие, то вожди нынешних сект, и доморожденных, и импортных, стремятся к тому, чтобы захватить мир, и замешано там все на холодном расчете и обмане.

— А где вы брали материал для романа?

— Прикинулся неофитом, завел знакомства и дурачил хитрых и расчетливых людей в одной секте, после чего едва унес оттуда ноги.

— Вас не хотели отпускать?

— Заигрывание с сектантами — вещь жутковатая. Существуют отработанные методики, и по мере того, как человек погружается в эти заморочки, такие на первый взгляд абсурдные, с его психикой что-то происходит, он попадает в зависимость от секты, привыкает к ней, становится добровольным заложником ее идей и теряет внутреннюю свободу (чем, кстати, секта отличается от Церкви, ибо в Церкви человек как раз обретает свободу). В известном смысле от сектантства не застрахован никто — человеческая психика, к сожалению, очень податлива, а особенно наша ошалевшая психика сегодня. А если ты не поддаешься воздействию, тебя начинают усиленно обрабатывать или ломать. Вероятно, поэтому, общаясь с этими людьми, я вдруг поймал себя на мысли, что все это мне напоминает что-то другое, до боли знакомое.

— Что?

— Нашу нынешнюю литературу: ее подводные течения и негласные корпоративные законы. У меня есть такое ощущение, что иные из наших толстых и почти все тонкие глянецовые журналы с их кажущейся распушенностью, но очень жесткой внутренней дисциплиной, суровыми правилами игры и оторванностью от жизни, наши литературные партии и кланы, дутые фигуры литвождей и законодателей мод, авторские рейтинги — есть не что иное, как прообраз тоталитарных сект для интеллектуалов, где заранее распределены все роли, выстроена определенная иерархия и где невозможно выйти за отведенные тебе кем-то границы. Эта схожесть подтолкнула меня к одной, быть может, рискованной параллели. В «Затонувшем ковчеге» при всем том, что его сюжет имеет самостоятельное значение, я зашифровал некоторые события литературной жизни девяностых годов, свидетелем или участником которых мне довелось быть, а за образами главных героев скрываются знакомые мне очно или заочно писатели и критики. В качестве прецедентов могу сослаться на романы начала века — брусковский «Огненный ангел» и «Серебряный голубь» Андрия Белого, где, кстати, тоже речь идет о сектантах.

— То есть ваш роман — это такая большая шарада?

— Литература вообще до известной степени шарада. Все дело в том, как ее разгадать... Однако писал я, разумеется, не только для этого. Как я уже сказал, сектантство — это наша вечная проблема, но, боюсь, в будущем она встанет перед Россией еще острее. Перефразируя известную мысль, можно сказать так: страшно не то, как Россия входит в дикий рынок, а то, как и куда она из него выйдет будет. И если вряд ли нас в скором времени увлечет новая утопия — к этой болезни общество, заплатив громадную цену, получило стойкий иммунитет на несколько поколе-

ний вперед, то против сектанства подобной защиты нет. Ведь самое трагичное, что произошло с нами за последние несколько лет, — это даже не распад государства, не разграбление его недр за счет будущих поколений, не рост наркомании и преступности и даже не демографическая катастрофа, а **тотальное обезличивание**, которое одновременно явилось и причиной, и следствием всего вышеперечисленного. Сбережение русского народа начнется только тогда, когда начнется сбережение личности. Именно за личность будет главная драка, которая, собственно, уже идет.

— *А вы не преувеличиваете опасность сектанства? Ну, сколько может быть человек в этих сектах — несколько сотен или тысяч, вряд ли больше. В масштабах страны это ничто.*

— «Белое братство», «Богородичный центр», «Церковь Виссарiona», «Церковь Муна», «Свидетели Иеговы», «Церковь сайентологии» и им подобные — это только часть сектанства, сектанства более или менее открытого и потому ограниченного, но есть более скрытые и потому более опасные формы. Чем, как не гигантской сектой, было, например, МММ, которое — только кликни — завтра же воскреснет! И где гарантия, что это не повторится в еще больших масштабах? Даром, что ли, Мавроди — классический сектантский вождь — ходит в неприкасаемых! А чудовищное манипулирование общественным мнением с помощью телевидения, психотропная накачка «Голосуй или проиграешь», этакое телекодирование — что это, как не государственное Аум Синрике? Эпоха перестройки с ее чумаками и кашпировскими, с гдьянами и ивановыми, с ночными бдениями у телевизоров и митинговым психозом нас не освободила, но, напротив, психологически подвела к еще большему рабству. Число рычагов давления на человека за последние несколько лет неизмеримо возросло. Из тоталитарного государства, в котором мы жили двадцать лет назад, но которое оставило хоть сколько-то воздуха и пространства для личности, через сегодняшние войны, теракты, скандалы, мнимые разоблачения, политические кульбиты отставных генералов, при молчаливом одобрении мирового сообщества, нравственно оупевшие, не различающие добра и зла и отучившиеся думать мы завтра сами не заметим, как въедем в тоталитарное государство-секту.

— *Вы полагаете, что существует некий «сектантский заговор» против России?*

— Я полагаю, что сегодня в России есть все условия для того, чтобы подобный заговор мог возникнуть и успешно осуществиться. Я никогда не был сторонником теории заговоров, но, глядя на все эти настолько абсурдные, что они не поддаются никакому рациональному объяснению и кажутся кем-то специально придуманными, потрясения, я все больше склоняюсь к мысли, что и в мире, и у нас в стране действуют умные и хитрые подонки, которые хотят установить такую форму власти, когда общество будет жестко поделено на две половины — на кучку элиты и обезличенное быдло. Никогда люди не были так внушаемы и так легко управляемы, как в конце второго тысячелетия, и никогда возможности техники не были такими великими, чтобы эту обезличенность зафиксировать. В этом смысле мы — общество «лохов», у нас нет никакого иммунитета против кучки жуликов, жаждущих контролировать власть в стране и готовых пойти на что угодно и использовать кого угодно, чтобы этот контроль сохранить. К этому нас готовят, и те, кто готовит, очень надеются, что они будут элитой. Увы, мест мало. И уж тем более не из числа писателей в эту элиту будут вербовать. Разве что двух-трех проверенных сатириков возьмут. Ну и таких, как Виктория Токарева с Виктором Пелевиным, чтобы не захирела отечественная полиграфия и было что на Западе показать. Вся остальная литература будет представлена Константином Боровым. А на тех, кто книг не читает, направят в еще больших дозах сериалы, развлекательные программы, ставящие человека в физиологическую зависимость от телеэкрана, чтобы, когда надо, послушали своих телепастьрей и проголосовали за нужного кандидата в президенты, в парламент, в губернаторы. Подобное зомбированное общество и будет фашизмом XXI века, который нам всем реально угрожает.

— *Вы хотите этому помешать?*

— Может быть, не помешать, ибо я хорошо понимаю ограниченность сегодняшних возможностей художественной литературы, но хотя бы этому противостоять. Я не хочу, чтобы моя страна опять подпала под власть негодяев и стала полигоном для чудовищных социальных экспериментов, проводимых под лозунгом народной свободы. Пусть слово писателя сегодня не может влиять ни на власть, ни на общество, но, пока нам не заткнули глотку, пока у нас еще есть хоть горстка читателей, мы можем и должны влиять на личность. Ибо, пока остался хотя бы один необезличенный человек, война не может считаться проигранной.



Новые стихи

ИЗ КНИГИ «ЗРЕНИЕ»

САМСОН И ДАЛИЛА

«Все перепутались дождя косые пряди,
Вмешалась — чуть замешкавшись — листва...
Уймись же, ветер! Дай мне, Бога ради,
Спокойно рассмотреть, как голова
Его покоится на сдвинутых коленях
Моих; как эти волосы черны,
Где женщина, которой было б лень их
Расчесывать! — с отливом седины
И синевы... Они как бы сливовым
Налетом тронуты... Прошу тебя, усни...
Лишь дождь и дрожь смоковницы над кровом...
На целом свете — ночью — мы одни».

Самсон закрыл глаза, пока стальная
Металась молния, блистая и скользя
Среди дождя, по струйке отнимая
Его у неба... И уже нельзя
Пошевелиться было, чтоб испуга
В движенье рук любимых не вселить;
Самсон молчал, пока его подруга
Старалась, чтобы ливень этот лить
Скорее перестал. И ласточка ручная
Вилась и билась, то замедлив ход,
То вновь быстрее, быстрее, пока ночная
Тьма обнимает с шумом небосвод.

И от любви ее, от вероломной неги
Все тяжелели веки, голова
Клонилась ниже, ниже — как побеги
Смоковницы... Набрякшая листва
Тянулась долу... И все легче было
Держать его затылок ей... Вот-вот
Дождь кончится... И вот последнюю Далила
Прядь уронила на живот...
Стряхнула на пол... И уже под утро
Уснула. И лучи
Нашли, свернувшиеся темнокудро,
Остатки плача, шедшего в ночи.

ТРИ НОЧИ**1. Господь — свет мой***

Обычный свиток. Завтра Иоаву
 Он передаст его. Поклон царю.
 Пусть дом его растет, стяжает славу.
 Губами произнес: благодарю.
 И свет семи свечей придал чертогу,
 Где тени бились насмерть, сходство с той
 Грядущей битвой. Свиток будет Богу
 Представлен завтра. «Урия, стой».

«Да, государь». «Твоя жена, я слышал,
 Брюхата, правда?» «Милостив Господь».
 И после тишины минутной вышел
 На улицу, не в силах побороть
 Волнение. И тени, что в покоях
 Давидовых остались, все сильнее
 Сгущались — так, что царь бы смог рукой их
 Сразить, став повелителем теней.

А Урия их пляски, битвы, пятна
 Перед собою видел, будто прочь
 Не уходил, но шел к царю обратно,
 Неся в глазницах ту сырую ночь,
 Что выдана ему теперь бессрочно.
 И он старался медленней идти,
 Как бы на ощупь, осторожно, точно
 Боялся расплескать ее в пути.

2. Дочь клятвы

Когда ей сообщили, тьма была.
 Вирсавия, свежа после ночного
 Купания, лежала на спине,
 Следя за тем, как теплая текла
 По шее капля, по груди и снова,
 Но справа — по груди. По чьей вине

Произошло все? Кто тут виноват?
 Сегодня ночью Урии не стало.
 Хотя не тем взволнована она,
 А тем, что капля потекла назад,
 Прошла под грудью и на покрывало
 Скатилась. Не луной освещена

Была ее душа, но золотым
 Сияньем, бьющим из-под полусферы
 Тугого живота, чей купол вдруг
 Напомнил храм Давидов, что пустым
 Привиделся ей ныне. Полон веры
 Был для нее растущий полукруг

* Названия в цикле «Три ночи» — наиболее точный перевод имен Урии, Вирсавии, Давида.

Томящегося чрева, точно он
Стал мерою ее любви и муки.
И плод зашевелился. И туда,
Где он стучался сквозь подкожный сон,
Она тихонько возложила руки,
Уже не помня скорби и стыда.

3. Возлюбленный

Давид задул свечу, но спать не лег.
И, темноту ощупывая взглядом,
Все представлял, как перейдет порог
Дочь Елиама и войдет в чертог
Его женою и возляжет рядом.

Хвала аммонитянам, он погиб.
Бедняк накормлен собственной овечкой.
Ко тьме привыкнув, царь нашел изгиб
Псалтириона, тронул: странный всхлип
Раздался струнный. Посветить бы свечкой.

Нет, не теперь. Уж лучше этот мрак
И тишина, растущая, как чрево
Вирсавии. В конце концов не так
Все мрачно. Сыт богатый, сыт бедняк.
Царь хочет спать, но что-то давит слева.

Он зажигает свечи. И в момент
Бросаются все врассыпную тени
(Что кудри из-под снятых на ночь лент
Любимой), опрокинув инструмент,
Кувшин с вином, Давида на колени...



Некоторые аспекты драконологии

РАССКАЗ

Академик бежал быстрее лани. С учетом того, что ему приходилось еще и толкать в шею не понявших момента писателя с директором, лань сдохла бы от зависти, роняя злые слезы.

Он быстрее мысли бежал, оставив недопитые полбутылки «Аралата». Была надеждишка, что эта мысль вовсе застрянет в глиняных мозгах и не дойдет по назначению. Захлопывая дверцу — верный Дима ударил по газам, проснулся и на всякий случай посмотрел в зеркальце, тех ли везет людей, — захлопывая дверцу, он оглянулся на окна мансарды и за надеждишку себя обругал. Во втором слева окне под консервативной маркизой торчали уши, знакомые академику лучше собственных. Из собственных ушей ему не приходилось выщипывать растительность, а из этих целый пук выдрал, дабы показать, что процедура вполне терпима. Уши высоко сидели на бликующем под люстрой черепе, в черепе помещались те самые глиняные мозги, промытые и набитые академиком самолично. Какая, спрашивается, надеждишка, если промывка, стандарт, начинается с просьбы экономить время на слове «принципы» и прочих абстракциях? И если глазки, невидимые сейчас против света, глянули с таким пониманием, что у академика по-скульпторски зачесались руки на эту сырую тогда глину?

Вон он в окне, обожженный до горшечного звона гомункул, и не на кого ему глядеть, кроме как на своего удирающего пигмалиона. Не на забор же с плакатами «Ваш кандидат...». Он уже с час как ваш депутат. Плакаты нерасклеенные рванул поперек собственной физиономии, смахнул со стола и забыл — саногенное мышление: прожитое не переживать. Тоже стандарт, заученный и оплаченный.

А ведь академик знал, что нарвется. Чем сырее была исходная глина, тем больше зависит от тебя законченный гомункул и тем сильнее он тебя ненавидит. Этот был, как мать сыра земля: венник воткни — заколосится. Возненавидел соответственно. Стоит, осознает, наливается. А «Волга» среди снегов белых, среди хлебов спелых и даже испеченных уже, дух шибает аж через поднятые стекла, в будке у хлебозавода свет, остановиться бы, взять горяченького — летит «Волга», только визг шипованной резины по наледи. Может быть, гомункул еще слышит его своими выщипанными ушами — ночью далеко слышно, — и разевает он хайло, где три зуба вставлены в литфондовой поликлинике стараниями писателя, и ревет он военизированным товарищам по партии то, что всегда режут вожди, пока не научатся то же самое говорить вполголоса. Хайль, отвечают товарищи по партии, служим Советскому Союзу, патриа о муэрте, то есть патриа нам, а каждому свое.

— В чем дело-то? — поинтересовался директор, вытаскивая полу дубленки из-под тучного писателя. Ездить на месте смертника рядом с водителем никто не любил, уминались втроем на заднем сиденье. — Нет, граждане начальни-

ки, я не понял. Победа за нами, премиальные получены, нóлито и совместно выпито... Вась, ты что-нибудь понял?

— Сматываемся, пан директор, чего ж не понять,— ответил за писателя верный Дима, ему дозволялось.

— Это я без тебя вижу. Вопрос: какого черта? И куда?

— Я пока что рву к «Вавилону». Обещано,— снова влез верный Дима.

— Пока что рви,— согласился академик.

Просчитано все было месяца два назад, когда глиняная башка смотрела умильно, с этим своим пониманием в собачьих глазках. Что гонорар следует выцарапывать, пока не прошла победная эйфория — после третьей рюмки свежееоткупоренной по поводу. (А что прежде напьются, повода не дожидаясь, это само собой. Этого и просчитывать не надо: ночь после выборов сама по себе повод, судьба решена, только неизвестно еще, как.) И что гомункул осторожный станет говорить, завтра, сейчас главбуха нету. И что в кармане у него будет заготовленный конверт, академик просчитал точно. Какой главбух, при чем тут главбух, главбух сам по себе, жертвовать на детдомовских сироток, а партийная касса есть партийная касса, объект карманной носки.

Вот насчет широких мазков дерьма в политической палитре академик просчитывал уже не стопроцентно, а с вариантами. Гомункул сломался на первом же: «Продолжается следствие по делу об избииении кандидата в депутаты... Его основной соперник такой-то от комментариев воздержался». Надо полагать, не воздержался бы, стань известно, что бить себя гомункул поручил собственному охраннику, наколовшись лидокаином,— уж так морщился, болезный, но рожу подставлял, понимая, что без скандала ему не вырваться вперед. Напомнили, гомункул и потек, метнул конверт, как из рукава. Довершая унижение, академик пересчитал доллары и выловил три грубо подделанных на ксероксе сотенных — по купюре на брата, какая случайность. Вы же теперь депутат, строго сказал академик, не позволяя себе тыкать нанимателю, больше не надо так шалить.

Фальшивых денег академик не предвидел, а то бы велел своим выйти. Меньше знают — лучше спят. И дальше все комом: что бежать придется, тоже просчитывал как вариант, но просчет кончался теплым нутром Диминой «Волги». Затмение, проруха на старуху — ладно хоть не измыслил план спрятаться под одеялом.

Писатель забулькал жутко, как будто ему перерезали горло. Ничем его не возьмешь. Организм,— тепло подумал академик. Сидит, бородачи вперед, в бородаще та самая недопитая бутылка «Арарата». Когда успел стащить со стола, где прятал — загадка непризнанного гения.

— Саднит горло. Я с этим гадом фарингит заработал,— объяснился писатель, вынув бутылку из ротового отверстия.

— Белорусская,— с надеждой сказал верный Дима. Приказов не последовало, и он свернул на вокзальную площадь.

— Что происходит?! — возопил директор.

— Едем ко мне в деревню,— как о деле решенном сообщил писатель и снова приложился к бутылке. Все угадал кишкой и даже опередил академика с его расчетами.

Обещанный верному Диме «Вавилон» подмигивал елочными огоньками. Там уже наклюкались, нагулялись и проигрались, и всем тепло и покойно, и от степлившейся водки бросает в сон, и стриптизерки теплы и сонны, и сонный факир дышит огнем. А на улице минус девятнадцать, за городом, стало быть, под двадцать пять.

— Сортир у меня химический, в доме,— угадал всеобщую тоску писатель.— Картошки полно, а вообще надо бы затовариться.

— Михал Михалыч,— занял верный Дима. И так он объезжал площадь на второй передаче, газуя и делая вид, что мчится, а тут еле поплелся, пробуждая надежды у мерзнущих вокзальных проституток.

Академик на ощупь отслюнил бумажку — все были одинаковые — и сунул верному Диме.

— Сходишь без нас.

— Не схожу! — пригрозил верный Дима, любовно косясь на портрет Франклина. — Одно дело, если б вы меня сводили, а самому идти доллары тратить...

— Сводим еще. Ты давай рули, — строго сказал академик. — Дорогу знаешь?

— Ездили, — вздохнул верный Дима и без души прибавил скорость, так что шестеренки заскрежетали.

— Кто-нибудь мне объяснит?!!

— На рыбалку едем, Сема. На зимнюю рыбалку, сиречь подледный лов. — Писатель обхватил ручищей бесплечее, как у цыпленка, тельце директора. — На-ка, хлебни.

— А не развезет? — усомнился директор, однако хлебнуть хлебнул и надежно устроился под мышкой у писателя.

А взял бы в дело сына, пришло в голову академику, сейчас бы сын так же трясся в углу, боясь думать о пугающих взрослых делах. За все заплатит, без двойного смысла подумал он о гомункуле: полезет в карман и заплатит. Деньгами.

— Дня на три? — щекотнула скулу писателя борода.

Академик подобрал под себя ногу, чтобы сесть повыше, и зашептал, иногда касаясь губами холодного уха:

— Давай прикинем. С нашим гонораром он, считай, простился — должен понимать: если не догнал сразу, то теперь денежки пропали. Так что жадный не жадный, а корысть исключаем. Рефлексия — да. Мы ж его через колено ломали. Значит, комплекс зависимости, мотив мести. С другой стороны, проспится и сообразит, что победившую команду менять он еще рылом не вышел, не президент. Хотя он может не проспать несколько дней, а может и попробовать без нас. Тогда ему на разочарование две недели. Третье — самое плохое: криминализованный менталитет. «Они слишком много знали», и все такое.

— Откуда криминализованный? Голубое комсомольское прошлое, — опять мазнула по скуле борода.

— Настоящее темно, — буркнул академик.

Зачем гомункул смотрел в окно? Простились честь по чести, до дверей довел, за плечи приобняв, мимо товарищей по партии, уже заголосивших песни советских композиторов, и обслюнявил троекратно всех, особенно директора Сему с его вызывающим семитским носом — вот я какой гибкий и нестрашный политик. Товарищи по партии в восторге, только что не кричали «Горько!», бокал накатили вождю за дружбу народов России. В сей волнующий момент партийной жизни академик дверь за собой прикрыл и вспомнил детский клич «Атанда!», о котором теперь знал, что это искаженное французское «атанде». Сколько времени нужно, чтобы ссыпаться по лестнице со второго этажа и скакнуть в машину к верному Диме? А ненамного больше нужно времени, чем чтобы сунуть кому попало пригубленный бокал, дойти до кабинета, поднять заедающую маркизу и посмотреть, как драпают папа Карло. А может быть, еще и бросить кому следует: «Ну-ка, догоните!» Может быть, и смотрел, догонят или нет?

Атанда, господин имиджмейкер, а равно господа спичрайтер и эксикьютор, он же исполнительный директор.

— Лучше перебдеть, чем недобдеть, — вслух резюмировал академик, и все с ним согласились, даже верный Дима, хотя только писатель понимал, что к чему.

Верный Дима был в некоторой степени сволочь. В смысле — жалел машину больше, чем ездоков. На шоферский-то взгляд, он был водила правильный и поступил умно и ловко, впилившись в сугроб.

— Нету дороги дальше, Михал Михалыч. Сами видите — нету!

Академик видел, что как раз есть, накатанная колея под легким снежком, и что верный Дима нарочно с колеи съехал. И теперь будет съезжать каждые двадцать метров, а им придется выталкивать очень тяжелую «Волгу». Потому что слово у верного Димы кремень, сказал: нет дороги, — значит, нет, и в этом отношении он тоже сволочь.

Самому брать руль не хотелось. Последние два дня академика познабливало, держался на аспирине, а тут, зная, что придется пить, оставил таблетки дома. Хмель вылетел, простуда навалилась.

— По льду-то здесь пять минут ходу, — рассудку вопреки сочинял верный Дима, тыча пальцем далеко за реку. Там, над обрывом, будто воткнутые с небес, не шелохнувшись, торчали печные дымь. — А в объезд намучаемся, и как я без вас обратно? Засяду, и как?!

— Хрен тебе, а не «Вавилон», — приговорил академик, и, конечно, верный Дима, прижимая к сердцу бумажник с подаренными ста долларами, ударился в плач по своей мечте.

Писатель с директором сочли разговор законченным и вышли, напустив холода в машину.

— Помолчи, а? — попросил академик верного Диму, привычно удивляясь тому, что вот съел собаку в социологии, политиков лепит, считай, из ничего — были бы деньги, а до конца подчинить этого растительного Диму не в состоянии. — Позвонишь мне домой, скажешь, я уехал... в Тулу. На неделю. Зайдешь к Семиным соседям, а то подумают — он пропал и кинутся воровать компьютеры. Сам отдыхай. Будут наезжать, соври про Тулу. Понадобишься — позвоним.

— Телефончик бы вам сотовый, — подлизнулся верный Дима.

— Обойдусь. Как-то же люди отсюда звонят, — сказал академик и вышел, считая излишним требовать, чтобы верный Дима повторил инструкции. Потому что хотя он и сволочь, но прикормленная и работой своей дорожащая.

Его моментально пробрало до костей. Мороз морозом, а еще и ветер прошибал насквозь, так, что выло в желудке. Тщедушного директора ветер полоskal, как флажок.

— Василий пошел топить. Придем в тепленькое, — сообщил директор, по-детски хватая академика за рукав. По реке махал тяжелыми шагами маленький, неожиданно далеко ушедший писатель. Взыл мотор — верный Дима увел машину задним ходом, опасаясь, как бы начальство не передумало идти пешком, и метрах в ста начал обстоятельно разворачиваться.

— Далась нам эта рыбалка... Михал Михалыч, вы хоть когда-нибудь ловили рыбу?

— Мальчиком, в голод сорок шестого года, — механически ответил академик. — Ну, виноват я перед вами... Ты это хотел услышать?

— Я хотел сказать, что с нашими долларами можно ловить мулаток в Атлантическом океане.

— Неплохо бы. Только раньше я не подумал, а сейчас — пока оформим визы, все, может быть, рассосется. Может быть, и рассасываться нечему, — покривил душой академик. — Ну, наговорил он лишнего, ну, мы его прижали чересчур — уже, наверное, мается с похмелья и сам начинает жалеть.

— Дерьмо, — сказал Сема.

— Наниматель, — пожал плечами академик.

— А вам не противно?

Вылизанный до сапожного блеска, лед оказался не такой уж скользкий. Академик шел надежно, ставя ногу на всю ступню, а директора болтало.

— Работа бывает противна, когда ее не знаешь. А когда знаешь, упиваешься нюансами. Ты взгляни профессионально: какой был соперник! Умный, сильный, Герой Труда, оборонщик — и это в округе, напичканном оборонкой. А мы протащили своего.

— Нечестно,— заикнулся директор, глотнул ветра и долго кашлял, смаргивая слезы.

— Что значит нечестно, пан директор? Мы что, бюллетени подделали? Нет, мы социологически точно провели избирательную кампанию. Возьми чью угодно платформу, они все одинаковые: рабочий работу, пенсионерам пенсии, детям детсады, инвалидам коляски, а преступности бой. И этак между строк витает: зарплата нынешняя, а цены советские, богатых не тронем, но мозолить глаза своими «мерседесами» они больше не будут. Так не бывает, но избирателю этого хочется, и он это получает. На бумаге. В рамках закона. Тут критерий — закон, а честно мы с тобой водку будем разливать. Вон симпатяга твой оборонщик тоже ведь хотел скрыть, что после Чернобыля отбыл месяц в психушке.

— Вы еще скажите насчет принципов,— буркнул директор.

— Скажу. Политик существует в вилке между бескомпромиссностью и беспринципностью. Бескомпромиссность — путь к войне, беспринципность — к потере управления. Поэтому впадающих в крайности общество отторгает, они опасны. Резюмирую: хочешь долго жить в политике...

— ...экономь время на слове «принципы»,— закончил директор.— Ну, Михал же Михалыч, сколько я от вас ни слышу, с этим вашим «резюмирую»,— коробит же!

— Естественно! — по-лекторски воспылал академик, хотя пыла никакого не испытывал, а просто надо было поработать с мальчиком. Вот жар был, и горячечный пот бежал по спине, и холодно липла пропотевшая рубашка.— У твоей страты своя мораль, у других — своя. Няма этот немыйтый жил у тебя полгода бесплатно, ковырял в носу и развешивал козявки. Ты честный, порядочный человек, не дал товарищу пропасть. А депутат прикинет: много евреев вернулось в Россию? Ноль целых ноль десятых. Зато из Германии вывели группу войск, бездомную, и это уже фактор социальной напряженности. Значит, сначала квартиры военным, а нямам — вряд ли когда-нибудь. Нечестный этот депутат? Непорядочный? Нет, он вынес правильное решение на своем уровне, как ты на своем. Няма на своем уровне люмпен-интеллигента не стыдился брать у тебя деньги на сигареты, а идти попрошайничать по вагонам стыдился. Вот если бы он совсем выпал из социальной пирамиды, ты смотрел бы на нищество как на престижную, денежную профессию. А ты Няму деньгами не попрекал, хотя сам не возьмешь без отдачи даже мелочь на метро. Ты тянешься к среднему классу, а средний класс считает, что бедным быть безнравственно. Я, например, так считаю. Почему я хожу на приработки, а наша профессура с кафедры ходит махать флагами за возрождение высшей школы? Они же считают себя социологами. Они должны понимать, что сначала нужно поднять производство, а уже потом оно потребует специалистов и вольет деньги в высшую школу, а не наоборот. Так нет, им хочется сейчас и по возможности даром. А я, было дело, торговал гуманитарными кофточками и не краснел — социологу не стыдно. Зато я собрал ноу-хау. Я знаю, чего хотят последний «челнок» на Тушинском рынке и президент банка, потому что политику банков я тоже отслеживаю, как могу. Я при совласти преподавал и сейчас преподаю и получаю хорошие деньги.

— Вопрос, что преподавать,— вставил директор.

— А что угодно, хоть драконологию. Главное, я даю интеллектуальный продукт, который пользуется спросом.

Академик устал, нахватался ледяного воздуха и говорил через силу. Сама собой проскочила фраза из цикла «по товару и запрос», всегда впечатлявшая нанимателей:

— Да у меня одна картотека на депутатов стоит не меньше двадцати тысяч. А информация, в общем, открытая: стенограммы, вырезки из газет.

— Знаю,— уныло сказал директор. Последние два года картотеку вел он.

Писателя застали на крыше. Он прочищал дымоход и на глазах академика с директором упустил туда палку от метлы. Внизу скакал с утра поддатый му-

жичок Федор, которого между собой сразу окрестили Электоратом. Электорат изъяснял страстное желание сгонять за Николаем — человек, опытный, на тракторе. От использования трактора отказались, но извив Электоратовой мысли был тоньше: на тракторе, опытный, со вчера не пил, и на крышу влезть ему свободно. Намек поняли, стали подсчитывать ресурсы и с ужасом обнаружили, что российских денег осталось на троих двадцать с чем-то тысяч; доллары на территории деревни хождения не имели. Из натурального продукта имелось пол-ящика шпрот, купленных в ночном ларьке запасливым писателем, и остатки трофейного «Аралата».

Стоны, метания и ненормативная лексика опускаются.

Дымоход прочистили, плеснув добытой Электоратом горячей воды; палка провалилась в печь и там потом прогорела. Электорат же купил за двадцать тысяч трехлитровую банку самогона — кто-то гнал для себя и по-соседски уступил почти по себестоимости, из расчета кило сахару — литр шестидесятиградусного. Картошка у писателя была в подполе своя, ее пекли и жевали с упоением, оставив Электорату приевшиеся шпроты.

Наконец угомонились. Электорат, чертя по столу вилкой, объяснял тонкости воинской службы по охране радиолокатора, писатель устроился налаживать кобылки к завтрашней рыбной ловле, а директору надоело допытываться, на самом ли деле в доме нет телевизора или он спрятан от воров и вправду ли писатель собрался морозить задницу над лункой. Разболевшийся академик томился на диване под какими-то засаленными кацавейками — в одной Электорат признал бабушкину покойницу, но великодушно уступил ее писателю. Твое, опытный, счастье, раз уж купил дом, так он твой со всем приданым.

Световой день кончался, в печи постреливало, изба потрескивала, и было так хорошо, как будто весь мир населяли незлые душевные пьяницы.

— Вот вы вот зовете Семена пан директор, — сказал Электорат, деликатно указывая на директора хвостом нанизанной на вилку шпротины. — Что, настоящий?

— Стопроцентный, — заверил академик. Электорат взглянул бдительно, дескать, а ваша очередь еще подойдет, и оборотил взор на писателя.

— Сема, покажи удостоверение, а то не отстанет, — сказал писатель. — Он и у меня документы проверял.

— И не проверял, а было интересно подержать в руках писательскую книжку.

— Ну и как впечатление? — поинтересовался академик.

— Не очень, — оценил Электорат, — военный билет и то посолиднее.

Директорово удостоверение было солидное до невозможности, он же паса в типографиях, заказывая предвыборную макулатуру. Впечатлительный Электорат глянул и стал из уважения сгребать со стола картофельную шелуху.

— ТОО «Консуэло», — вымолвил после благоговейной паузы. — И чем занимаетесь?

— Груши околачиваем, — схамил директор, в общем, не сильно соврав. ТОО с девичьим названием купили «под ключ», когда понадобилось юридическое лицо; академик не удивился бы, если бы в сляпанном на все случаи жизни уставе товарищества среди обучения собак, циклевки полов и книгоиздательства отдельным пунктом значилось бы и околачивание груш.

Электорат принял ответ как должное, уважительно вздохнул и пригорюнился, развеселив директора и вызвав у академика приступ безадресной желчности.

Директор! Академик! Писатель! По гамбургскому счету — косящий от армии мальчишка, доктор отмененных наук и автор всеми позабытой книжки. Хотя удостоверения — да, всамделишные. «Не спорьте, батенька, я действительно член двух академий, мне лучше знать, что вам нужно», — и наниматели млеют, как пэтэушницы от Вовы Преснякова. Своим не скажи — нарвешься моментально: «Ну и сбежал бы за водкой, академик!» Их, академий, сейчас как

грязи. Как союзов писателей. Это вам не старые номенклатурные заповедники, где на бескрайних просторах саун резвились тучные хозяева жизни.

И все же своего кандидата в Думу они провели, здесь гамбургский счет в их пользу. Протиснули с минимальным отрывом от умницы оборонщика. Анализ предвыборной телепередачи: «Держался уверенно, показал владение строительной терминологией, дважды прибежал к рекомендованным цитатам из Салтыкова-Щедрина... Не складывать руки внизу живота — нежелательные ассоциации с привычной позой Гитлера. Татуировку на левой руке прикрывать, как было рекомендовано ранее. При жестикуляции лев. руку держать ладонью на камеру. Сменить обручальное кольцо на более узкое. Отработать произношение слов «коррупцированный» и «коррупция» (последнее — без «м»)».

Откуда только взялся, цветок душистых прерий? Взялся, как с елки достался: у прежних были связи, управленческий опыт, образование, имя — хоть что-нибудь да было, а у этого вершина карьеры — инструктор райкома комсомола. И золотая коронка на клыке. Зубы ему вставь, носки ему покупай, педагога по речи ему найми. Как хорошо было бы с интеллигентным оборонщиком: «Не употреблять более одного иностранного слова в предложении. Недопустим ответ: «Это зависит от ряда не поддающихся контролю факторов». Ответы давать уверенные, однозначные».

В начале кампании оборонщику честно позвонили: имеется команда, осечек не давали. И я осечек не давал, засмеялся оборонщик и трубку брякнул. Академик знал работавших на него коллег, таких же марксистских философов, объявивших себя социологами. Таких же, да не таких — свои взвились, когда он сообщил для подзавода: а знаете, кто у него? Аркашка сотоварищи! Простоватый директор сказал: «Жадность фраера сгубила», писатель: «Нет, он уверенный в себе, умный человек и предпочитает не консультантов, а исполнителей. Зачем ему второй медведь в своей берлоге, пан директор?!» Обсудили, отчего умные такие дураки. Азартное и престижное вырисовывалось дело: вставить умному пистон. Аркашка у них за соперника не считался.

В потное лицо ударило холодом — кто-то пришел с мороза, налить ему, нас двое с огурцом, вздрогнем, а этот что, пусть спит, да у него глаза открытые, сказано — не трогай, ну, первая колом, вторая соколом, как спички поломались, чеснслово, гля, ты ж всю деревню отрезал от шоссе, подумаешь, три бревна, вы только дайте, а я мухой, летом верну, сукин кот, мать твою за ногу, свою дешевле обойдется. И опять клубы пара с улицы, нормативная ругань писателя и просительный мат кого-то незнакомого.

— Как ты, Михал Михалыч? — спросил писатель.

Академик вроде не спал, а мизансцена изменилась. Незнакомый исчез, на столе горкой лежали обоюстные соленые огурцы и парил чугунок свеженаваренной картошки. Электорат признавался не вяжущему лыка директору, что уважает еврейскую нацию за трезвость, писатель управился с кобылками и налаживал какие-то резинки, назначенные подсекать рыбу, но пока что подсекавшие мякяющего директора и самого писателя. Не «Вавилон», однако это можно было считать весельем, и академик, выбравшись из-под кацавеек, оставил одр болезни и подсел к столу.

— А вы академик чего? — расплескивая из банки в стаканы, поинтересовался Электорат. Знакомство с настоящим директором он, стало быть, исчерпал и теперь хотел повращаться в академических кругах.

— Драконологии, — серьезно сказал академик.

— Ну?! — изумился Электорат, но дальше этой заготовленной формулы вежливости разговор у него не пошел. — «...логия» — это я понимаю, — сказал он погоды. — А «драконо»?

— А «драконо» — это как твой Николай устроил бой на калиновом мосту, — сварливо пояснил писатель. — Это же надо сообразить: на «Кировце» с волокушей гнать по такому мостику. Волокушу-то почему не отцепил?

— Спешил сильно. Я ж говорю: человек со вчера не пил, — вступился за товарища Электорат. — Нет, «драконо» — это вы сказки собираете.

— Мифо... тфорчестфо,— в два приема выговорил директор, отлип от стула и с лицом сосредоточенным и скорбным побрел к дивану.

Все следили, как он укладывается, сравнивали его с собой и себе нравились.

— «Драконо» — это «драконо», по-нашему, змеегорынычелогия,— не дал скомкать разговор писатель.— Гады ползучие, а равно чешуйчатокрылые и морские. Михал Михалыч, морские сюда входят?

— Морские в основном и входят. Сухопутных меньше.

Чокнулись под невнятное «Будем!».

— Дурите,— заявил Электорат, с интересом выцедив свою порцию.— Что-то я драконов у нас не видел. И когда служил в Сибири, не видел, а там тайга.

— Атома тоже никто не видел, а он есть,— сказал академик.

— Они теплолюбивые,— сказал писатель.

— Зимой на юг, как куриные окорочка? — проявил чувство юмора Электорат, готовый поверить в чешуйчатокрылых. А в ползучих — верь не верь — они есть, и это самая простая и самая действенная заморочка общественного сознания: истина и вымысел через запятую.

Академик с писателем переглянулись и стали дожимать электорат.

Насчет динозавров подопытный не сомневался: были, но вымерли. «Так-таки все?» — ехидно бросил писатель и привел с дюжину историй из морских змеях и таинственных исчезновениях. Половину из них опроверг академик — не доказано, — тем самым как бы заняв сторону подопытного. Зато другую половину подопытный съел из дружественных рук. Перешли к сухопутным гадам.

— Летом в Монголии,— сказал писатель,— по ним идешь, как по ковру, и давишь сотнями, а другие тут же раздавленных лопают — маленькие, только что вылупились.

Академик подмигнул Электорату, и Электорат на всякий случай подмигнул академику, и чокнулись недопитым, а Электорат подлил себе для освежения напиток. Это он путает с обычными змеями, в третьем лице заговорил о совершенно посрамленном писателе академик, маленькие они, правда, похожи, но чтобы так много — нет, не бывает.

Электорат, понятно, возжаждал узнать, как бывает, и академик поделился: вымирающие виды несут всего-то по десятку яиц, и обычные змеи, тут писатель прав, жрут и яйца, и маленьких дракончиков. Зато подросшие сеголетки питаются исключительно змеями, а на второй год уже достигают таких размеров, что могут воровать ягнят. Пастухи бьют их ранним утром. Обыкновенными палками, вставил писатель. Дракон такой тяжелый, что может подняться на крыло только с очень сильным восходящим потоком воздуха, и, пока земля не прогрелась, он беспомощный.

Вот так: сместить проблему. Сколько ангелов поместится на кончике иглы? — и нет вопроса об ангелах, а есть спорный вопрос об их размерах. Сдавшемуся Электорату еще покапали на мозги для закрепления материала: с восходящими потоками дракон перемещается за антициклоном на тысячи километров. Идет над облаками, поближе к солнцу — потолок у него, как у поршневого самолета. И если посмотреть на солнце в телескоп через закопченное стекло, есть шанс увидеть дракона даже над средней полосой России.

Информацию впрыскивали, пока Электорат, поклевав носом, не уронил голову на стол.

— Всякая страна держится на социально адекватных людях,— изрек академик.— Вот наш Электорат: произвел свои центнеры с гектара, выпил, пообщался и спит. Дети у него есть?

Занятый своими резинками писатель молча кивнул.

— Воспроизводство населения он обеспечил, в армии отслужил.— Академик погладил мыкнувшего Электората по голове.— И не будите его. Не дай Бог, он станет проявлять гражданскую активность. Его же обманет любой прохвост. И бросит на крыше с автоматом против ОМОНа.

— Совок ты, Миша, хоть и академик,— сказал писатель.— Край непугальных идиотов, а по границам колючая проволока — это мы уже проходили.

Академик обиженно засопел.

— Я лично себя идиотом не считаю, хотя был и есть человек социально адекватный. При любом режиме — вот в чем соль, потому что режимы проходят, как времена года, хочется нам этого или нет, а народ остается. Я народ, и я остаюсь. И Электорат народ. Он пахал-сеял, я преподавал. Режим сменился — он опять пашет-сеет, а я опять преподаю свою драконологию. Мой тихо стыдящийся папиного прошлого сын потряс у себя в университете кафедру бизнеса и предпринимательской деятельности. Спрашивают: кто тебе писал курсовую? Он им — по совести: с отцом поговорили, а писал сам. Звонят мне: вы не хотели бы читать у нас курс? Уточняю: курс чего? Ну, говорят, назовите, как вам нравится — очень у вас интересный подход, стык бизнеса и политики. И тут я им выдаю: я, господа хорошие, этот новаторский курс читаю с начала семидесятых, тогда он именовался истмат! У классиков есть все, только понимать их у нас не принято. Когда речь шла, скажем, о монополиях или об эксплуатации, наш советский студент был убежден, что это за бугром, а в стране победившего труда ничего такого нет. Промываем глаза и видим из того же текста: мир не знал ни таких монополий, ни такой эксплуатации, какие были у нас.

Победно улыбаясь, академик встал и плеснул всем самогона, не забыв пивающего Электората.

Писатель сказал:

— Разбуди. Его дома ждут.

— Думаешь, он уйдет от самогона? — усомнился академик. — За наше здоровье. И за социальную адекватность.

Выпили под остывшую картошку, причем Электорат, не открывая глаз, ясным голосом сообщил:

— Пропускаю.

— Видишь? И норму свою знает, — умилился академик. — И плевать ему на всех депутатов.

Натянутая резинка стрельнула в печку и вспыхнула с треском.

— Хватит про депутатов, — сказал писатель. — Прожитое не переживать, и все такое.

Нанимателя, как черта, не поминали за глаза — «наш», «он», а позже «гомункул» — и, как попившего кровушки непутевого сына, глухо презирали, но и любили свысока. Что ни говори, а удался: свой в доску — по контрасту с вальжным оборонщиком, но при случае и образованность покажет ненавязчиво. Такой пиджачок, но себе на уме. Пиджачок с загадкой, хотя это уже не для избирателей.

Был некий сосуд, сообщавшийся с карманом пиджачка. Давление там развивалось такое, что валюта перла из швов: не успеешь запретить гомункулу наемный «мерседес» — вытряхивай его из Версае, вытряхнул — глядь, золотая цепь на дубе том, и телеоператор, гретый, но с фигой в кармане, дает эту цепь крупным планом. Сопровождавший гомункула писатель без просьб получил три тысячи на гардероб, директор внаглую выклянчивал цацки для своих компьютеров и заказывал в Германии плакаты умопомрачительного качества.

Гомункул тратил не свое, и тот, кто давал ему деньги, давал не свое. Академику виделся солидный фонд, управляемый солидными чиновниками. Средства их сказочны, результаты никудашны: карета из тыквы, жеребцы из мышей, кучер из крысы, думак из гомункула. Удержится он в Думе, как же! Золушки во дворцах кончают флиртом с социально близкими лакеями, после чего их ссылают от греха подальше в монастырь.

До вчерашней ночи академик не гадал, чьей казной распоряжаются мудрые чиновники. Хозяйское лицо начнет проявляться, как только гомункула обучат пользоваться машинкой для голосования, а месяца через два все будет очевидно без гаданий.

Но вчерашней ночью, когда они пили вчетвером со вполне законченным гомункулом в несрамном галстуке и носках под цвет ботинок, и товарищей по партии он оставил за дверью, что, понятно, товарищам не понравилось, как и

все последние перемены в их лидере, и один, с полудня отмечавший победу или поражение, долго митинговал перед охранниками в приемной, — яснее надо было высказываться по национальному вопросу, а теперь как же за него будут голосовать, если он по этому вопросу не высказался? — и гомункул соратника не гнал, только изумлялся, кивая на дверь: с ума сойти, я был такой же, в бой с открытым забралом, народу разъяснить; пришли вы: нацменьшинств до пятнадцати процентов, лиц со средним специальным и высшим до сорока, предвыборные ожидания, прогнозируемая активность... Смотрите, я вам поверил, без угрозы сказал гомункул вчерашней ночью, водки в нем было под горло, он потел водкой и, наверное, мочился водкой, но водка его не брала. Так не волнуются. Так боятся.

Потом звонил наблюдатель с избирательного участка, гром победы, раздавайся, веселися, храбрый росс. Академик, выждав расчетное время, учинил свой безобразный шантаж и выцггил премиальные. Поцапались и помирились наскоро, без упоения, как будто гомункул отбывал надоевшую повинность, и стали пить за новоиспеченного депутата. Он пил, как не за себя. Как не за победу, а за случайное избавление — поезд прет, нога попала в стрелку, грехи вспомнились, долги простились, зажмурены глаза, и вдруг вагоны мимо, шарк, шарк воздухом горячим по лицу. А нога так и зажата в стрелке. То ли выжил, то ли получил отсрочку до следующего поезда. Вот как он боялся.

Если разобраться, у академика не было иной причины для бегства, кроме этого чужого страха.

Если признаться себе, последние сутки он только и думал, чего так боится гомункул.

Если вывернуться наизнанку, то и ответ напрашивался, но такой, что век бы его не знать.

В конце восьмидесятых какие-то подполковники из НИИ МВД предложили термин «метапреступность», имея в виду народных тогда депутатов и высших чиновников вроде тех, кто позже дал Прибалтике стать крупнейшим экспортером российских цветных металлов. Уже и мировые цены были сбиты на годы вперед, и вражьи голоса охрипли, удивляясь, отчего Россия не торгует сама — валюта не нужна? С законодательным актом не спешили, он шел в пакете; вопрос о временном постановлении тоже требовалось обдумать, прежде всего в аспекте — а ставить ли его вообще, если обдумывается вопрос о пакете? Имена задумчивых вычислялись на раз, и было очевидно, у кого они на подсосе. Но преступниками они не были. На вершине социальной пирамиды само понятие преступности утрачивает смысл: кто принимает закон, тот оставляет для себя калитку и ходит в нее, закона не преступая.

Собственно термин «метапреступность» казался академику неточным, и правильно, что в открытой литературе он так и не прижился. Но явление такое было. Не мафия, как говорят домашние хозяйки, когда в булочной черствый хлеб, и не оргпреступность, как говорят милиционеры, когда поймают мелкого служащего, который подписал документы на контрабанду, а то, чему и определения нет. Дыра.

Непредставимые обиденным сознанием капиталы исчезали в ней за несколько часов биржевой паники, за несколько дней, пока перечислялись деньги по фальшивым авизовкам, за несколько месяцев строительства «пирамид». Дыра сыто срыгивала валюту в ротки местных фюреров, и там, где раньше в худшем случае дрались кетменями, начинались локальные войны; оживлялся рынок оружия, наркотики шли через сметенные границы не килограммами на пузе, а караванами.

Жертвуй исполнителями и мелкими организаторами, высшие эшелоны Дыры были практически неподсудны. Они контролировали целые города, часто и являя собой городские власти, от губернатора до прокурора, и все у них было в порядке, особенно по части борьбы с уличной преступностью, потому что какой же уважающий себя пахан потерпит, чтобы у него под носом резвилась бесхозная шпана?

С рывком на самый верх у Дыры пока что не очень получалось. Сферы влияния были поделены давно, реформы реформами, но экспорт нефти остался экспортом нефти, энергетический комплекс энергетическим комплексом, капиталы там ходили прежние, и контролировали их прежние силы, время от времени переставляя политические фигуры. Дыра наша пасовала перед старой номенклатурой, как в те времена, когда она еще называлась преступным миром и ничего не могла предложить даже среднему чиновнику, кроме машины и дачи, которые у него и так были. Только сейчас речь шла о контроле над целыми отраслями, при том, что собственность стала понятием номинальным: сегодня она государственная, а завтра приватизированная. Как бы ни повышала ставки Дыра, если имеешь дело с лобби, покупка отдельных людей бессмысленна: лобби просто меняет купленных на своих. Дыре нужно было политическое потрясение, смена власти сверху донизу.

Академик давно предполагал, что нынешние выборы станут для Дыры костюмной репетицией вхождения во власть. Но Боже, Господи Боже, в которого академик не верил, хотя малывался в старческой бессоннице, Боже мой, чтобы недалекий гомункул оказался человеком Дыры и чтобы он, все понимающий академик, нанялся к человеку Дыры и вовлек циничного умницу писателя и мальчика Семку, разгильдяя и компьютерного гения, — этого быть не может, потому что не может быть никогда. С кем-то другим это просто должно было случиться, статистически, как рак или автокатастрофа. Только не с ним.

Он снова поплыл: глаза открыты, и ясно, чем занимается писатель — стреляет в пещку своими резинками, вонь ужасная, — и ясно, о чем он говорит: драконология, манипулирование общественным сознанием, доиграемся, Миша, — а потом стал говорить: Миша, что с тобой? Да какая разница, что со мной, вопрос — что с нами будет. Нас едва ли отпустят с миром. Я слишком часто болтал с гомункулом про Дыру — не про самое Дыру, конечно, а с кем связываться, с кем не стоит, и он слишком часто интересовался теми, с кем связываться как раз не стоит. Мне бы раньше догадаться.

Миша, не пугай меня, Миша, надвинулось лицо писателя, борода черкала академика по носу, и было щекотно. Электорат поднял голову от стола, на щеках картофельные очистки. Инсульт, сказал уверенно, бабушка покойница тоже вот так слюни пустит и глядит.

Снова ходили незнакомые, ахали, какой молоденький, Электорат им охотно разъяснял, что нет, молоденький просто выпивши, а паралич, опыты, хватил седого, который на койке. Начинали ахать над академиком, сколько ему лет да успел ли пожить, и одни считали — успел, а другие — нет. Все пили самогон и ругали Николая, который снес мост. Все говорили, нужны бревна, писатель говорил, бревна дам, и тогда все давали указания: там делов-то — завести снизу и подважить, я тебе на пальцах покажу. Ты на мосту покажи, стервенился писатель, и всем было неловко за его поведение. Все как воспитанные люди не замечали, что сосед пролил соус на скатерть или, положим, гонит их чинить мост. Все рады были помочь писателю и в доказательство так часто напоминали, что за спасибо пашут ему огород, как будто до сих пор еще пахали, только вот зашли попить водички. Из-за моста были какие-то споры и взаимные расчеты, такие давние и шкурные, что никому не хотелось вступать; его и так починят, бригадир выпишет наряд — и починят, а без наряда как же чинить, если чинить положено с нарядом?!

Писатель исчезал и появлялся, ругаясь и хлебая самогон, как воду. Привез военного с медицинскими петлицами. Надо эвакуировать, по-военному сказал военный, но эвакуировать академика не стал, а стал кричать, что у него «уазик», а не вертолет. На военном самогон кончился; Электорат принес еще банку, и опять набезжало народу, и все ахали, жалеючи молоденького директора. Писатель сидел посмеивался, каждому подливал и каждому снова был приятель, и Николай вчерашний, который сломал мост, выпивал со всеми по норме, поскольку был за рулем. Во дворе у заметенной снегом поленицы чадил,

как подоженный, его дребезжащий «Кировец», академик ясно видел все в отпотевшее окно, и, стало быть, начался день.

О нем если говорили, то в третьем лице, только писатель подходил: «Ну что, Миша, порядок?», подсовывал под голову думочки, перекладывал руки, как ему казалось удобнее, а на самом деле было все равно, как ни положи — академик не чувствовал рук. Вот мочевого пузырь он чувствовал, и, когда писатель, догадавшись, подсунул ему банку и долго возился с пуговицами стариковских кальсон, из глаз полило от жалости к себе, и слезы на щеках он чувствовал тоже.

В банке зажурчало, Николай с Электоратом нестеснительно смотрели, стяхни, напомнил Электорат. Академик улыбнулся — губы слушались — и держал улыбку положенные пять тире восемь минут, выстраивая психогигиеническую цепочку.

Что ты потерял? Из первичных потребностей — секс, который последнее время был не потребностью, а повинностью. Жене уже не надо, на девиц изводил время и сам изводился в ресторанах, в разговорах этих пустопорожних, отдавал бы деньгами, чтобы поскорее, но деньгами — неловко, все-таки пристойные были девицы и тебя уважали, а с хваленными профессионалками не получалось — брезговал. Пыхтение на врезающемся в зад седле велотренажера опускаем — не потеря. Прелести природы, эти рассветы над рекой и маслата с прилипшими хвоянками? А много их было? Нет, было — тридцать лет назад: «Долой, долой туристов — бродяг, авантюристов», лучший барашек, чтоб вы знали, черный, с белым подхвостьем, само собой, не в буквальном смысле барашек, а молодая овца. Поел шашлыков, по горам полазал, Окуджаву попел и попил «Алазанской долины», чтоб не пропасть поодиночке. Профессионально реализовался. Нищета не грозит. Подходим к вершине пирамиды потребностей Маслоу: самореализация. Вот уж где, точно, не потерял. Не кочегары мы, не плотники, не электораты с николаями, которые телом живут и, случись что, кончиками пальцев, зубами за подоконник доволакиваются до раскрытого окна, чтобы разбить об асфальт ненужную без тела голову.

Высший кейф — это лежать. На диване любимом кожаном, шевро ластится к щеке, лежать и с потолка раскрывать преступления года и считать цифры, каких не даст ни одна статистика, потому что какая может быть статистика, если речь, скажем, о перекачке теневых капиталов? Самая точная здесь методика — диванно-потолочная, называется экспертная оценка. Только перед тем, как лечь на диван, потрудитесь овладеть предметом: тысячи три книг, километров двадцать социологических анкет, десяток газет ежедневно. И карточка в компьютере — дисплей на тумбочке, «доска» на животе, самую богатую информацию дают не аналитические статьи — мы сами себе аналитики, — а некрологи.

Вот был замечательный человек, взорвался в своем «БМВ». Трудовой путь от сперматозоида до работника сберкассы, потом скачок в правление коммерческого банка и всего полгода жизни. Полгода назад он первым, а не по алфавиту подписался под некрологом отца-основателя банка. Тот был профессионал: довел категорию надежности банка до БЗ — «хорошая», выше только группа А. Его застрелили в затылок. Было бы не жалко поверить в историю о честном банкире, не желавшем платить рэкетирам, и ученике, повторившем его скорбный путь. Если бы название банка не мелькало в связи с несколькими лопнувшими финансовыми компаниями. Так что скорее всего банк создавался как респектабельная «крыша», стиральная машина для отмывки грязных денег Дыры. Взяли с улицы перспективного отца-основателя, сунули чемодан долларов — старайся. Он и старался три года, пока не стал соображать: я солидный человек, банк оформлен на меня, долларов уже восемь чемоданов — не попробоват ли откупиться? Наказали его эффектно, в назидание преемнику, который после этого и пикнуть не смел, но все равно был смертником — таких вытаскивают из грязи в князи для какой-то разовой аферы.

Приходит время, афера всплывает, но все концы сходятся к покойнику: «Унес в могилу тайну миллиардов», и как там еще пишут в газетах. Привет вам из Дыры, г-н академик, лежите, лежите, не вставайте со своего дивана.

«Кировец» под окном чадил весь день, и в избу напустили солярочного чада. Дизеля плохо заводятся зимой, а если пускач не в порядке, то вовсе не заводятся, поэтому сметливые механизаторы не заглушают их неделями. Оживший директор таскался во двор блевать, стеная, как привидение, и следовал каждому совету знатоков по части поправки здоровья: пил рассол, самогон и картофельную юшку, обтирался снегом, чтобы промерзнуть, и залезал на печку, чтобы пропотеть. Но жидкости в нем долго не задерживались, а промерзал и потел он при своей тщедушности так быстро, что лечебный эффект не достигался.

Он только через час таких занятий осознал, что с академиком неладно. Спросил, ему сказали. Тогда он прилег к академику на древнюю кровать с шпешечками, лежал и трясся, и пружины провисшие ныли.

За столом пили Николай с верным Димой, то есть пил Николай, а верный Дима отказывался. У академика стянуло затылок от ужаса, такой он был, как всегда, кислый, с кровавым мазком от снесенного бритвой прыщика — этот верный Дима, который сейчас должен был колымить в Москве или, вернувшись домой пораньше, хлебать дешевое белорусское пиво.

Смотрите, что Дима привез, писатель с малоформатной партийной газеткой сел на кровать, заставив хлюпающего директора поджечь ноги. Газетка тоже была вполне настоящая, с большим портретом гомункула, и академик поверил, что это не галлюцинация, стало быть, он еще полежит и поработает головой, сколько отпущено.

— «Кукловоды», — с выражением прочитал писатель. — Политический момент пропускаем, «тот, в ком еще не остыло...» пропускаем. Вот про нас: «...под видом оказания помощи в организации избирательной кампании, в совершенстве владея психотехническими методиками зомбирования, превращают политических деятелей в покорные орудия осуществления целей, о которых можно только догадываться». Так, «из числа номенклатурных идеологов КПСС» — это ты, Миша, «гражданин Израиля...», Сем, а ты у нас что, гражданин Израиля? Сем, не расстраивайся, много не дадут — ты всего-навсего подручный Михал Михальча и техник по психотронному оружию. А я «не имеющий постоянного места работы, а попросту говоря, готовый вылизывать всяческие места тому, кто больше заплатит в валюте».

Гомункул на сгибе газеты косил половинкой глаза: дурачок, это мало того, что нам приговор — это тебе приговор. Вот и понятно, зачем ты Дыре такой глупый: сделают из тебя товарища Кирова и «Хорст Вессель» сочинят.

Для очистки совести академик возразил себе: нелепо, нерасчетливо, дорого в конце концов убивать собственного депутата... Что и позволит Дыре вопить: «Держи вора!» — и намек на воров уже сделан: кто якобы стоит за ним, академиком, кто за Семкой, кто за писателем. Добавь бедолагу оборонщика — его имя так и напрашивается, классическое «кому выгодно?» — вот, считай, замазаны все основные политические силы: старая номенклатура, компрадорская буржуазия, демократическая интеллигенция, ВПК. А если взглянуть на убийство гомункула как на рекламную акцию его партии, то не так все и дорого. Окупится. Наем киллера, скажем, окупится минутным сюжетом на телевидении — двенадцать тысяч долларов, если по рекламным расценкам, а тут задарма и не раз покажут какого-нибудь безутешного товарища по партии. Потом он еще и в Думу пройдет на довыборах.

Вот чего боялся гомункул. Знал больше академика и понял раньше.

Поехали, что ли, как всегда канючил верный Дима, с ненавистью глядя на вдумчиво поддававшего Николая. Писатель тоже пригляделся, оценил и засобирался. Пошла обычная возня, директор что-то забыл, хотя забывать было нечего, Николай допивал на посошок и — по-казацки — стремленную и забугор-

ную, писатель боялся оставить горящую печку и бегал за Электоратом, вернулся, хвост поджав — попал на Электоратову жену, — залил печку, стало дымно, и все пробкой вылетели во двор. Академика нес верный Дима, завернув его в прасальное до состояния кирзы одеяло, наверное, бабушкино покойницыно.

Оказалось, «Кировец» чадил не просто так. Он чадил, впряженный в неуклюжую бревенчатую волокушу. А на волокуше в прибитых вместо колодок поленьях стояла «Волга» верного Димы.

Николай окинул конструкцию взором Кулибина, знающего, что современники все равно не поймут, рано, и стал карабкаться в кабину трактора и съезжать мордой по металлическим ступенькам. «Давай лучше ты», — сказал писатель верному Диме, помогая устроить академика на заднем сиденье «Волги», но верный Дима, само собой, заныл, что сроду водит легковушки, а у трактора занос другой, лучше всем идти пешими, пока Николай не спустится с обрыва, а там не страшно, лед ровный и держит. «Сам пешком, а Михалыч кубарем?! — заорал писатель. — Садись, на трактор не хочешь — с нами садись!» — И верный Дима сел, и директор сел, положив ноги академика себе на колени, а Николай все штурмовал кабину.

«Кировец» с волокушей оказался на обрыве, как — у академика выпало. Момент появления верного Димы у него тоже сегодня выпал, и, наверное, были другие лакуны, не столь заметные. Не получалось из него мудрого паралитика. Получался обычный, с телевизором и навсегда подложенным судном.

Пологий берег реки был виден далеко, до шоссе за чахлою лесополосой. А на береговом урезе, на колее, процарапанной по льду, когда Николай переправлял «Волгу» в деревню, стояли военизированные товарищи по партии.

Товарищи были в черно-белом камуфляже «ночка», при портупях и в шнурованных ботинках до икры. По тому, как широко, по-мужчински они расставили ноги в этих мужчинских ботинках, было видно, что товарищи отчаянно бздят. Свой джип «чероки» они уже развернули нах Москау, вскочить и удрать. Снова, как тогда с гомункулом, было непонятно, с чего такой страх, — ну, повалют своими тугими ботинками большого старика и щуплого жиденка, ну, с мужиком помашутся четверо на одного, тем слаще будет опять же ботинками — да по хлебалу, чтоб кровью умылся и бородой промокнул. Тракториста они шуганут, а верный Дима теперь им верный, еще и поможет кого-нибудь за ноги держать. Нечего им бояться.

— Они с непривычки, — посочувствовал писатель, — я когда в Афгане убил своего первого — не то, что все стреляют и ты стреляешь, а нос к носу, — так полный сапог напрудил и не заметил.

— А что, — сказал верный Дима, — они попросились, мало ли, забуксуем, а у них обе оси ведущие.

Писатель коротко и страшно боднул его в подбородок. Димина голова вздернулась и опала, убежим, заскулил директор, и тут «Кировец» канул с обрыва, не так уж было круто, но волокушу сразу понесло юзом, Николай прибавил скорость, волокуша выровнялась и мотнулась в другую сторону, плюющие снегом тракторные колеса зависли в воздухе и опустились на лед, «Кировец» пошел ровно, и волокуша, ткнувшись в него сцепкой, тоже пошла ровно.

— Живем, — сказал директор, а писатель заорал: «Стой!», заскреб по стеклу вялыми пальцами, как будто хотел счистить человечка в камуфляже, который грозил им какой-то поднятой из снега кривулиной, показалось, винтовка, нет, рыбацкий ледобур, лунки бурить.

«Кировец» осел и въехал под лед, как в тоннель. Высокая труба еще пыхнула копотью. Вокруг нее кипела вода.

Польнья осталась ровная, с частыми насечками по краям. Пока волокуша сползала в нее, пока держалась на плаву, опрокидываясь, опрокидываясь, опрокидываясь вслед за тонущим «Кировцем», академик видел всплывающие в кипении воздушных пузырей льдины с такими же насечками от ледобура, гомункуловых товарищей по партии, которые с чувством исполненного долга уходили

ли, оглядываясь, к своему джипу, бездонные глаза директора и готового прыгать, уже раскрывшего дверцу «Волги» писателя.

— Хрен я стану перед вами унижаться, все равно добьете,— сказал писатель, захлопнул дверцу и поерзал, усаживаясь поудобнее.

К обрыву подбежал Электорат, расхристанный, полушубок внакидку, в руке облезлый полевой бинокль. Глянул, понял, что смог, механически дернул бинокль к глазам, чтобы увидеть номер катившего прочь джипа. В бинокль все было черным-черно, Электорат сам только что закоптил стекла над керосинкой.

Материться Электорат не стал, поскольку ругань без слушателей не облегчала ему душу. Повернулся и пошел звать людей. Низкое малиновое солнце било в глаза, и Электорат не выдержал, поднял свой закопченный бинокль и шел, не глядя под ноги, а глядя на солнце. Там, в теплом восходящем потоке, парил дракон, скупое шевеля чешуйчатыми крыльями. Электорат силился рассмотреть, сколько у дракона голов, но сквозь слезы было плохо видно.



Молитва о прошлогоднем снеге

* * *

Победа роняет слезы на камень благополучья.
Еще умереть не поздно. Часы и несчастный случай
споются, споют дуэтом. Улыбка моя не праздник,
а памятник. И поэтому скачет на ведьме всадник
в камне. Победа плачет. Удача стирает город
с лица. И простор иначе молчит, чем когда был молод,
когда глаза не болели и ночь рисовали руки,
вставали в рост параллели и стену ломали звуки...
А ныне — а ныне ветошь от счастья дрожит в комодке,
и небо роняет лето, и дыры в каменном своде...
Кресты не выдержат звона, и сдохнет герой романа,
и полдень сбежит с амвона — как полночь, глухой и пьяный.

* * *

У вчерашней зимы два лица, перепачканных злобой,
луна, как змея, желтолоба,
перекошенный снег,
если всех
юродивых
посадить в поезда,
пустые — навывлет — глаза
скажут «да,
поезжайте,
путь длинней, чем молитва»
или —
«нет»...

Подражание Виёну, а не Ронсару

Из бумаги, бумаги мои цветы,
Из бумаги мой стертый сон.
Над бумажной рекой нависли мосты,
И в соборе бумажный звон.

Где украден, украден, откуда взят
Мой безумный, бездымный сон?
Но в ответ бумажные стены дрожат
И молчат со сном в унисон.

Нарисуй, нарисуй мне сына и дочь
И поставь на белую твердь,
Где в линейку вечер и в клетку дождь
И в углах бумажная смерть.

Вот и нету, и нету пера у строк,
Сын и дочь — как дым и зола.
Нарисую тебя и сожгу листок,
И скажу, что ты умерла.

Байки смутного времени

1

И, что бы ни говорил Толя Кривошеев, обвиняя меня в махровом атеизме, к Провидению я отношусь с некоторых пор с полным пониманием и даже где-то с сочувствием. (Хотя не могу утверждать, будто до конца изжил отдельные подозрения.)

Лет пятнадцать назад, в самый разгар развитого застоя, к нам на полигон прибыла из Москвы комиссия для проверки нашего морально-политического единства в свете тревожных сигналов, поступивших из местных правоохранительных органов.

Стояли лютые морозы, самолеты замерзали на лету, но эти благополучно долетели в обстановке полной секретности и сели вопреки тому, что аэропорт был закрыт.

Тем временем мы, ничего не подозревая, беспечно отогревались подручными средствами в чьем-то промерзшем номере с разбитым окном, завешанным одеялом, кляня начальство и бюро прогнозов погоды.

К ночи все полегли, кто где стоял, один я по обыкновению предпринял героические усилия, чтобы добраться до родной койки, но дополз лишь до середины коридора, где и был опознан дежурной по этажу совместно с вышеназванной комиссией... Как сейчас вижу: стоят надо мной три лысых недомерка, схожих, как три капли ртути, и берут на карандаш мое нештатное состояние, не смотря на мой энергичный протест против двухмесячного простоя в условиях ухудшившегося климата на женевских переговорах.

В итоговый протокол отдельным пунктом было занесено решение о принудительной депортации моего брэнного тела к месту постоянной прописки, хотя трудовой коллектив, придя в себя после вчерашнего, нашел в себе силы, чтобы взять меня на поруки.

Тогда Кривошеев, будучи самым непьющим из моих друзей, свел членов комиссии с Аркашей Мартиросяном, местным скорняком-браконьером и моим собутыльником, и тот молча, без свидетелей, снял с них кроличьи шапки и так же молча водрузил на их место шапки из здешней ондатры, попутно замолвив за меня словечко. Но то ли они никогда не брали взяток и приняли это как дар от благодарного населения за их усилия по искоренению пьянства и самогонварения, только голосу рассудка не вняли и остались при своем особом на мой счет мнении.

Назавтра меня, вконец разбалансированного, загрузили после «отходной» в автобус, в котором пресловутая комиссия, усталая, но довольная, возвращалась на аэродром.

Я отметил краем сумеречного сознания, что автобус стоит рядом с вертолетом, откуда спешно перегружались какие-то ящики, стоит буквально между обвисшими лопастями, и смутно подумал, что случится, если они невзначай раскрутятся. И даже пробормотал на этот счет что-то неодобрительное и нечлени-

раздельное, но все спешили поскорее спрятаться от ветра и просили водителя завести мотор, чтобы согреться.

В автобусе Толя Кривошеев заботливо усадил меня позади всех, чтобы не мозолить глаза начальству, сердечно попрощался, и я сразу вырубился...

Но тут же пришел в себя, как только повеяло благоуханной соляжкой из выхлопной трубы. Меня согнуло пополам, и только я собрался облегчиться под чье-то сиденье, как взревел и с треском заглох двигатель вертолета.

Стало тихо, как в семейном склепе, где собрались только свои. Я поднял свою тяжелую и слегка удивленную голову и мгновенно протрезвел от увиденного.

Надо мной выгибался купол антрацитового неба с примерзшими звездами, чей свет слабо отражался на полированных лысинах гостей из столицы. Мне показалось, будто мы все вместе уже пересекаем границы Солнечной системы, но потом сообразил: случилось именно так, как я накаркал. Пилот вертолета, слыша требования побыстрее запустить двигатель, непроизвольно, мечтая о чем-то другом, нажал соответствующий тумблер, и винт, он же, как вы поняли, рука Провидения, срезал верхнюю часть салона автобуса и сорвал с благодарных голов членов комиссии шапки от Мартиросяна, унеся их в крошечную тьму.

Я на секунду представил себе, как это выглядело бы, будь они и наш водитель на пару сантиметров повыше или если бы я употребил на пару стаканов меньше. И мне снова стало нехорошо.

(Да и сейчас, когда моя Томка начинает при мне высмеивать общепризнанный тезис насчет Бога, берегущего пьяниц, я стараюсь перевести разговор на другую тему либо ухожу в ванную и там запираюсь.)

А пока что я вскочил на ноги, напялил на сомлевшего председателя свой волчий трех и заорал, чтобы не сидели на месте, чтобы бегали, накрыв головы руками и шарфами, и ждали меня, никуда не отлучаясь. А сам помчался, проваливаясь в сугробах, к далеким огонькам здешнего «шанхая», поселка, известного в радиусе пятисот километров тем, что там проживают преимущественно офицерские вдовы, большей частью соломенные. И хотя туда, чуть стемнеет, в любую погоду слетаются, как воронье, вертолеты, этот поселок почему-то не значится на картах генштаба.

Именно оттуда я вывез свою Томку, а Кривошеев — свою Ирку, каковую я ему и сосватал.

И эта самая Ирка, будущая Кривошеева, пожертвовала своей репутацией в моих глазах, но нас выручила. Пока ее соседки, поднятые по тревоге, собирали для моей комиссии оставшиеся от мужей ушанки со следами офицерских кокард, она растолкала ночевавшего у нее солдатика-самовольщика, водителя бронетранспортера, замаскированного в ее огороде под стог сена, велела ему нас отвезти, а меня слезно просила правильно ее понять и не сообщать об этой гуманитарной акции Толику. Скрепя сердце я обещал и с тех пор несу в себе это душевное терзание, как тот древний спартанец краденую лису за пазухой.

Счастливым соперник Кривошеева, не годящийся моему другу в подметки ни профилем, ни красноречием, примчал нас на взлетную полосу к началу посадки и после что-то лепетал, шмыгая веснушчатым носом, но я ничего не мог разобрать из-за рева турбин взлетающего истребителя...

Вообще такого, чтобы все вокруг искали моего расположения и понимания, со мной никогда еще не было. Те же члены комиссии, сбившись, как овцы, в кучу, смотрели мне в рот с испуганной признательностью, ожидая дальнейших указаний и не двигаясь с места.

Потом уже, в накопителе, придя в себя и посовещавшись, они робко сказали мне, что не смеют больше задерживать. Буквально могу катиться на все чetyре. А протокол они потом переписут. Первый раз, что ли... Я громко, заглушая садящийся ИЛ, матюгнулся. Во-первых, я ни о чем таком их не просил. Во-вторых, могли бы догадаться пораньше, пока Иркин хахаль со своей бронетехникой был еще здесь. Ибо теперь мне было проще долететь за пять часов до Москвы, чем три часа в мороз и метель тащиться до своей койки.

И все равно я выбрал последнее. В первопрестольной меня никто не ждал. Но даже не это главное. Сидеть с этой гоп-компанией в одном замкнутом помещении еще несколько часов было уже выше моих сил.

Не помню как, но только под утро добрался наконец до гостиницы и едва прилег, не раздеваясь, как приснилось, будто сижу в том автобусе без крыши по колена в крови, а срубленные головы в ондатре плавают в проходе и смотрят мне в глаза с немим укором.

Я заорал и поднял на ноги весь этаж. Мне налили успокоительное, но едва сомкнул вежды, как увидел продолжение своего триллера.

В тамошнем госпитале меня поместили к психам, хотя среди них было больше придуривающихся. Они, как водится, сперва прописали меня через две бутылки розового портвейна, а после поделились опытом выживания в здешних условиях. Словом, если я желаю отсюда выбраться, то должен три раза в день до еды выплевывать назначенные таблетки в унитаз, а перед сном принимать стакан «Московской особой» непременно местного розлива, уже зарекомендовавшей себя как универсальное средство от триппера, гриппа и тараканов. Я спросил ребят, чего б им самим не воспользоваться. Они переглянулись и ответили, будто им и здесь неплохо. Надо где-то перезимовать в конце концов.

Словом, не прошло и недели, как видение отрезанных голов в ондатровых шапках сменилось другими, более оторванными от жизни картинками, в результате я перестал орать по ночам и меня нехотя выписали.

А лечащий врач долго смотрел мне вслед, удивляясь скрытым резервам моего организма.

2

Вообще это была не худшая неделя в моей биографии. Тем более что Томка, испугавшись за мое здоровье, забрала меня к себе в «шанхай», чтобы подкормить и привести в божеский вид. Не скажу, чтоб я очень уж сопротивлялся. Надоела сухомятка, и действительно следовало перезимовать, пока командировка не кончилась, а сам вовсе не спился.

Работы, говорил уже, почти не было. И каждое утро я валялся на перине, пока Томка жарила яичницу, напевая. Иногда вставал, чтобы сходить за водой или наколоть дрова. А раз даже отремонтировал телевизор, доставшийся ей от прежнего мужа. Ей это понравилось, и она сказала мне в том смысле, что не худо бы к весне отремонтировать крышу и поправить забор. А там к Пасхе посадить картошку.

Мне и начальство, зная мой характер, не очень-то приказывало. К тому же командировка шла к концу, как и переговоры в Женеве, и я начинал скучать по своим соседям по коммуналке.

Для кого ремонтировать и сажать, спросил я, желая потянуть время. В Москву тебя забираю. Там этой картошки — в любом магазине.

Так что дом продавай, ищи покупателей, а про огород забудь. Вот так говорю, сам себя слушаю и думаю: на черта мне все это надо?

Но уж очень не хотелось связаться с этим ремонтом! Я же электронщик, не штукатур какой... А она по простоте обрадовалась, меня расцеловала, сама за бутылкой сбегала, чего прежде за ней не наблюдалось... Во влип, думаю. И пока соображал, как бы не сморозить еще чего лишнего, она нажарила мне картошки, той самой, для посадки (еще вчера не мог допроситься), а после второй рюмки намекнула насчет загса.

Вали до кучи, сказал я себе. Какой еще загс, говорю. В Москве и распишемся. В Дворце бракосочетания. Слыхала про такое?

А в душе заскучал еще больше. Не скажу, чтоб она мне не нравилась. А тут разругаясь, как невеста, глаза заблестели... Прямо позавидовал ее первому, лейтенанту Геночке, кому она досталась лет двадцать назад. Кое-что, конечно, и мне перепало. Образно говоря, было за что подержаться. Иной раз просто жалею, что человеку только две руки отпущены. Но это ночью. А у-

ром проснешься, услышишь скворченье сквородок с кухни — и опять сомневаешься.

Пока я вот так брожение в своих рядах испытывал, Томка покупателя на дом нашла и даже успела задаток с него поиметь. И как-то утром отправила меня, не проспавшегося, на станцию за билетами до Москвы. Все ведь подгадала — и когда моя командировка заканчивается, и когда ей за дом полностью отдадут.

Делать нечего, иду за билетами, ни на кого не смотрю, но замечаю: что-то больно много сочувствующих мне по дороге попадается!

И ведь со всеми эту огорчительную перемену моего гражданского состояния надо обмыть. Иначе до смерти обидятся!

Словом, лишь к вечеру до кассы добрался, смотрю, а у меня только на один билет осталось...

А там в окошке кассирша Зинка, здешняя красуля, Мэрилин Бардо все звали, смотрит и ухмыляется. Прежде к нашему брату командировочному ноль внимания, одно только глубокое презрение, а тут разговорилась прямо, социурившись! Это что же, мол, получается? Ай-я-яй, такой интересный из себя мужчина и на десять лет старше разведенную бабу взял. Или в Москве помоложе нет?

— Да кому я там нужен? — говорю. — Одно слово, что там прописан. Все больше по командировкам, мать их так. Ты лучше вот что, дай мне в долг на второй билет. А после приеду, никуда не денусь, верну до копейки. Да, и Томке ничего не говори...

— Везет же ей! — смеется. — Такого кадра отхватила. Боишься ее? Тогда мы это по-другому сделаем. Вот через час будет проходящий поезд, я пробью два купейных до Москвы, и все твои затруднения здесь останутся. — И в глаза мне смотрит.

— Что-то я не врублюсь, — говорю. — Пока я до Томки добегу, пока она соберется, а за дом она только задаток получила, а командировка моя не кончилась...

— Да что ты про Томку заладил?! — говорит. — При чем тут она? Мы с тобой поедем, понял? Ты и я. Чего молчишь? Думаешь, не видела, как стараешься на меня не смотреть? В общем, ты как хочешь, только я уговаривать не собираюсь. Но только учти: другого случая не будет. Может, и надумаешь, а поезд все, ушел. Или, знаешь что, иди-ка ты к своей Томочке да расскажи, как ее денежки пропил, пока до меня дошел! У ней ручка тяжелая, мне ее Геночка плакался...

Окошко закрыла, а я стою как дурак, не знаю, что и сказать. И вдруг она из двери выходит. С чемоданом. И заплаканная.

Повесила на окошко табличку, мол, перерыв, взяла меня под руку и на платформу вывела. И все молча, только что всхлипывала и глаза утирала. Со стороны посмотришь — будто провожает меня насовсем.

А я спьяну подумал: «Может, я не понимаю чего? Может, судьба? Томка на десять лет старше, эта на пятнадцать лет моложе, не поймешь, что хуже!»

Что дальше было — даже вспоминать не хочу! Пока ехали, пока до дома добрались, пил не просыхая.

Помню смутно, как она без меня в домоуправление устроилась, как свои порядки в нашей коммуналке навела. Соседи по стенке ходили.

А после к начальнику нашего паспортного стола переехала. С вещами.

— Уж больно ты пьешь, Сереженька, — говорит. — Вот перстень, подарок первого мужа, пропил, а уже не помнишь. А у меня свидетели есть. Но я тебя, так и быть, прощаю. — И с тем ушла.

Мое начальство сжалилось и отправило назад в командировку, чтоб в себя пришел. Я приехал — и сразу к Томке. Вот что хочешь со мной делай. Она мне отвесила с левой и правой, а потом заплакала.

Ну а мне чего плакать? Починил ей крышу, сарай, картошку посадил. Сам жил в гостинице. И ходил к ней как на работу. А забор мне мои ребята помог-

ли перебрать и обновить. Только тогда, приняв работу, она оставила меня на ночь, а утром по холодку отправилась сама за билетами...

И вот я собрался, жду возле калитки, а она вышла с чемоданом заплаканная, совсем как Зинка, готовая хоть на край света. Бестолково получилось, бросила дом и огород, но по-другому, видно, никак.

А в Москве она с Зинкой подружилась. Землячки как-никак. Зинка у нас бывает только когда меня дома нет. Своего мальчика иногда оставляет. Томка уверяет, что на меня похож. Да какая теперь разница?

3

А теперь о дне сегодняшнем. Полгода назад, маясь от безделья и безденежья, я позвонил на телестудию, чтобы перечислить всех диадохов Александра Македонского поименно — согласно заданию для телезрителей.

Ведущий посмотрел с экрана мне в глаза, потом в свою бумажку и спросил упавшим голосом: не кандидат ли я часом исторических наук?

Услышав, что я второй месяц как безработный, он облегченно вздохнул и сообщил под аплодисменты собравшихся, что мне причитается кофейный сервис на шесть персон, как раз по числу диадохов. И что я могу получить свой приз сегодня же, если успею к ним к закрытию.

Томка ущипнула меня в знак согласия, и я записал, как доехать. Хотя по мне было бы лучше взять деньгами. Гости к нам больше трех не ходят, в основном Кривошеев со своей Иркой или Зинка со своим ментом, погрязшим в коррупции. Итого две чашки с блюдцами получаются как бы лишними.

Пришлось на ночь глядя пилить через всю Москву на такси, поскольку свой раздолбанный «жигуль» я добил еще на закате перестройки на Каширском шоссе, не доезжая Белых Столбов.

До сих пор не пойму, как там оказался. Томка, чтобы удостовериться в моей искренности, сама съездила туда на электричке. Никуда не денешься: стоит моя одиннадцатая модель возле поста ГАИ, как памятник Неизвестному Водиле, поскольку никаких документов при мне обнаружено не было, а из больницы, куда меня отвезли, я благополучно сбежал, едва очухался.

Похоже, когда я вышиб лбом лобовое стекло, я не только осознал, почему оно так называется, но одновременно начал вспоминать то, чего и знать бы не должен в силу моего незаконченного вечернего образования.

Дело в том, что еще в детстве я мог прочитать про диадохов в старинных книгах у бабки на чердаке, где я их нашел среди хлама и паутины, с остатками позолоты на потемневших обложках.

Они попали туда после разгрома барской усадьбы, когда кипящие разумом массы растащили все, что могли унести, а потом раскидали по чердакам и сараям то, что не нашло применения в коллективном хозяйстве.

Каждое лето я с нетерпением ждал, когда родители сплавят меня к бабке на каникулы, чтобы разглядывать, обмирая, эти таинственные яти и ижицы, из которых складывались запретные сведения о богах, царях, героях и святых угодниках, так и не давших нам избавления.

И вот каким боком теперь это мне вышло... Пока ехали на студию, Томка всю дорогу ныла, что нас непременно обманут, не могут не обмануть, а по приезде целый час перебирала чашки и молочники, пока я смолил в коридоре с ведущим программы из его пачки.

Так я приобщился к этим «угадайкам» — телевикторинам, призванным, как уверяет Кривошеев, отвлечь внимание озабоченной общественности от свалившихся на ее голову негативных издержек и неадекватных реакций. В квартире уже не пройти из-за коробок с призывной аудио- и видеоаппаратурой, а Томке все мало, и перед каждой передачей она отлавливает меня, где бы я ни был, усаживает перед телевизором и наливает обязательные двести граммов сорокаградусной для расширения сосудов.

Обязательными эти граммы стали, когда я, осознав все плюсы-минусы своего нынешнего статус-кво, стал придуливаться, будто ничего не могу вспомнить на трезвую голову. Поначалу Томка подозрительно шурилась, заглядывала в мой гороскоп, но, лишившись моего пылесоса, стала сама наливать мне по стакану чего-нибудь высшей очистки, без цвета и запаха.

Потом она набирает номер телефона за полчаса до начала передачи, поскольку потом туда не пробиться из-за лавины звонков из ближнего зарубежья, измотанного независимостью, и из дальних регионов, изнывающих по суверенитету. Тамошние девочки на телефоне, не говоря о режиссерах и продюсерах, ее голос знают наизусть и потому трубку не бросают, ожидая моих единственно правильных ответов.

И я исправно, как под пыткой, выдаю им все, что хотели от меня услышать все эти ведущие, напоминающие следователей из фильмов, где гестаповцы допрашивают офицеров абвера, справедливо полагая, что это все те же наши разведчики.

Я как чувствовал, что добром это не кончится. Говорил Томке: пора завязывать, жадность уже сгубила несметное число фраеров, куда более крутых, чем я. Она вздыхала, соглашалась, но потом просила сыграть еще разок. Ради нее. А потом — все. А то в самом деле соседи уже косятся. Их раздражает, когда мы пустую посуду выбрасываем в мусоропровод, словно разбогатевшие спекулянты, а не тащим, как все нормальные люди, в приемный пункт. И я скрепя сердце опять соглашался. В последний — так в последний.

И вот как-то ночью нам позвонили по телефону. Это был ведущий одной из телеигр. Давясь от радости, он сообщил заплетающимся голосом, будто мне хочет задать свой вопрос сам спонсор. Только не сейчас, а завтра. И не на студии, а у себя. Всего-то один вопрос, но, если отвечу, он отдаст мне свой автомобиль. Не отвечу — отпустит, щедро отблагодарив. Все будет, как в лучших домах. Телекамеры, юпитеры, зрители. Таким людям нельзя отказывать, добавил он в ответ на мое красноречивое молчание. Иначе это внесет ненужный драматизм в их и без того натянутые отношения.

Я посмотрел на Томку. «В последний раз, — сказала она, — ну, пожалуйста! Ты же хотел машину».

И недрогнувшей рукой налила полный стакан моего допинга.

4

Утром нас разбудил нетерпеливый гудок автомобиля. Ведущий стоял возле огромной сверкающей никелем машины и призывно махал рукой. На соседних балконах были видны полуодетые люди. Они смотрели в мою сторону.

Шестым или каким там по счету чувством я понимал: сидеть бы мне дома и не высовываться. Внять внутреннему голосу и смутным предчувствиям на фоне похмельного синдрома. На худой конец заглянуть в гороскоп, хотя я в это дело ни вот на столько не верю...

Но я как заведенный начал надевать чистую рубаху, зачем-то галстук, лет десять не носил, а Томка сунула в карман пиджака тормозок, так, пару бутербродов с плавлеными сырками к пиву.

И вот я вышел из дому навстречу судьбе и роковым стечениям обстоятельств, несмотря на громыхающую тучу, надвигающуюся со стороны мэрии, и морозящую облачность над нашей префектурой.

В машине сидели развалясь два здоровенных лба с бритыми затылками. Скрипя кожей, протянули руки для знакомства. Паша и Валера.

Можно ехать.

Мы помчались, обгоняя другие машины, включая милицейские, и останавливались, только чтобы дать в лапу козыряющим гаишникам.

Выехали за город по узкому правительственному шоссе среди высоченных сосен, за которыми поднималось солнце, и продолжали гнать, поскольку опаздывали. Наконец после одного поворота мы выкатились к забору из металлической сетки, за которым стояли кирпичные коттеджи, машины и плаватель-

ные бассейны среди постриженной травки. В воздухе порхали разноцветные шары и полуголые девицы, по газонам носились детишки и огромные собаки. Все вокруг было круто, схвачено, упаковано, расставлено и не похоже друг на друга.

Паша и Валера одновременно указали мне каменными подбородками на самый большой, трехэтажный, коттедж, похожий на островерхую кирку с башенными часами. При нашем появлении часы отбили четверть часа, не хуже кремлевских (а может, и лучше). Это означало, что мы опоздали на пятнадцать минут, отчего Паша и Валера мигом озаботились, вытолкали нас из машины и потащили в дом.

Там нас уже ждали и встретили свистом. На втором этаже было что-то вроде концертного зала со сценой и роялем, а пониже в полумраке на отдельных ложах возлежали и расслаблялись гости с венками на головах, покуривая и потягивая баночное пиво.

Я увидел знакомых операторов и осветителей, спешно устанавливающих аппаратуру. Видно, тоже подняли ни свет ни заря. Они узнали меня и виновато улыбнулись. Позже я узнал, что сегодня они должны были быть на студии. Я прикинул, сколько же пришлось заплатить, чтобы столько народа сорвать с работы.

Мало того. Когда мой ведущий завел меня за сцену в гримерную, там нас уже ждала знаменитая гримерша Софья Абрамовна, известная тем, что прежде пудрила лысины руководителям страны. Подмигнув, она без долгих разговоров принялась за мою невыспанную и потную физиономию.

Мой выход на сцену особого впечатления на публику не произвел. Какая-то невидимая девица хихикнула из полумрака, кто-то зевнул, а потом свистнул.

Я взглянул на ведущего, уже успевшего рассказать присутствующим пару анекдотов из телевизионного фольклора, он пожал плечами, поморщился, мол, не до тебя, а затем радостно вытаращился, глядя мимо, и заплодировал вместе с залом.

Я оглянулся и увидел вертлявого малого в лисьей шубе, выбежавшего в сопровождении двух молоденьких девиц в купальниках и с мокрыми волосами. Судя по тому, как все сходили с ума от радости, это и был наш общий благодетель, в том числе мой, поскольку лишь благодаря ему раскрылось на старости лет мое дарование...

С некоторым запозданием из-за занавеса грянул невидимый оркестр, что-то из оперы, потом телохранители выкатили руками призовой автомобиль, каковой мне предстояло выиграть. Теперь все аплодировали, завистливо косясь в мою сторону. Уж больно классная машина!

Ведущий, зардевшись от радостного смущения и всеобщего внимания, чего за ним прежде не водилось, заявил, как он рад снова видеть своего друга детства, ныне бескорыстного покровителя искусств Илью Второго Болеровского.

Благодетель, было присевший, подскочил, сбросив на пол шубу и обеих девиц, оставшись в результате в стираной футболке с выцветшим желтым драконом и в мятых, замызганных шортах ниже колен.

Глядя на него, приплясывающего под увертюру, я понял, для чего ему в июне месяце шуба. Без нее он казался щуплым, кривоногим и похожим на паука. Он протянул мне руку, переспросил отчество, а я незаметно вытер о штанину пальцы, так как его ладошка оказалась донельзя потной. Я все не мог понять: сколько ему лет? На вид совсем молодой, лет двадцать, не больше, а в глазах сиротская тоска и тусклость, делающие его пятидесятилетним.

Илья Второй (наверно, я прослушал, кто был первый) махнул ручкой, отчего погас свет, и все снова увидели его на экранах огромных телевизоров, расставленных по всему залу. Это был хроникально-художественный фильм, что-то вроде капустника, снятый одним известным режиссером со знаменитыми актерами. Кто-то читал текст за кадром.

Вот, мол, его трудное детство в отстающем колхозе, где он, не снимая красного галстука, собирал колоски. А это он собирает макулатуру. Потом — комсомольские взносы. Потом — импрессионистов. А это он со своими тело-

хранителями тащит металлолом на строительство баррикады возле Белого дома, сначала в 91-м, потом в 93-м.

Илья Второй опять махнул ручкой. Показ остановили.

— Колюня,— обратился он к мордастому телохранителю с пучком волос на лысеющем затылке,— а ты, выходит, оба раза сачковал? Я только сейчас заметил. Думал, зачтется, если победит мой идеологический противник?

И погрозил ему пальцем. Это было встречено восторженным подвыванием и одобрительным топотом. Мордастый покраснел и зачем-то поставил ноги на ширину плеч, как на уроке физкультуры.

Затем представили обеих девиц, снова усевшихся к Илье Второму на колени. Та, что справа,— родная жена. Слева — двоюродная.

Я всего-то на секунду представил себе Томку и Зинку, сидящих в названной очередности у меня на коленях, и сразу потемнело в глазах...

— Хочу напомнить, для чего мы собрались,— сказал Илья Второй, когда публика отсмеялась и всем налили еще по одной.— Этот человек,— он указал на меня широким жестом,— неперменный участник и многократный победитель моих конкурсов. Из десяти моих нефтяных скважин одна точно работает на него. Сегодня он должен дать ответ на мой вопрос, на который никто из вас не ответил. И, если окажется прав, я оторву ее от сердца! — Он показал на машину.

Хотя никакой музыки уже не было, он продолжал свой танец, вытирая пот со лба. Будто боялся остановиться.

— И будешь ездить на общественном транспорте? — ужаснулся ведущий. Зрители нехотя рассмеялись. Скажет тоже!

— А я ничем не рискую,— сказал благодетель с легкой одышкой, остановив наконец свой перепляс.— На этот вопрос не смогли ответить лучшие умы нынешней политики, эстрады, кино, театра, а также правоохранительных и криминальных структур. Ну, вы их знаете. И потом наш гость так смотрит на мою машину, как будто прикидывает, куда ее поставить. А мои ребята уже осмотрели его двор. Говорят, будто там невозможно развернуться. Я правильно говорю?

Паша и Валера, переглянувшись, важно кивнули. Я в самом деле не мог оторвать глаз от машины. Таких я еще не видел. А поставить действительно негде. У нас ее разрисуют, а стекла разобьют. Но это уже моя забота. Захочу — продам. Захочу — подарю «скорой помощи». Пару месяцев назад вызывал ее к Томке. Приехали через полтора часа. Говорили, что машина старая, вечно ломается.

— Я знаю, о чем думает наш гость,— вздохнул благодетель.— И вы все думаете только об этом. О деньгах. Я правильно говорю? — спросил он и снова пустился в медленный танец, что-то вроде бега на месте. Наверно, врачи прописали.— Предупреждаю сразу,— сказал он, отбивая чечетку.— Продать такую машину вы сможете только тому, кто оставит вас и без машины и без денег.

— Ты хотел задать вопрос,— напомнил ведущий, посмотрев на часы.

— Я ничего не забыл! — отмахнулся благодетель и подкатился ко мне на полусогнутых.— Но я должен предупредить человека, какую обузу он на себя взваливает. Это все равно что принцессу из дворца привести к себе в хрущобу... Это ведь не ваша одиннадцатая модель, которую вы разбили возле Белых Столбов! Понимаете?

Он стоял рядом, заглядывая снизу мне в глаза. Эдакий отрок, состарившийся в одночасье. Откуда он знает про Белые Столбы? И что еще знает?

— Я что-то не врубуюсь... — замотал головой ведущий.— И, боюсь, наши зрители тоже. Еще не было вопроса, а вы уже обсуждаете, что делать с призом, который еще надо выиграть. Илья, давай вопрос!

Зрители сочувственно поддержали.

— Кончай вольнку! — крикнули из дальних лож.

— Я прямо тащусь от всеобщей неадекватности как следствия всеобщего обязательного образования! — схватился за голову Илья Второй.— Главное, мы с человеком понимаем друг друга, неужели неясно? А тебя и твою сраную передачу я для того и содержу, чтобы ты иногда врбался в мои идеи... Ну, так вот. Все знают, что такое автомат Калашникова и для чего предназначен?

— Мочить конкурентов! — крикнули из полутьмы под женское хихиканье и жеребячий хохот.

Благодетель поморщился, замахал ручкой:

— Это лежит на поверхности. Что еще? Это и есть мой вопрос.

— У вас минута на размышление, — сказал ведущий.

— Две! — показал на пальцах благодетель и снова отбил чечетку.

— Три! — крикнула двоюродная жена.— Видите, как он растерялся?

Я подумал, что как раз это не имеет никакого значения — минута, две, три, но промолчал. Ответ или есть, или его нет. А время — понятие относительное.

Как-то на полигоне я зашел под вечер к дежурному по части.

Там хозяин, пожилой, усатый майор, за что-то распекал при всех молоденького лейтенанта, сдававшего пистолет после караула. От расстройства тот случайно нажал на курок и выстрелил — не в майора или себя, как сначала подумалось, а в ближний сейф, какие там стояли вдоль стен. Пуля, рикошетируя от стальных дверей, летала по комнате, старательно минуя этого салажонка, застывшего, будто изваяние. В то время как все присутствующие уже упирались носом в пол, прикрыв головы руками.

Умирать буду, а не забуду цвет и запах того штабного линолеума, заждавшегося швабры дневального, и тот саднящий металлический звон в ушах...

Сколько всего пуля сделала оборотов вокруг того лейтенанта, пока, словно заблудившаяся пчела, не вылетела в форточку, сколько времени это продолжалось — сказать невозможно. Умом-то я понимаю: тысячные доли секунды, не больше. Но в таких случаях включаются другие часы, где секунды идут за сутки.

Помню, поднялись мы, оглохшие и неузнаваемые, и зачем-то стали подсчитывать вмятины с облупившейся краской на сейфах, все время сбиваясь...

— Вы бы передохнули, — сказал я благодетелю, продолжавшему тем временем выкаблучиваться у меня перед носом на потеху зрителям.— Танцуете вы здорово, но это отвлекает. А времени дали всего ничего.

Он уставился на меня с неподдельным интересом, но плясать перестал. Наверно, с ним, за его же деньги, так еще не разговаривали.

— Кстати, ваше время вышло! — сказал ведущий, не скрывая злорадства.— У вас есть ответ?

— Еще минуту! — сказал Илья Второй.— Мне это прописал мой психоаналитик. Здорово помогает, но вам действительно мешает. Извините.— Он подошел ко мне ближе, вытирая пот.— Ведь вы знаете ответ! Я по глазам вижу. Чего вы боитесь? Ну! — И вытащил из карманов шорт связку блестящих ключей.— Говорите — и она ваша.

— Илья, как хочешь, только это не по правилам! — сказал ведущий.— Его время уже вышло. Мы ведь так договаривались?

Зрители зашумели, согласно кивая головами и придерживая при этом венки, чтобы не свалились.

Ответ я действительно знал. И уже решил, что делать с машиной. Одно я не мог понять: зачем мне это все нужно? Мало мне приключений?

— Не обращайтесь внимания, — сказал благодетель.— Тут я за все плачу. За просроченное время в том числе. Ну?

— Его можно перелистывать, — сказал я.

— Кого? — устало спросил ведущий.— Автомат Калашникова? Вы это серьезно?

— «Автомат» — это сочинение Ивана Калашникова в трех частях, — сказал я как можно пренебрежительнее, чтобы скрыть торжество.— Тысяча восемьсот сорок первый год. Санкт-Петербург. Типография Иогансона.

— Отечественную словесность надо знать, господи! — сказал Илья Второй торжествующе.

Я буквально видел это: по старинному переплету, пахнущему сыростью, ползет божья коровка. С буквы на букву. На букве «т» она остановилась и распушила крылышки, готовая взлететь.

5

Утром я обнаружил себя лежащим поперек пятиспальной кровати полностью одетым и при галстукке. Только ширинка была расстегнута.

Я сел и недоуменно оглянулся. Это сколько же я вчера принял, обмывая с благодетелем выигранную машину?

В этой комнате все казалось огромным — камин, телевизор... Про кровать я уже говорил. Здесь было все для нескудной жизни, не хватало только таблички «Руками не трогать». И потому я потрогал ближайшее кресло с резными гнутыми ножками, обитое бархатом. И даже присел в него, но тут же встал.

Почему-то захотелось к себе на кухню, к холодильнику, в котором меня ждала бутылка пива. Прямо заскрипел зубами, как подумал.

Я выглянул в окно. Светило солнышко, возле ближайшего бассейна бегали голые детишки, а на полотенцах загорали, развесив тощие груди, их мамы. (Может, так и надо? Меньше будет потом вопросов.)

Значит, здесь Илья, с которым, припоминаю, пили вчера на брудершafft, скрывается от прихлебателей, вымогателей и недоброжелателей? («Только как от них спрячешься?» — плакался он.)

Я вышел из комнаты, потолкался, путаясь среди зеркал и драпировок, наконец нашел какую-то дверь и толкнул ее.

Лучше бы я этого не делал. Там на полу в простынях возились давешний мордастый телохранитель, распустивший свой пучок на затылке, и двоюродная жена его хозяина, потребовавшая для меня третью минуту. Сейчас она исправно стонала, прикрыв глаза. Потом открыла и замолчала, встретившись с моим оторопелым взглядом. И стала из-под мордастого выбираться.

Тот замер, боясь обернуться, потом стал выпутываться из простынь. Я, долго думая, рванул назад и ввалился в комнату напротив, прикрытую одной портьерой, где тоже кто-то стонал.

Но это был всего лишь благодетель, лежащий в полном одиночестве на кровати, не уступающей моей по жилплощади, и тоже поперек.

Весь он был какой-то потный, голый и слинявший. На полу валялись мокрые полотенца и что-то вроде использованного презерватива.

— Где вы все, сволочи?! — простонал он и приоткрыл один глаз. — Это ты, мужик! — обрадовался мне как родному. — А мне докладывали, будто уехал, не попрощавшись.

— Куда я без машины? — намекнул я.

— Ты не стесняйся, — произнес он. — Пиво в холодильнике.

Он пил, закрыв глаза, и потел, вытираясь полотенцами.

Когда из комнаты напротив снова донесся приглушенный стон, он замер, потом допил из горлышка.

— Ну, я пойду! — сказал я, приподнимаясь. — Мне еще добираться.

— Посиди еще, — попросил он. — Хотя, как хочешь. Только будь человеком, поднимись наверх, они там в бильярдной, пусть кто-нибудь спустится.

Я допил и поднялся наверх. Все приживалы и прихлебатели были уже там. Не хватало только мордастого и двоюродной супруги хозяина. Они появились вслед за мной в обнимочку. Она лукаво посмотрела на меня и потупилась.

— Илья зовет, — сказал я. — Что ж он там один... Он же больной совсем.

Они замерли, глядя на меня.

— Тебе, отец, может, мало показалось? — спросил мордастый. (Вспомнил: хозяин звал его Колюней.)

— Да нет, — сказал я, чуть отступив. — Все нормально.

— Нет, серьезно, — настаивал он, взяв в руки кий. — Может, чего не так? Может, тебя плохо обслужили?

— Все так, — сказал я. — Только зря двери на ночь не закрываете. Сквозняки.

Он с минуту смотрел на меня, соображая, что со мной дальше делать. Потом обернулся к коллегам:

— Ты, Паша, и ты, Валера. Отвезете гостя домой. Чтоб в целостности и сохранности. Все-таки самородок. Национальное достояние. А я спущусь к Илье. Посмотрю, как он там.

Я сел на заднее сиденье своей машины, поскольку спереди сели Паша и Валера. До кольцевой ехали молча. Я все не знал, с чего начать. Моя машина или не моя? Очень уж она мне понравилась. По этому шоссе я когда-то проезжал тысячу раз. Мой организм, помня все тамошние колдобины, всякий раз внутренне сжимался, но потом облегченно расслаблялся — пейзаж за окном не изменился, но ожидаемых толчков и ударов не было. Не машина, а лебедушка, плывет, а не едет.

— А как тут переключаются передачи? — спросил я, когда подъезжали.

Паша только усмехнулся и с интересом посмотрел на меня в зеркальце.

— Не отвлекай! — строго сказал Валера. — Твое от тебя не уйдет. Лучше скажи: что там за народ? Случилось что?

Дорогу перегородила толпа с плакатами и транспарантами. Опять чего-то требуют или против кого-то негодуют. Обычное дело.

— Вкладчики, — сказал я. — Или еще кто. У нас тут часто собираются. Все ждут. Все надеются. Лучше влево, в объезд.

— Еще чего! — хмыкнул Паша и, сбросив газ, поехал на толпу.

К слову сказать, я на эти демонстрации никогда не ходил в отличие от Кривошеева. Хотя нам прежде по два отгула давали, как за сдачу крови. Кривошеева хлебом не корми, дай в кучу собраться...

Как-то раз я вот так через толпу полез в магазин, всего минута ходьбы, но только к ночи вернулся. Кто-то злонамеренный слух распустил, будто какая-то благотворительная организация всем желающим будет выдавать по сто долларов в рублях и по курсу. А всем недовольным плюс к тому парфюмерный набор. Сразу пол-Москвы сбежалось. Сдавили со всех сторон и орут: по какому курсу будут давать, по вчерашнему или по сегодняшнему, который еще не объявили?! Обязательно ведь обманут, дадут по вчерашнему, а разницу в карман! И стали списки составлять.

Я еще пару метров пробился, а дальше не пускают, пока не назову свои номер и фамилию... А в одном месте вообще хотели в инициативную группу включить, вон, говорили, мужик не зря так старается, локтями работает, знает, поди, когда и где начнут выдавать.

Потом ОМОН приехал — и сразу дубинками махать. Они и сейчас, вижу, машут, но как-то неубедительно. Тогда они особенно старались. Не иначе думали: чем больше народа разгоним, тем больше им достанется.

Сегодня поспокойнее. И толпа пореже. С краю все больше старички бутылки собирают, а бабки сигаретами торгуют. Да пьяный бомж на дороге разлегся и милостыню требует.

Потом какая-то бабка мой галстук разглядела, будь он неладен, и сунула жалобу на пяти листах с резолюциями наискосок. Приняла за начальство, а этих стриженных балбесов за мою охрану. Кто ж еще на такой машине будет наезжать прямо на людей? Лучше б она этого не делала!

Сразу стали мне совать разные прошения и петиции, не давая закрыть окно. Попробуй докажи им всем, что ты не по этой части.

Паша и Валера скучали. А народ все прибывал, забыв про ораторов. Заглядывали в машину.

— Ладно, — сказал Паша. — Сам дойдешь. Тут рядом.

— А машина? — сказал я, еще на что-то надеясь. — Мне ее ваш хозяин подарил.

— Ну, ты че, в натуре, ничего не понял? — обернулся ко мне Валера. — Какая еще машина, когда народ тебя требует?!

— Машина моя, — сказал я. — Я ее выиграл.

— А никто не спорит, — пожал плечами Валера. — Я два года из караулов не вылезал, с «Калашниковым» в обнимку на посту спал, но ни о чем таком даже не догадывался. Тут ты молодец.

— Ты не о том говоришь, — перебил Паша. — Он прав: служим мы Илье. Но раз он ее подарил, она теперь не его, логично?

— Ну! — кивнул Валера. — А у тебя, отец, на нее даже документов нет. В следующий раз начинай с документов.

— Ты другое пойми, — сказал Паша. — Илью мы бы не кинули. Он нам как отец родной.

— Да все он понял! — сказал Валера. — Поехали.

— Нас неправильно поймут, если мы вот так человека посреди дороги бросим, — сказал Паша. — Людям надо объяснить, как и что.

Он открыл дверцу, и они вылезли из машины.

— А ну вылезай! — сказали они мне. — Видите, прячется... — обратились они к окружающим. — Бойтся народного гнева...

Когда я выбрался из машины, они схватили меня за руки и с размаху ударили лицом о стекло.

Женщины испуганно охнули. Я согнулся от боли, закрыв лицо руками и чувствуя, как между пальцев сочится кровь. В ушах стоял тяжелый звон.

— Ну как? — участливо спросил склонившийся надо мной Паша. — Все нормально? Может, добавить?

— Не надо, — сказал я, чувствуя боль в разбитых губах.

— Что смотрите? — обратился Валера к собравшимся. — Вот он, из этих, кто зарится на чужое. Только так с ними надо...

Толпа молчала. Стоя на коленях и вытирая лицо, я слышал, как за спиной хлопнула дверца и завелся мотор.

Мне дали носовой платок, но только я поднялся, как получил новый удар по спине. Я с трудом обернулся. Какая-то старушка, плохо одетая, с побелевшими от ненависти глазами. В руках развернутое переходящее красное знамя. Я даже разобрал надпись сквозь розовую пелену: «Победителю в социалистическом соревновании». Награда нашла героя.

Сколько меня, как победителя соцсоревнования, награждали грамотами и значками! Но знамени еще не было. Провидение свое дело знает туго, как сказал бы Толя Кривошеев...

Старушку оттащили, но она успела плюнуть мне в лицо:

— Подавись моими кровными, ирод!

— Да это ж Серега, сосед наш! — сказал кто-то сзади. И меня подхватили под руки, повели к моему дому.

— Надо ж, человеку ни за что досталось, — вздохнула какая-то женщина.

— Значит, есть за что, — сказала другая. — Жалей их больше.

— Не убили же, — подхватила третья.



В. Р. ФИЛИППОВ,
Е. И. ФИЛИПОВА

Крах российской деревни

Российское общественное мнение чутко реагирует на катаклизмы нашего неустойчивого бытия: политические склоки, кровавые конфликты, финансовые скандалы, заказные убийства (да мало ли еще что!) приковывают к себе внимание наших соотечественников и становятся поводом для дебатов в парламенте, в прессе, в очередях, на скамейках и кухнях. Под гул этих дискуссий, слухов, сплетен тихо и незаметно, как никому не нужный бомж, умирает отечественное сельскохозяйственное производство. Мало кто задумывается над тем, что речь идет не только о грядущей экономической катастрофе, об утрате продовольственной независимости страны, но и о неизбежных социальных потрясениях.

Авторы этой статьи, этносоциологи по профессии, с 1992 года сотрудничают с Центром гуманитарных исследований, созданным и возглавляемым доктором философии С. А. Никольским. Эта независимая научная организация объединила ученых разных специальностей — экономистов, социологов, историков, философов, психологов, экологов, — озабоченных бедственным положением российского крестьянства и работающих над своей, альтернативной концепцией аграрных преобразований. Все эти годы Центр регулярно организует полевые исследования в различных областях Европейской России — Вологодской, Орловской, Нижегородской, Московской, Тверской, Владимирской, Белгородской и других. Наши размышления, ставшие результатом этих экспедиций, мы и предлагаем читателям. К сожалению, действительность русской деревни такова, что размышления эти никак нельзя назвать оптимистическими.

Начало необратимым процессам распада было положено в декабре 1991 года печально известным Указом Президента о реорганизации колхозов и совхозов. Мы менее всего склонны идеализировать недавнее колхозно-совхозное прошлое российской деревни, однако любому здравомыслящему, политически неангажированному наблюдателю, а тем более исследователю, очевидно, что идея разрушить общественное сельскохозяйственное производство, ничего не создав взамен, могла возникнуть лишь у людей, в лучшем случае абсолютной некомпетентных.

Мужики с крестьянской сметкой сразу почувствовали губительность подобного реформаторства. Мы были свидетелями того, как сельские сходы под топот и свист выпроваживали заезжих функционеров, призывавших колхозников перерегистрироваться в ТОО и поделить землю и имущество на паи. Подвыпившие механизаторы грохотали своими «кирзачами» и горланили: «Не хотим делиться, оставить колхоз!» Почему полвека назад власти предрержали вынуждены были палкой загонять крестьян в колхозы, а теперь палкой же их из колхозов приходится выгонять?

Дело в том, что колхоз (или совхоз) в эпоху «развитого социализма» стал для российских крестьян удобной и выгодной формой обеспечения нужд их личных, «подсобных» хозяйств, а именно последние были основой благосостояния сельских семей. Социалистическое государство на нефтедоллары закупало зерно за границей и поддерживало цены на хлеб на смехотворно низком уровне. Крестьяне, не перетруждая себя на колхозной ниве (именно поэтому и импортировал СССР миллионы тонн зерна), покупали ежедневно в сельмаге пять-шесть буханок свежего хлеба и откармливали им скот. Мясо либо продавали в городах на колхозном рынке, либо сдавали по достаточно высоким ценам (по сравнению с ценами на промышленные товары) в заготконторы потребительской кооперации. Колхоз же не только гаран-

тировал получение фиксированного денежного дохода, но и давал возможность распахать и обработать свой участок (при этом никаких затрат на аренду трактора и горюче-смазочные материалы), он же обеспечивал кормами: редкая доярка после каждой дойки в карманах своего халата не приносила домой пару килограммов комбикормов (именно поэтому было выгодно тогда содержать кур и свиней). В результате колхозы традиционно были должны государству, а оно не менее традиционно эти долги «прощало».

Таким образом, советское государство, формально поддерживая на плаву колхозы и совхозы, фактически осуществляло широкомасштабное дотирование индивидуального крестьянского производства. (Парадоксально, но факт: это была искомая и желанная ныне модель взаимоотношений государства и мелких сельскохозяйственных товаропроизводителей, сиречь фермеров!)

Минули пять лет аграрных преобразований. Диспаритет цен и непомерные налоги сделали сельскохозяйственное производство почти сплошь убыточным. Зарплата сельских тружеников, составляющая сегодня лишь 55 процентов от уровня оплаты труда в промышленности и получаемая к тому же с большими задержками, делает личное подсобное хозяйство абсолютно необходимым и, по существу, единственным источником жизнеобеспечения сельян. Между тем сегодня еще в большей мере, чем прежде, микроэкономика крестьянского хозяйства зависит от крупного коллективного производства (т. е. тех же колхозов и совхозов, чаще всего переименованных в ТОО, ООО, АО и т. п.), без поддержки которого содержание личного подворья практически невозможно. И вот почему.

Вынужденный переход российской деревни к натуральному хозяйству повлек за собой значительное увеличение площади обрабатываемых крестьянами участков земли (как правило, до одного га), а также рост поголовья скота в личном стаде. Понятно, что возросшие масштабы семейного производства требуют применения техники как для возделывания земли, так и для заготовки кормов. Лопатой гектар не перекопаешь, вручную на двух коров и бычка (обычное сейчас количество крупного рогатого скота в крестьянском хозяйстве) сена не накосишь. Взять технику можно только в колхозе, поскольку рыночная стоимость ее совершенно за пределами и рядовой сельской семье не по плечу. Например, простейшая косилка стоит 6 миллионов рублей, что равноценно стоимости примерно шести коров (заметим, кстати, что производительность этого нехитрого агрегата не позволяет прокормить означенное число буренок). Рост цен на хлеб и зерно, исчезновение общепита — источника пищевых отходов — сделали, по сути, нерентабельным свиноводство. Сегодня никто не отрицает, что без даровых колхозных кормов и приобретаемых по чисто символическим ценам (а иногда и вовсе бесплатно) в тех же колхозах поросят держать свиней не имеет никакого смысла, ибо затраты на производство мяса намного превышают его рыночную стоимость. Колхоз вынужден выполнять и функции исчезающих почти повсеместно заготконтор, закупая у крестьян молоко, мясо, картофель и организуя дальнейший сбыт всей этой продукции. Самостоятельная торговля практически недоступна индивидуальным производителям как из-за дороговизны транспортных услуг, так и вследствие уголовного беспредела, царящего на городских рынках.

Надо сказать, что те лидеры хозяйств, которые еще не махнули на все рукой и не потеряли окончательно интереса к своему делу, сознательно поощряют развитие личных подсобных хозяйств, понимая, что это единственный способ сохранить работников, не дать им люмпенизироваться или уйти из деревни. Продолжительность рабочего дня и рабочей недели в общественном производстве сокращается, устанавливаются двухчасовые обеденные перерывы, за время которых можно успеть подоить личный скот; не возбраняется использование колхозной техники на личных подворьях.

Немаловажно и то, что колхозы несут значительную долю забот о своих пенсионерах (численность которых, как правило, не меньше, чем численность работающих), обеспечивая их дровами, обрабатывая им участки, оказывая безвозмездно самые разные услуги вплоть до последней — гробовой. Наиболее дальновидные руководители не поддались соблазну сбросить лишнее бремя и не отдали так называемую «социальную сферу» в ведение бывших сельсоветов, а ныне администраций. Там, где это произошло, последние, не имея ни реальной власти, ни собственных денег, привели полученное «наследство» в самое жалкое состояние, и хозяйства все равно вынуждены «из милости» содержать детские сады, библиотеки, клубы, столовые.

В этом контексте забавным представляется миф о «красных феодалах» — колхозных председателях, совхозных директорах, навязываемый российскому обыва-

телло околдодемократической прессой. Право же, председатели колхозов (не образцово-показательных, а самых обычных, каких тысячи) — это парии социализма, постоянно третируемые райкомовским начальством и жившие в вечном страхе оказаться «на ковре». Практически все руководители хозяйств, с которыми нам довелось беседовать во время наших экспедиций, без малейшего энтузиазма вспоминали былые времена тотальной партийной опеки: как заставляли держать поголовье, не обеспеченное кормами, — голодных животных, чтобы они не падали, приходилось иногда привязывать веревками; как засевали поля без малейшей надежды успеть убрать с них урожай — попробуй только не отчитаться за проведение посевной! И сейчас они вовсе не ратуют за возврат к прошлому, но дружно восстают против нелепостей той концепции аграрного реформирования, которую пытаются реализовать в России ее нынешние устроители. Хотят всего лишь, чтобы государственная аграрная политика была последовательной и предсказуемой.

Итак, пять лет назад реформаторы решили, что закончить с социализмом в деревне можно только стремительно, одним указом. Грезилось, будто освобожденные из «агроулага» крестьяне дружно станут фермерами и завалят страну продовольствием. Однако крестьяне в подавляющем большинстве своем освобождаться не захотели и на наши вопросы о том, почему они не желают получить свой земельный пай и самостоятельно хозяйствовать, хмуρο отвечали примерно так: «А что, я твою землю пальцем ковырять буду?» Не согласиться с их аргументами было трудно: по тогдашним ценам трактор стоил 200 тысяч рублей, комбайн — около миллиона, корова — 10—12 тысяч рублей, в то время как средний размер имущественного пая в обычном, небогатом колхозе составлял примерно пять тысяч. К тому же большая часть хозяйств не имела возможности выплачивать имущественные паи деньгами. В стоимость имущества, подлежащего разделу, были включены все основные фонды, в том числе недвижимость. Каким образом реформаторы предполагали осуществить дележ, например, крупных молочных комплексов и других дорогостоящих зданий и сооружений, абсолютно непонятно. Единственным выходом был раздел техники и скота. В итоге в тех колхозах, где было принято решение делиться, реализовались в основном два варианта передела: первый — наиболее сметливые и шустрые члены коллектива раньше всех захотели выйти из колхоза и «унесли» с собой лучшую технику, оставив прочим старье и лом; второй — колхозное имущество было разделено более или менее справедливо и впоследствии значительной частью новых владельцев продано и пропито. Большинство таких хозяйств к настоящему времени практически прекратили свое существование, так как работать стало просто нечем. Оставшиеся без средств к существованию крестьяне тащат все, что плохо лежит в соседних хозяйствах, «кальмят» на строительстве дач, торгуют водкой и дешевыми «желтыми» тряпками, в изобилии поставляемыми городскими «челноками».

Даже в том случае, если по паям раздавалась не вся техника, а некоторая ее часть, последствия таких раздач и для коллективных хозяйств, и для обособившихся «фермеров» чаще всего оказывались прискорбными. Ведь, помимо собственно машинно-тракторного парка, в колхозах и совхозах существовал (и играл важнейшую роль в крупном аграрном производстве!) целый арсенал всякого рода навесной техники. В течение многих лет хозяйства укомплектовывали его, исходя из особенностей севооборота, специфики производства в данных климатических условиях, характера почв и многих, многих иных соображений. В результате же скоропалительного дележа (у председателей колхозов выбора не было: не отведешь в две недели в соответствии с президентским Указом имущественный пай — сам заплатишь такую неустойку...) в общественном производстве был начисто разрушен, а в индивидуальных хозяйствах так и не создан так называемый технологический цикл, без которого говорить об эффективном хозяйствовании просто смешно. Грезы о том, что добрые соседи будут помогать друг другу, что сегодня Петр даст Ивану свою селялку, а завтра Иван даст Петру свою косилку, могли возникнуть только в головах городских чиновников, не отягощенных знанием реалий современной российской деревни. В действительности же оказывалось, что Петр селялку давно пропил, а у Ивана нет денег отремонтировать косилку, а даже если бы и отремонтировал, то все равно бы Петру не дал, так как тот наемни у него поросенка свел.

В подавляющем большинстве хозяйств изношенность машинно-тракторного парка такова, что диву приходится даваться, как вообще эта техника может работать. Только благодаря неистощимой смекалке и изобретательности российских мужиков удается собрать из груды металлолома и вывести на поля агрегаты, отработавшие по 14—15 лет. Однако количество единиц техники ежегодно сокращается, а нагрузка на оставшуюся растет, что ведет к частым поломкам и в конечном

итоге иногда не позволяет убрать даже выращенный урожай. Кроме того, изношенная техника «съедает» непомерное количество горюче-смазочных материалов, расходы на которые при нынешних ценах уже составляют до 40 процентов в общем объеме производственных затрат.

Особенно же катастрофические последствия имело произведенное кое-где выделение земельных паев. Странное зрелище представляют собой поля, превратившиеся в лоскутные одеяла: какие-то участки засеяны, какие-то только распаханы, а иные вообще заросли бурьяном. Технике развернуться негде, ведь наши трактора и комбайны были рассчитаны на крупное общественное производство, а «мелкоконтурность» полей и в лучшие годы была причиной низкой рентабельности производства.

В целом результаты очередного эксперимента над аграрным сектором экономики выглядят достаточно удручающе. Стремительно разрушается даже то немногое, что было достигнуто за годы советской власти, где благодаря, а где вопреки государственной опеке. Одна из важнейших причин — упоминавшийся уже диспаритет цен: потребляемые сельским хозяйством техника, химикаты, горючее, электроэнергия и прочее подорожали не менее чем в десять тысяч раз, транспортные тарифы возросли в 12 тысяч раз, в то время как закупочные цены на молоко и мясо выросли всего в три тысячи, на лен — в одну тысячу раз. В результате литр бензина, например, стоит столько же, сколько три литра молока. Абсолютно недоступны стали минеральные удобрения, которых теперь и в относительно благополучных хозяйствах вносятся в десятки раз меньше необходимого, а во многих случаях от них вообще давно отказались. Даже вывоз органики со своих ферм стал делом довольно дорогостоящим из-за цен на горючее, поэтому на дальние поля ее обычно не везут: себе дороже. Почти не используются гербициды, ими обрабатывают только посеы льна, так как на это выделяются средства целевым назначением. Практически повсеместно нарушена система севооборотов: сеют там, где посуше, на ближних полях, чтобы не гонять зря трактора и комбайны. В некоторых хозяйствах положение с техникой и горючим настолько бедственное, что поля вообще не пашут, обрабатывая их вместо этого дисковыми боронами. При такой технике обработки почвы многократно увеличивается потребное количество семян.

Сведено на нет элитное семеноводство: хозяйства, не имея финансовой возможности закупать семена, предпочитают обходиться собственным посевным материалом. Зброшены работы по мелиорации земель, поля заливаются, растет заболоченность. В итоге урожайность зерновых культур на истощенных, неподкормленных почвах, не защищенных от сорняков и вредителей, снизившись уже почти вдвое, неуклонно приближается к так называемому естественному плодородию.

Еще одна устойчивая тенденция — сокращение ассортимента выращиваемых культур. Высокая трудоемкость и низкая рентабельность заставляют большинство хозяйств отказываться от производства картофеля и сахарной свеклы, заменив их более выгодными в нынешних условиях зерновыми. В тех регионах, где основа хозяйства — мясо-молочное животноводство, зерновые, в свою очередь, по данным, сельхозуправлений, уступают место многолетним травам (на деле происходит скрытое сокращение посевных площадей, поскольку все непаханные, зарастающие травой поля проходят в отчетах как посеы кормовых культур).

Отдельного упоминания заслуживает ситуация с льноводством, которое еще недавно было высоко рентабельным, а специализирующиеся на нем хозяйства — отнюдь не бедствующими. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Паралич отечественной легкой промышленности привел к тому, что льнозаводы завалены готовой продукцией, сбыть которую нет никакой возможности. Прядильные фабрики, работавшие на среднеазиатском хлопке, простаивают без сырья, а для работы со льном их оборудование непригодно. Есть, правда, новая технология — коттонизация льна, но для ее широкого внедрения нужны средства. Не последнюю роль играют и поставки по демпинговым ценам (на 15—20 процентов дешевле) от наших соседей — украинцев и белорусов. Именно к ним ушла значительная часть средств, выделенных государством льнозаводам целевым назначением для закупки сырья. Предполагали поддержать отечественных земледельцев, а получился протекционизм в отношении хоть и ближнего, но все-таки зарубежья. В этом году впервые производители льна в Тверской области, например, до следующего урожая не получили денег за сданную продукцию. Следствием столь бедственной ситуации стало сокращение посевов льна в стране с 1990 года более чем на 70 процентов, и это еще не предел.

Положение в животноводстве немногим отличается от описанного выше. За последние три-четыре года практически ликвидировано овцеводство: овечьи шкуры принимают по пять тысяч рублей за штуку, килограмм шерсти — за десять тысяч, нет никакого смысла связываться с таким производством. Почти повсеместно вырезали свиней. Оставшиеся немногочисленные производители свинины, сделавшись монополистами, устанавливают соответствующие цены (семь тысяч рублей за один килограмм живого веса, почти в два раза выше, чем цены на говядину). А тут уже наготове дешевое импортное мясо — вот и покупают его мясокомбинаты, ругая на чем свет стоит за низкое качество: ведь без добавок свинины хорошую колбасу не произвести. На грани исчезновения отечественные птицефабрики, скоро в дополнение к окорочкам Буша придется закупать в Америке и яйца.

Но основой отечественного животноводства все-таки был и пока еще остается крупный рогатый скот. Если речь зашла о грядущей катастрофе, то говорить следует именно о нем.

Практически повсеместно происходит сокращение поголовья: согласно официальной статистике в целом по стране только с 1993 года количество скота снизилось примерно на 15 процентов. Если же считать с начала нынешней «реорганизации», то, судя по ситуации в обследованных нами областях, этот показатель существенно выше — до 30—40 процентов. Режут скот по разным причинам: из-за бескормицы, нехватки рабочих рук, а иногда просто для того, чтобы выручить деньги на выплату зарплаты, покупку запчастей и т. п. Правда, наиболее опытные и здравомыслящие руководители понимают всю пагубность подобного способа решения сиюминутных проблем и любыми средствами стараются сохранить стадо, вплоть до того, что раздают животных по домам на определенных условиях, выгодных и хозяйству, и работникам.

Одновременно с падением поголовья снижается и продуктивность животноводства. Причин тому множество. Прежде всего сведена на нет племенная работа. У хозяйств нет средств для приобретения племенного скота, его теперь покупают в основном частники. Племазаводы вынуждены сдавать свою продукцию на мясокомбинаты. Из-за низкого качества кормов, в частности нехватки в них йода, молодняк рождается слабый и больной. Нет лекарств, витаминов, отсюда большой падеж, следовательно, стадо обновляется медленно.

О кормах разговор особый. Не от хорошей жизни, а все от той же бедности хозяйства вынуждены сокращать потребление комбикормов, которые стали непомерно дороги из-за больших энергозатрат, компенсируя их недостаток более дешевым сеном. В основном стараются обеспечить себя кормами самостоятельно, поскольку в ином случае практически вся выручка от продажи мяса уйдет на их оплату.

Печально памятная антиалкогольная кампания в начале перестройки нанесла большой урон не только садам и виноградникам, но и специализированным откормочным хозяйствам. Чрезвычайно выгодным и эффективным кормом были отходы производства спирта — так называемая барда, на которой бычки набирали в сутки по килограмму и более веса. Сейчас среднесуточный привес составляет в лучшем случае 500—600 граммов, в большинстве же обследованных хозяйств — вдвое меньше.

Сократилось и производство молока: три тысячи литров в год от одной коровы считается теперь неплохим результатом, во многих же хозяйствах надаивают по 1400—1200 литров. Хорошая коза может дать больше. Между тем хозяйства не имеют возможности выбраковывать низкопродуктивный скот, т. к. в случае сокращения стада они лишаются областных дотаций на молоко.

Кстати, о дотациях: выплачиваются они весьма нерегулярно, с большими опозданиями, поскольку на местах денег нет, областные бюджеты не исполняются. Так, в Тверской области к августу нынешнего года дотации по животноводству были выплачены только за март.

Произвести продукцию — это еще полдела, не менее сложно ее реализовать. Тут мы подходим к следующему сюжету: взаимоотношения производителей с переработчиками. В условиях практически полного отсутствия госзаказа хозяйства вынуждены сами заниматься сбытом. Выбор возможных партнеров, как правило, невелик и определяется прежде всего расстояниями. Только немногие производители отваживаются возить свой товар в Москву или, скажем, в Питер. Да и не всегда в этом есть смысл: на крупных базах установлены невыгодные цены, магазины от отечественной продукции часто отказываются, предпочитая ей импортную — с большим сроком хранения и в броской упаковке; риск же нарваться на рэкетиоров весьма реален. Таким образом, основная масса хозяйств имеет дело с районными пе-

перерабатывающими предприятиями. Следовательно, от состояния последних во многом зависит устойчивость аграрного производства.

В обыденном сознании прочно укоренилась мысль о том, что переработчики снимают основные «сливки» с сельхозпродукции, скупая сырье по дешевке и «накручивая» на нем бешеные прибыли за счет голодных крестьян и в ущерб обнищавшим покупателям-горожанам. Этот миф, как нам кажется, рожден и внедрен в массовое сознание для того, чтобы скрыть истинные причины дороговизны отечественных продуктов питания, указав вместо этого на «козла отпущения». Истинное же положение дел таково: отечественная легкая и пищевая промышленность так же, как и сельхозпроизводители, поставлена на грань полного и окончательного разорения. Похоже, что переработка тоже государству не нужна, а потому оно загоняет ее в угол, разоряя непомерными налогами, ценами на энергоносители и т. п.

По признанию директора Торжокского маслосыркомбината И. Ф. Пилюшина, молоко сегодня выгоднее вылить, чем производить из него что-либо. Для производства килограмма масла нужно около 20 килограммов молока, килограмма сыра — около 10 килограммов. Таким образом, львиная доля затрат (до 85 процентов себестоимости готовой продукции) приходится на приобретение сырья. Закупочные цены на него устанавливают поставщики, ставшие после проведения реорганизации перерабатывающих предприятий их акционерами. Исходят они при этом, естественно, из себестоимости, доля зарплаты в которой минимальна, а больше всего «вешают» все те же энергозатраты и амортизационные отчисления, резко возросшие после того, как все производственные мощности хозяйств подверглись переоценке по рыночному курсу. Средняя цена на молоко летом нынешнего года составляла 900 рублей за литр, в результате килограмм масла обходится производителю в 19 тысяч рублей, сыра (в зависимости от сорта) — в 14—16 тысяч. Торговля же согласна брать продукцию соответственно по 10—12 и 15—16 тысяч. Таким образом, рентабельность сыра не превышает 10 процентов, масло же и вовсе убыточно для производителя. Тем не менее на такие невыгодные условия приходится соглашаться, ведь товар скоропортящийся, попридержать его до лучших времен нельзя. А тут уже бдительная налоговая инспекция не дремлет: штрафует за реализацию произведенного ниже себестоимости. Не желая и дальше нести столь ощутимые потери, переработчики принимают вынужденное решение отказаться от выработки нерентабельной (но, заметим, необходимой) продукции, ориентируются на менее затратную цельномолочную и внедряют побочные производства вроде линий по разливу соков. Тем временем импортные сыры и масло (многие сорта которого, впрочем, представляют собой маргарин) прочно занимают нишу на отечественном рынке продовольствия.

Еще одна неразрешимая на сегодня проблема — сезонность производства молока, приводящая к резким колебаниям объемов переработки, простаиванию оборудования в течение значительной части года (фактически с октября по май молокозаводы работают с постоянной недогрузкой). Добавим сюда особенности технологического процесса (срок созревания сыров — в среднем 45—60 дней) и получим неизбежный временной зазор в расчетах переработчиков с поставщиками сырья: за сданное летом молоко деньги удастся получить обычно не раньше января, а то и марта. Нет необходимости объяснять, что означают в условиях инфляции невыплаченные долги, исчисляемые десятками и сотнями миллионов рублей.

Казалось бы, и крестьяне, и пищепромышленники заинтересованы в том, чтобы сделать производство молока менее зависимым от времени года, тем более что мировой опыт давно показал, что это возможно. Но задача эта не из простых и опять-таки требует значительных усилий и затрат. Сегодня же, к сожалению, возобладал иной подход к производству: не инвестировать средства с расчетом на дальние результаты, а получать сиюминутную выгоду с минимальными вложениями. Пока же сезонность производства остается, очевидна необходимость кредитования переработчиков: после межсезонья нужны финансовые вливания с условием возврата средств в конце года. В настоящее время деньги если и выделяются, то преимущественно на бумаге, поскольку государственный карман пуст.

Немногом лучше положение мясокомбинатов. Удручающе низкая покупательная способность населения, заставляющая отдавать предпочтение более дешевой, пусть даже менее качественной, продукции, в условиях острой конкуренции с импортными поставщиками создает большие проблемы со сбытом. Опасаясь затоваривания, мясокомбинаты все чаще начинают работать только под конкретные заявки торговых организаций. Для того чтобы иметь возможность сбывать произведенную продукцию без убытков, им приходится устанавливать низкие закупочные цены (этим летом говядину закупали по 4 тысячи рублей за килограмм живого

веса), которые отпугивают крестьян. Поэтому хозяйства стараются по возможности реализовать мясо на более выгодных условиях через столовые и рестораны, сдавая на мясокомбинат преимущественно так называемый вынужденный забой, а переработчики в результате нередко сталкиваются с дефицитом сырья, когда даже при наличии заказа на продукцию ее попросту не из чего изготовить.

В структуре затрат мясопереработки в отличие от маслозаводов меньшую долю составляет сырье (для производства килограмма вареной колбасы нужно около 2,5 килограмма мяса, копченой — около 3 килограммов), зато гораздо большую — энергоносители (25 процентов и более от себестоимости готовой продукции). В сочетании с непомерным налоговым гнетом они и сделали переработку мяса фактически убыточной. Для того чтобы обеспечить рентабельность на уровне 2,5 процента (!), мясокомбинаты вынуждены открывать собственные торговые точки (где торгуют, кстати, отнюдь не только собственной продукцией), а также осваивать производство таких отдаленно относящихся к мясу, но зато находящихся сбыт товаров, как пиво, майонез и прочее. Это, кстати, позволяет в условиях спада производства сохранить работников, хоть как-то занять их.

Широко распространено мнение, согласно которому спасение заключается в организации переработки аграрной продукции непосредственно в хозяйствах. Но дело в том, что все означенные выше проблемы неизбежно встанут и перед руководителями хозяйств, избравшими этот нелегкий путь. Кроме того, приобретение дорогостоящего оборудования может окончательно подорвать их и без того более чем скромные финансовые возможности. Организация производства, поиски рынков сбыта потребовали бы значительного увеличения управленческого аппарата, включения в состав «конторы» администраторов, технологов, снабженцев и так далее. И совершенно очевидно, что так называемые «мини-заводы», «модули» не смогут конкурировать даже с районными перерабатывающими предприятиями, работающими, как уже было сказано, на пределе рентабельности: последняя, как известно, напрямую зависит от объемов производства, производственных мощностей и их загруженности. Наконец, многих останавливает перспектива попасть под тяжкий налоговый пресс, так как в случае, если прибыль от переработки превышает 25 процентов совокупной прибыли хозяйства, оно вынуждено платить налоги как промышленное предприятие.

Вообще фискальная политика государства, странным образом направленная на развал отечественного аграрного сектора, заслуживает особого внимания. Напомним, что в стародавние времена барщины работа «исполну» (т. е. за половину) была для мужиков непосильным бременем. Ныне же руководители хозяйств мечтают о том, что совокупный государственный налог на производителей сельхозпродукции будет ограничен 60 процентами!

Существующая система налогообложения исключает возможность нормального функционирования сельскохозяйственных предприятий и заставляет руководителей «уходить» от налогов самым простым способом: укрывать значительную (если не большую!) часть произведенной продукции и сбывать ее перекупщикам за наличные деньги. Последние сдают ее торгующим предприятиям по фиктивным накладным с многократным занижением объемов поставок. В результате госбюджет не получает налоги не только от производителей, но и от продавцов. В лучшем случае укрытые деньги возвращаются в сельскохозяйственное производство и идут на оплату труда непосредственных производителей, в худшем — присваиваются и уходят в теневой оборот: все зависит от личной порядочности и добросовестности руководителей хозяйств. Еще одна общепринятая форма ухода от налогов — раздача произведенной продукции в форме натуроплаты, а чаще всего просто оформление ее как «натуроплаты» с последующей централизованной продажей все тем же перекупщикам «за чистый нал».

Очевидно, что наполнение государственного бюджета должно происходить не путем взвинчивания налогов и их диверсификации, а изменения самой концепции налогообложения. Большинство руководителей хозяйств высказываются за введение единого налога (пусть даже достаточно высокого) на производителей сельскохозяйственной продукции — налога на землю, исчисленного по земельному кадастру в зависимости от бонитета земельных угодий хозяйства. Он будет побуждать действительно обрабатывать все пахотные угодья, а не сокращать распашку (пускать «под клевера»), как это происходит в условиях крайне низкой рентабельности, а чаще убыточности аграрного сектора, при налогообложении, исчисляемом с произведенной продукции.

Наконец, несколько слов о фермерах. Этот эксперимент может стать предметом рассмотрения в специальной статье. Здесь же мы имеем лишь возможность за-

метить, что практически везде, где нам приходилось работать, «настоящих» фермеров единицы: в Торжокском и Старицком районах Тверской области, например, зарегистрировано соответственно 153 и 188 фермерских хозяйств, из них занимаются сельским хозяйством 30 и 10. Однако и это небольшое число «действующих» хозяйств можно назвать фермерскими лишь с известной долей условности. Пока сколько-нибудь заметными производителями товарной продукции они не стали. Так, во Владимирской области по состоянию на июль 1996 года фермеры произвели 2,5 процента зерна, 0,8 процента молока и 0,2 процента мяса. При этом число голов скота в фермерских хозяйствах было меньше числа этих хозяйств.

В массе же своей так называемые «фермеры» промышляют посреднической полукриминальной торговлей спиртным и ширпотребом, в то время как их земли зарастают лесом, либо просто «крутят» в коммерческих банках государственные льготные кредиты, полученные на организацию производства.

Вряд ли имеет смысл завершать эту невеселую повесть оптимистическими пророчествами в духе передовицы пропагандистской газеты. Вместе с тем на общем фоне распада и деградации нет-нет да и встречались нам талантливые люди, которые и в этих нечеловеческих условиях исхитряются не только выживать, но и богатеть, противостоят некомпетентности, а порой — откровенной глупости «сверху» и пьянству, воровству, лености «снизу». Делают они это по-разному, а потому если ситуация в «слабых», умирающих хозяйствах похожа до мельчайших деталей, то у каждого «сильного» свое, особое лицо.

В одном нашли способ избавиться от «балласта» — лодырей, пьяниц при регистрации обратно в колхоз не приняли, оставили из 170 рабочих мест всего сто. Потом раздали по дворам половину общественного дойного стада: тем самым и скот сохранили, не вырезали, как у многих соседей, и колхозникам постепенно навыв и вкус к ведению частного хозяйства прививают. Не все могут и хотят становиться фермерами — нет ни опыта, ни средств. А при поддержке хозяйства — другое дело: кормами обеспечивают, техникой сообщать можно пользоваться. Но главное — коллективно решается проблема сбыта. Трижды в день по деревне проезжает молоковоз, собирает молоко, причем расплачивается со сдатчиками колхоз немедленно, а потом уже сам выясняет отношения с вечным должником — молокозаводом. Средняя семья имеет на молоке около миллиона ежемесячно. Со временем руководство планирует весь скот перевести в частные хозяйства, а технику, мастерские, склады отдать механизаторам, которые будут оказывать населению платные услуги. Тем самым постепенно колхозники, по сути, превратятся в фермеров, но не брошенных на произвол судьбы, а обеспеченных необходимой материальной базой. Интересный штрих: на последних президентских выборах большинство в этом хозяйстве проголосовало за Ельцина, хотя агитацию специально никто не вел (в целом по району симпатии были на стороне коммунистов).

Другому досталось от социализма образцово-показательное хозяйство с высокими технологиями (компьютеры следят за рационом, привесом и здоровьем каждой из пятисот коров на ферме) и развитой инфраструктурой — он «выезжает» на исключительном качестве продукции и поставляет столичному «Макдоналдсу» мясо и чистеный расфасованный картофель.

А что делать, если основные фонды старые, изношенные? И слава Богу, значит, нет и разорительного налога на эти самые фонды, а всю скромную прибыль можно пустить на закупку минеральных удобрений. Такая стратегия позволила директору не самого процветающего в прошлом хозяйства добиться за последние пять лет улучшения качества почв на фоне повсеместного их истощения. В сочетании с особым вниманием к семеноводческому направлению это дало возможность добиться устойчивой урожайности.

Еще один предприимчивый руководитель пряничный цех у себя открыл и завалил округу дешевыми пряниками и халвой, «погасив» тем самым сезонность поступления средств от крупного откормочного хозяйства и получив стабильный доход. Теперь мечтает восстановить разрушенный сгоряча в годы антиалкогольной кампании спиртзавод (благо специалисты все остались в хозяйстве, есть кому возрождать производство) — тогда и вовсе можно самостоятельно дотировать свое сельскохозяйственное производство, раз уж государство с этой задачей не справляется.

Совсем отчаявшийся было председатель колхоза, в котором не осталось никого, кроме спившихся свинаярей, и ничего, кроме полуразвалившихся свиначников, завел в последних шампиньоны и вешанки, выгнал пьяниц, взял на работу беженцев с высшим образованием и теперь сбывает грибы оптом в рестораны областного центра. Живут припеваючи.

Но, пожалуй, самый колоритный руководитель хозяйства ухитрился как-то так провести акционирование, что поистине совершил «революцию сознания» своих подопечных: теперь у него даже старухи, сидя на завалинке, рассуждают о своем пакете акций, процентной ставке и дивидендах за прошлый год. Раздал он имущественные пай строго по прошлому многолетнему труду, сколотил крепкий «костяк» единомышленников из лучших механизаторов и привил им «страсть к наживе». Дисциплина железная, за потек масла на двигателе на полгода зарплата урезывается вдвое, а то и по шее дадут. А сам директор скупает при случае акции — хочет получить контрольный пакет, но не больше: иначе, говорит, они себя опять наемными рабочими почувствуют, и тогда пиши пропало. Держит в городе несколько собственных коммерческих палаток и всю немалую прибыль от них пускает на развитие хозяйства: «Все одно — мое!» И с губернатором на короткой ноге, и с местным рэкетом: без «крыши», дескать, сейчас никак нельзя.

Что же касается фермеров, то и здесь есть счастливые исключения из правила. Особенно поразили нас в Тверской области муж и жена, бывшие москвичи, кандидаты наук, распродавшие в столице все, что было, и купившие на заброшенном хуторе старенькую избушку, а в Америке и Австралии — великолепных элитных коз, да к ним в придачу красавца козла с доброго бычка ростом. Впрочем, и козы у них молока дают едва ли не больше, чем коровы в окрестных хозяйствах. Из молока козьего, целебного, научились уже делать и масло, и сметану, и сыр, и творог — все великолепного качества и отменного вкуса. Есть и желающие все это покупать, причем за немалые деньги, но загвоздка в отсутствии ГОСТов на такую нетрадиционную для нашего рынка продукцию. Однако главная цель — создание племенного стада. Сейчас на ферме 70 коз, в перспективе должно быть 150 да около ста голов молодняка. Животных приходится закупать за границей, поскольку свой генофонд истощен. Супруги — члены американской ассоциации козоводов, состоят в переписке с коллегами из Австралии, Новой Зеландии, активно ищут единомышленников и в России. Уже провели у себя на ферме два всероссийских семинара, издают и рассылают по 30 адресам журнал, в котором и о своем опыте рассказывают, и зарубежные статьи в собственном переводе перепечатывают. Мечтают, что рано или поздно в каждой области будет свой племенной козоводческий центр, а в магазинах можно будет запросто купить продукцию козоводства.

Мы далеки от мысли о том, чтобы в этой статье предложить свою, сколько-нибудь цельную концепцию аграрной реформы. Однако некоторые меры, направленные на предотвращение полного коллапса сельскохозяйственного производства, как нам кажется, должны быть проведены немедленно.

Прежде всего надо запретить чиновникам внешнеторгового ведомства разваливать отечественное сельское хозяйство непосильной конкуренцией с западными производителями. Разумеется, мы не предлагаем прекратить поставки продовольствия из-за рубежа: сегодня, когда спад российского производства продуктов питания приобрел лавинообразный характер, подобные действия приведут к голоду. Необходимо обеспечить такие протекционистские ограничения, которые позволили бы приблизительно сбалансировать цены на отечественное и импортное продовольствие с небольшим преимуществом для российского товаропроизводителя.

Следует срочно пересмотреть систему налогообложения предприятий АПК. Вместо пестрого калейдоскопа самых разнообразных налогов необходимо ввести фиксированный единый налог на землю в соответствии с земельным кадастром. Такой налог прежде всего сделает невозможным уклонение от него, устранив соблазн укрывать произведенный продукт и продавать его, минуя налоговую инспекцию: очевидно, что количество и качество закрепленных за каждым предприятием земель — величина строго определенная. Кроме того, такой налог будет стимулировать хозяйства вовлекать в активный севооборот всю землю, находящуюся в их пользовании, а не сокращать пашню под видом посева кормовых трав, пара и прочего.

Ни в одной развитой стране мира сельское хозяйство не процветает без значительной финансовой поддержки государства. Государства, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития, дотируют до 40 процентов стоимости аграрной продукции. В России же модернизация промышленности в который раз осуществляется за счет разорения деревни. В условиях затяжного экономического кризиса необходимо, видимо, дотировать по целевым программам наиболее эффективно работающие сельскохозяйственные предприятия в наиболее перспективных российских регионах. Задача государственных средств «всем понемножку»

способна только продлить стагнацию и вконец развалить и без того напряженный бюджет.

Печальный опыт российских фермеров убеждает в том, что основой рыночного производства сельскохозяйственной продукции в российских условиях были и будут прежде всего крупные общественные предприятия: краткость вегетационного периода в зоне «рискованного земледелия» требует концентрации значительных людских и технических ресурсов на тех или иных видах производственной деятельности. Кроме того, коллективное хозяйство соответствует исторически сложившейся в России крестьянской общинной ментальности.

Вместе с тем успешность функционирования крупного сельскохозяйственного производства прямо коррелирует с наличием «эффективного собственника». Необходимо не пытаться развалить крупные аграрные предприятия на множество бедствующих «фермерских», а добиться концентрации собственности в руках наиболее продуктивно работающей части производителей. В нынешних российских условиях это предполагает обеспечение реального движения имущественных и земельных паев.

Вероятно, конфликтность в отношениях производитель — переработчик — продавец может быть устранена путем создания единых хозяйственных организаций (например, в рамках акционерных обществ), объединяющих эти важнейшие звенья цепи, связывающей производителя сельскохозяйственной продукции с ее потребителем. При этом приоритет в распределении совокупного дохода должен быть отдан непосредственному производителю, а его раздел должен осуществляться в заданной пропорции в зависимости от цены реализации готового продукта.



Ирина МЕДВЕДЕВА,
Татьяна ШИШОВА

Эбьюз нерушимый...

Продолжаем обсуждать начатую в № 2 за этот год проблему «Новое время — новые дети?». На сей раз писатели, психологи Ирина Медведева и Татьяна Шишова исследуют весьма щепетильный вопрос — дети и половое воспитание. Когда авторы писали эту статью, тема ее была еще достаточно академичной. Прошло совсем немного времени, и ситуация изменилась принципиально: Министерство образования вместе с Министерством здравоохранения осенью 1996 года утвердили проект «Половое воспитание российских школьников». И уже приступили к его реализации. Все как в русской пословице: «Серого помянули, а серый — здесь».

И. Медведева и Т. Шишова как специалисты, давно занимающиеся данной темой, предостерегают от необдуманного, поспешного внедрения этой программы.

Мнения на сей счет, безусловно, могут разойтись. Статьей, которую мы сегодня предлагаем вниманию читателей, разговор на эту столь волнующую многих родителей тему, конечно, не исчерпывается.

Музыка революции

В последнее время эбьюз преследовал нас повсюду. На психологическом семинаре, проводимом американской специалисткой, — эбьюз, на «круглых столах», посвященных самым актуальным проблемам современности, — тоже эбьюз, на Всемирном психиатрическом конгрессе в Гамбурге — эбьюз, эбьюз и еще раз эбьюз (в том числе кукольный). А недавно мы побывали на Фестивале детских театров в Минске. Погода была прекрасная, встретили нас как дорогих гостей, привезли в самую лучшую гостиницу. Но стоило взять в руки программу фестиваля и пробежать глазами аннотации к спектаклям, как нас охватило чувство унылой обреченности. И здесь! Опять... Впору запеть «Эбьюз нерушимый...». Тем более что наш новый государственный гимн пока еще бессловесный.

Но мы, кажется, увлеклись. А ведь наверняка множество людей еще не знают, что такое эбьюз. Хотя пора. Как-никак наиважнейшая проблема цивилизованного мира. Так вот, «эбьюз» (abuse) в переводе с английского означает «оскорбление, плохое, неправильное обращение, злоупотребление». В широком смысле слова. Но профессионалы в области человеческих отношений — психологи, социологи, психотерапевты, педагоги — несколько этот смысл сузили. Говоря «эбьюз», они обычно подразумевают дурное обращение с детьми. И прежде всего сексуальное насилие. Только не думайте, что речь идет о каких-то маньяках. Нет, имеются в виду самые обыкновенные люди. Чаще всего родственники: отец, мать, отчим, брат (порусски в доцивилизованную эпоху это называлось кровосмешением).

Ширма кукольного театра. На ширме — детская кроватка. И огромные взрослые руки, которые тянутся к куколке, лежащей на этой кроватке. Они шарят по одеялу, ища крохотное тряпичное тельце. Это отчим пришел в детскую спальню надругаться над падчерицей. Культурно говоря, совершить эбьюз. Участникам конгресса, не знающим немецкого языка, перед спектаклем заботливо раздали аннотации на английском. Содержание, впрочем, в переводе не нуждалось: все и так было понятно. Зато без аннотации мы бы не поняли одной очень важной (если не самой важной) детали! Этот спектакль показывают немецким детям начиная с девяти лет. Не только потерпевшим — всем.

В Минске мы видели другой спектакль другого немецкого театра — не кукольного, а драматического. Тема, как вы догадаетесь, была все та же. Только не отчим, а отец; и девочка не малолетняя, а подросток. И сцены эбьюза не показывались, а обсуждались. Последнее обстоятельство чрезвычайно утешало, поскольку

спектакль «Первая любовь, или То, что мне не принадлежит» шел без перевода, и дети, которыми был битком набит минский ТЮЗ, реагировали в основном на рок-зонги.

А вот телевидение с задачей перевода справилось прекрасно. Американский фильм «Кое-что об Амелии» начинался вечером, в четверть девятого. Поэтому не только взрослые, но и дети смогли приобщиться к столь актуальной для их возраста теме, как сожительство девочки с папой.

Но, пожалуй, пора вмешаться нашему любимому «лирическому герою» — либералу или, выражаясь патриотично, свободомыслу:

— Нашли повод для иронии! Тема-то действительно актуальна. И для нас ничуть не меньше, чем для Запада...

Засим следуют аргументы. Телефон доверия... Детская комната милиции... Центр охраны семьи... Знакомый знакомых — то ли наркоман, то ли алкоголик...

Аргументов, прямо скажем, негусто. Когда интересуешься статистикой, то есть сколько детей звонили за месяц или за год с жалобами на сексуальные посягательства родственника, ответом служит презрительное пожатие плеч. Дескать, тут такое, а ты, канцелярская крыса, о цифрах! Кто ж считал? Когда замечаешь, что в подобные службы обращаются именно и только потерпевшие, и у работников этих служб нередко создается искаженное представление о действительности, все равно как иному врачу-венерологу кажется, что все поголовно больны сифилисом, а прокурору — что кругом одни преступники (в лучшем случае потенциальные)... Это замечание воспринимается как неуместный юмор.

А уж не дай Бог сказать, что такое встречается в определенной среде, в маргинальных слоях общества! Ну, это вообще... Специалисты воспринимают подобный текст как кровное оскорбление: кто посмел посягнуть на священный принцип: «Нашли паралитики — самые прогрессивные»?!

— Да обращаются-то единицы,— слышишь в ответ,— а реально потерпевших в тысячу раз больше. Просто народ у нас дремучий, замшелый и понятия не имеет, что с эбьюзом надо немедленно идти к специалисту.

Когда это слышишь, всегда хочется спросить (но не всегда спрашиваешь, чтобы не показаться занудой):

— А откуда вы, собственно, знаете, что потерпевших тысячи, если обращаются единицы?

Да, конечно, бывают случаи, когда официальная статистика говорит одно, но даже слепой видит совсем другое. Например, слышишь по радио, что на митинг оппозиции пришла жалкая кучка люмпенизированных, а выглядываешь в окно — на улице огромная толпа. Ну а уж о прежних временах можно не рассказывать. Каждый сам знает.

Спальня, конечно, не улица. И все же... Должно хоть что-то намекать на такой махровый порок? Тем более что дети не такие уж великие актеры и изощренные притворщики. Взрослые люди — и те далеко не всегда умеют скрыть интимные отношения, и тайное становится явным куда чаще, чем им бы хотелось.

Если придерживаться логики нашего оппонента, можно приписать «дремучему, замшелому народу» и другие пороки. Например, массовое людоедство. Бывает? Бывает. Не все обращаются к специалистам? Отнюдь. (Да и куда обратиться поглощенной жертве? Разве что к небесным заступникам...)

Так вот, возвращаясь к эбьюзу. Всерьез говорить об актуальности этой темы имело бы смысл в том случае, если мы и все читатели этой статьи, приходя в каждый третий или четвертый дом, ощущали бы «запах жареного» или привкус «клубнички», которые, мы повторяем, по-настоящему скрыть невозможно. Тем более когда речь идет о таких страшных цифрах, как 25—30 процентов (а именно эти цифры фигурируют в докладах иностранных специалистов о распространении эбьюза на Западе). Тут уж скрывай не скрывай, а ослиные уши все равно вылезут. Как с преступностью. Даже если бы сейчас все газеты и телеканалы в один голос принялись уверять публику, что кривая преступности резко пошла вниз, никто бы в это не поверил, поскольку каждый без труда вспомнил бы ограбленного друга, избитого приятеля, а также знакомого, у которого угнали машину.

Аналог такой ситуации мы видим практически во всем, что касается темы эбьюза на Западе. Например, в кукольном спектакле «Секрет», о котором мы уже упоминали, о страшном секрете девочки догадывается подруга ее матери, взрослая женщина, у которой в детстве было то же самое. В фильме «Кое-что об Амелии» учительница, которой девочка сообщает о своей двухлетней связи с отцом, не хватается за голову, не выражает изумления и ужаса, как бывает, когда узнают нечто из ряда вон выходящее, а деловито, оперативно звонит по хорошо известному

ей телефону — в специальную полицейскую службу, которая изолирует таких детей от родителей. А в приюте девочка на свой вопрос: «Такие, как я, к вам когда-нибудь попадали?» — незамедлительно получает ответ, что это не тема для беспокойства, поскольку таких детей сколько угодно и поступают они сюда регулярно. Примечательно, что утешена не только жертва. Пылкий отец на приеме у психотерапевта, специализирующегося на эбьюзах (следовательно, даже в небольшом американском городке, показанном в фильме, есть постоянный контингент «эбьюзников», что подтверждается оптимистическим финалом фильма, но о нем позже)... так вот, папашка-соблазнитель узнает, что это дело житейское, с кем не бывает, и все еще можно наладить, если довериться хорошему профессионалу.

Ну, тут легко возразить, что искусство любит сгущать и гиперболизировать явления жизни. В данном случае, похоже, и в жизни все обстоит достаточно круто. Из доклада одной немецкой специалистки мы узнали: проведенное недавно скрытое анкетирование студенток Гамбургского университета показало, что 25 процентов опрошенных в детстве подвергались сексуальному эбьюзу. Американская статистика, по некоторым данным, еще внушительнее: в биографии каждой третьей молодой женщины сегодня фигурирует пережитый в детстве эбьюз. Во время нашей летней поездки в Германию стоило нам в беседах с обычными людьми (а не специалистами по эбьюзам!) выразить сомнение в такой чудовищной распространенности подобного «негатива», как наши собеседники спешили эти сомнения развеять и приводили совершенно конкретные факты из жизни своих друзей и знакомых.

В этой связи очень интересна и показательна реакция наших граждан. Тоже обыкновенных, не специалистов. Когда заговариваешь с ними про сожительство родителей и детей, про то, что на Западе это актуальная проблема и касается она всех слоев общества, видишь на лицах вовсе не ханжеское смущение и не смятение людей, которых подловили на тайном грехе, а искреннюю оторопь.

Собеседники явно не сразу «врубаются», словно мы им рассказываем про дикие обычаи племени мумбо-юмбо. А когда понимают, то какое-то время не верят. Спрашивают: «Вы не шутите?», или «Разве такое может быть?», или «Вот уж действительно — у каждого свои проблемы!»

Насчет своих и чужих проблем — разговор особый, а сейчас хочется отметить еще один любопытный, на наш взгляд, факт. В тот вечер, когда по ТВ показывали «Кое-что об Амелии», нам в силу обстоятельств было трудно в нужное время оказаться у телевизора. Фильм широко рекламировался в газетах и телерекламах, и мы не сомневались, что многие наши родственники и друзья его увидят. И надеялись получить подробный пересказ. Но для верности решили уточнить, на кого можно рассчитывать. Оказалось — ни на кого! Один сказал, что его стошнит, другая — что муж будет дома и все равно выключит, а большинство — что дети в это время еще не спят. В результате пришлось нам отложить все дела и поспешить домой. (Мы уже задумывались над этой статьей и понимали, что нужен «иллюстративный материал».) Обращаясь с подобной просьбой, мы не обзванивали тех знакомых, которых можно было бы заподозрить даже в малейших проявлениях замшелости или ханжества. И тем не менее... А некоторые не только отказались, но вдобавок еще и обиделись. Дескать, почему именно их попросили посмотреть «непристойный фильм»? Вот уж поистине «их, Пронькиных, не поймешь»! То требуют свободы сексуального просвещения, то вдруг оскорбляются, когда их просвещают. А ведь фильм носил именно просветительский характер. Там не было никаких скабрёзных сцен, никакого натурализма. Все очень корректно, все в тексте.

Кто-то может возразить:

— При чем здесь сексуальное просвещение? Какая связь?

Мы думаем, связь есть, и она достаточно отчетливо прослеживается. Хотя, безусловно, это не такая уж простая арифметика. И то, что одно вытекает из другого, понятно далеко не всем. Но специалистам, казалось бы, сам Бог велел задуматься о подобной связи.

На конгрессе в Гамбурге было специальное секционное заседание, посвященное проблемам эбьюза. Причем ведущая, профессор из США, с самого начала заявила, что уважаемые коллеги собрались не для обсуждения каких-то частных вопросов, а для серьезного разговора о причинах столь печального факта современной жизни. Услышав такое вступление, мы переглянулись: «Наконец-то!» Мы уже знали и про пугающую статистику, и про широко развернутую психотерапевтическую работу в этом направлении, и про классификации, и про «технические» подробности. Наконец поставлен главный вопрос: почему?

Но то, что прозвучало дальше, носило откровенно фарсовый характер. Все принялись дружно обсуждать... ускорение ритма жизни, непомерное давление об-

щества на волю индивида, тяжелые нагрузки, обилие информации, а также стрессовые состояния, порожденные слишком большим выбором в развитом западном обществе.

На последнем аргументе мы сломались, представив себе бедного фазера, который мечется, как загнанный зверь, по универсаму, не в силах сделать выбор между клубничным, ананасовым и черносмородиновым йогуртом! А тут еще подвозят на тележке йогурт киви, манго, папайи... Ну как после этого не впасть в состояние стресса и не соблазнить с горя литл беби?!

А уж тяготы жизни просто непосильные, вообще доводят до отключки. То ли дело в средневековье или в послевоенной Германии... И ритмы, конечно, бешеные: обеденный перерыв — в кафе, вечером нередко — тоже в кафе или в ресторан. И так день за днем, день за днем. Надо же когда-то и оттянуться!

Из вежливости мы рассмеялись потом, за дверью, но, прежде чем покинуть благодарное собрание, задали вопрос: не кажется ли уважаемым коллегам, что причины эбьюза как распространяющегося социального явления нужно искать в смещении и размывании моральных норм? Может быть, это естественное следствие сексуальной революции?

На повернувшихся к нам лицах отразилось полное недоумение. Но затем ведущая, вероятно, что-то сообразила и дипломатично ответила, что да, может быть, и этот фактор имеет место, но он вовсе не определяющий, сексуальная революция свершилась невесть когда, в 60-е годы, а сейчас самое главное — ускорение, давление, нагрузки... В общем, смотри выше.

Потом, правда, к нам подошел молодой немецкий психолог и сказал, что его очень заинтересовала наша «нетривиальная гипотеза». И попросил пояснить. Мы начали говорить в общем-то обычные вещи, которые у множества наших соотечественников не вызывают ни вопросов, ни возражений: что сексуальная революция, включающая школьное просвещение детей, снимает барьер между поколениями, а поскольку чаще всего в просвещении участвуют наряду со школой и родители, то незаметно, исподволь, разрушается и барьер инцестуальный. Собственно, что мешает от совместного изучения теории перейти к практике? Почему читать, смотреть, пояснять, показывать, шутить, обсуждать можно, а делать нельзя? Ведь, рассуждая логически, кто лучше преподаст девочке «науку страсти нежной», чем ее отец? Взрослый, опытный, знающий и любящий своего ребенка, как никто другой? Идеальный наставник! Помешать этому могли бы жесткие моральные нормы, а они-то как раз и были расшатаны сексуальной революцией. Благомысли-шестидесятники, которые из лучших побуждений просвещали своих детей, дальше теории не шли, ибо сами воспитывались еще достаточно патриархально. Их же дети, нынешние родители, сформировались в другую эпоху, которую часто так и называют: «эпоха стирания граней». А ученики, как известно, должны превзойти своих учителей. Поэтому ведущая, сказав, что сексуальная революция была уже давно, вовсе не опровергла наш тезис, а косвенно его подтвердила. За это время и успело подрасти «постсексуальное» поколение.

Мы готовы были порассуждать еще и про запретный плод, который обязательно должен быть запретным, чтобы оставаться сладким, а иначе — так уж устроен человек! — неизбежны поиски новых запретных сладостей. Ведь эта тенденция прослеживается так отчетливо! Разнополая «свободная» любовь перестала быть запретной — появилась тяга к однополю, однополая стала признаваться нормой — стали множиться кровосмесительные связи. Что на очереди? Скотоложество? Некрофилия? В несколько поредевшем списке сексопатологических проявлений есть еще кое-что на десерт. Не очень ясно, правда, что произойдет, когда меню будет исчерпано.

Могли бы мы сказать и о таком явлении, как инфантилизация современного западного общества, которая тоже, как нам кажется, тесно связана с сексуальной революцией. И о властвующей в этом обществе игровой стихии...

Но, взглянув на нашего собеседника, умолкли. Его остекленелые глаза напоминали глаза рыбы, оглушенной динамитом. Да он и сам честно признался, что ему трудно переварить такое количество новой информации. А мы потом даже пожалели, что нагрузили любознательного молодого человека, в сущности, уже не актуальными для его культуры умозаключениями. Как говорится, «поздно, Клава, пить боржоми, когда печень полетела». Дело зашло слишком далеко, если в ряде американских школ (например, в Бостоне) «сексуальные меньшинства» приходят раз в неделю к детям рассказать об однополюй любви — нет-нет, не для рекламы, а для просвещения; если в подавляющем большинстве иностранных книг на тему воспитания детей можно прочесть фразы типа: «Половая жизнь — это сфера инстинк-

тов, почему же от ребенка надо скрывать правду об этом?» (Хотя до сих пор считалось, что воспитание призвано укрощать и облагораживать инстинкты, и детей учили не теории и практике секса, а этике и эстетике любви.) Да, маховик не на шутку раскрутился, и остановить его под силу разве что новому Лютеру. А тем, кто не отличается повышенной пассионарностью, приходится разводить руками и довольствоваться сетованиями на все возрастающие сложности жизни в условиях развитого капиталистического общества.

В нашем Отечестве этот разговор пока еще не лишен смысла. Общество здесь все-таки очень традиционное, гораздо более традиционное, чем кажется нам изнутри. И многие иностранцы это замечают. Например, Себастьян Джоб, австралийский социолог из Сиднейского университета, проживший в Москве (в нашем-то Вавилоне!) три года, сказал нам перед отъездом: «Вам кажется, что у вас в стране происходят стремительные перемены, потому что вы имеете возможность сравнить сегодняшнюю жизнь с той, которая была десять, двадцать лет назад. Я могу сравнивать только то, что я увидел здесь и сейчас, с тем, что я вижу у себя в Австралии и в европейских странах. Русский жизненный уклад чрезвычайно патриархален, своеобразен и устойчив. И я вам желаю, чтобы вы смогли это сохранить».

Хочется заметить, что, говоря о традиционном, патриархальном обществе, ни наш друг-социолог, ни тем более мы сами не рисуем в своем воображении каких-то лубочных картинок. Свершившаяся на Западе сексуальная революция, безусловно, не могла не повлиять на нашу реальность. Но традиция смягчила, самортизировала это, просеяла сквозь сито культуры и оставила в общественном сознании наиболее, что ли, человечные завоевания сексуальной революции: девушка уже не чувствует себя ущербной, если не сохранила невинность до замужества, окружающие вполне терпимо относятся к гражданским бракам, исчезло понятие «незаконнорожденный» (интересно, что во многих более «продвинутых» странах оно осталось, и в этом легко убедиться, почитав современную литературу).

Ну, так, выходит, нам нечего бояться? Тб переварили и это переварим. Нет новаций для паники!

Увы, это не совсем так. Общественный организм не может переварить все и в любых количествах. Особенно если этот организм ослаблен, и ослаблен не только тем, что вот уже десять лет живет в режиме экономических и политических потрясений. (Когда говоришь об этом, то часто слышишь в ответ примерно следующее: «Слабый организм? Не может сопротивляться? Ну что ж, тогда пусть погибает, раз такой нежизнеспособный...») Больше всего эти высказывания поражают своей беспристрастностью. Как будто речь идет о чем-то далеком и постороннем, а не о себе самом как части своего народа, культуры и т. п.) Уж очень неравный бой получается. С одной стороны, усталые, растерянные, оглушенные наши соотечественники, которым и правые, и левые, и «демократы», и «патриоты», и все, кому не лень, внушают, что они (люди) жили и имеют наглость продолжать жить неправильно, не так, как надо. А с другой — если и обремененные, то скорее комплексом полноценности апологеты «правильной жизни», уверенные в том, что несут «России во мгле» свет цивилизационной истины.

— Вы просто отстали на двадцать лет, — говорят они, снисходительно улыбаясь, ибо помнят, что надо быть терпимыми к чужим слабостям и заблуждениям. — И у нас все было точно так же. Люди сопротивлялись, они далеко не сразу поняли, что сексуальная просвещенность — это свобода. А свобода — главный приоритет человека, живущего в демократическом обществе. Вы ведь совсем недавно перестали быть тоталитарным государством, все еще будет в порядке...

Что ж, мы и в этом смысле живем сейчас в уникальную эпоху — в эпоху, когда не только в фантастических фильмах Спилберга можно наблюдать так называемую параллельность времен. Особенно отчетливо это было видно в Минске, на Фестивале детских театров. И неудивительно, ведь искусство — своеобразный концерт. То, что в жизни может быть размыто, распылено, здесь сконденсировано, как влага в туче.

Короче говоря, в Минске мы одновременно увидели два витка сексуальной революции. Второй был представлен, разумеется, теми, кто опередил нас на двадцать лет, — театром из города Мангейма (см. начало статьи), а первый... первый показали хозяева фестиваля — минский ТЮЗ. Хотя нельзя сказать, что это была полностью самостоятельная работа. Пьеса была немецкая, режиссер тоже — Х. Флаххубер. Спектакль назывался интригующе: «Про это не говорят».

В первых рядах сидели мальчики и девочки от шести до восьми. Сзади располагались взрослые — педагоги и родители. Была приглашена и молодежь — студен-

ты педагогического института. Да, еще, пожалуй, важно добавить, что это была пьеса-игра. Почему важно — скоро поймете.

Представление началось с того, что перед самым носом у детишек (сцены не было, и это тоже явно входило в режиссерский замысел) появились тетя, одетая дядей, и дядя, одетый тетей. В веселой тюзовской манере ряженые задали детям вопрос, к какому полу каждый из них на самом деле принадлежит. Дети, несмотря на маскарад, угадали правильно. Тогда последовал другой вопрос: а как, собственно, определить, кто мужчина, а кто женщина? Дети, еще не понимая, к чему клонят актеры, наперебой закричали: «Парик пускай снимет!», «Усы надо отклеить!» и т. п. Характерно, что ни один ответ (а их было достаточно много) не вышел за рамки приличий, не нарушил те границы, которые приняты и в Москве, и в Минске между взрослыми и детьми. Границу перешли взрослые. С шуточками и прибауточками они подвели детей к тому, что самое главное — другое. И стали со спортивной прытью раздеваться. Нет, не догола (это ведь пока первый виток просвещения!). До нижнего белья. Но зато потом другие актеры принялись рисовать углем на этом белье «самое главное». Рисовали и спрашивали у юных зрителей, как это называется. Дети сначала оцепенели, потом стали смущенно хихикать, отводить глаза, закрывать руками лицо, пожимать плечами. Наконец одна бойкая девчушка пискнула: «Щелинка!» (Это белорусский вариант.) «Правильно, умница!» — обрадовались артисты и поспешили дополнить... Справедливости ради надо отметить, что, кроме бытовых наименований, детям были сообщены научные: «вагина», «пенис», «фаллос», «половой член». (Ну да, это просвещение!) Правда, потом, когда речь зашла о самом-самом главным и на вопрос, как это называется, та же самая девчушка пискнула: «Сек!» — ведущий бодро дополнил: «А можно сказать: "Трахаться!" Я, например, всегда говорю так!»

И актеры незамедлительно приступили к демонстрации процесса. Понарошку, конечно. Ведь театр допускает условное действие, к тому же первый виток. Они неловко ложились то крест-накрест, то валетом и все время просили детей показать, как же нужно. Тут даже храбрая девчушка стушевалась. И тогда актеры ласково, но твердо подняли с места совсем уж юную зрительницу лет шести и подвели ее к «маме» и «папе». Дело в том, что абстрактные мужчина и женщина по ходу спектакля очень быстро превратились в маму и папу. И это был особый, может, не для всех очевидный цинизм, потому что наши дети (про «ихних», просвещенных, судить не беремся) могут что угодно знать про мужчин и женщин, но, как правило, не переносят свои знания на родителей, автоматически вытесняя это из сознания как неприкосновенную тайну. Рационально такой феномен необъясним. Почему дворовый хулиган, ругающийся матом, напичканный похабными анекдотами, готовый говорить «про это» даже с классной руководительницей, кричит другому хулигану: «Это твоя мать трахается с отцом! А моя не такая!»? И, украшая стены школьного сортира непристойными рисунками, никогда не изображает своих родителей? Вы спросите, откуда мы это знаем? Но ведь дети имеют обыкновение подобные художества подписывать. «Маша+Коля», «училка», «директор», всякие прозвища... Вот только «маму» и «папу» (или даже «мамку» и «папку») вы там не найдете.

Не отсюда ли уверенность стольких подростков, что их 35—40-летние родители уже старые, а следовательно, «не занимаются глупостями»? Механизм образования внутренних табу настолько загадочен и сложен, что, сколько ни рассуждай на эту тему, многое так и останется неясным. Но нам ясно одно: растабуирование сакрального — пусть даже в угоду самой безупречной логике, к которой, собственно, и апеллируют поклонники либерализма, — не может пройти безнаказанно.

Не может — и не проходит. Распространение эбьюза на Западе среди нормальных людей — это, конечно же, следствие «гибели богов». И, увы, не единственное.

Но вернемся к спектаклю. Там было еще много интересного. Например, детям открытым текстом сказали, что онанизмом заниматься очень приятно («дуже приємно» по-белорусски) и только глупые взрослые могут это запрещать. Тема была освещена достаточно подробно. Актер, изображая мальчика, рассказывал (и даже помог себе жестом), как однажды занимался этим на уроке, а плохая учительница помешала. Актриса позаботилась о просвещении женской половины зала и от лица девочки поведала грустную историю о нечуткой маме, которая в аналогичной ситуации не только помешала, но и сказала, что это стыдно. Сей ложный тезис артисты, хохоча и гримасничая, не замедлили опровергнуть, запев под гитару: «Що приємно, то нэ стыдно!» И, разумеется, вовлекли в хоровое пение весь зал.

Основным аргументом главного режиссера минского ТЮЗа М. М. Абрамова было то, что такой спектакль сейчас остро необходим. «Ведь должны же мы были

что-то противопоставить потоку грязной порнографии, которая льется на наших детей с экранов телевизоров! Нашей задачей было показать детям, что это можно делать красиво, задорно, весело. Должно же быть нормальное сексуальное просвещение!»

Однако, внимательно следя за реакцией детской аудитории, мы убедились, что как раз цели просвещения-то и не были в ходе спектакля достигнуты. Все, что говорилось в первом действии (чем мужчина и женщина отличаются друг от друга и что они делают друг с другом), дети уже знали. Содержание же второго действия (устройство внутренних половых органов, физиологические основы оплодотворения, процесс беременности и родов) еще не находилось, по терминологии психолога Л. Выготского, «в зоне ближайшего развития», и дети просто ничего не усвоили.

Но зато было усвоено другое: что со взрослыми и с детьми противоположного пола можно (и даже нужно!) говорить «задорно и весело» о стыдном. Более того, стыдное оказывается вовсе не стыдным, ибо «что приятно, то не стыдно».

И по логике вещей — почему, собственно, поборникам просвещения можно рассуждать логически, а нам нельзя? — родители уже не вправе будут выразить недовольство, если вдохновленный воскресным утренним спектаклем ночью к ним в спальню ворвется крошка сын и заявит: «Вы тут трахаетесь, а мне там одному скучно!»* Учительница же, увидев на доске похабщину, не посмеет возмутиться, найти виновного и отвести его к директору. А если кому-нибудь на уроке приспичит... как бы это сказать... ну, в общем, заняться «приятным», то она прямо-таки обязана будет прервать — нет, не темпераментного школяра! — объяснение. И, вспомнив театральный шансон с рефреном «что приятно, то не стыдно», призвать класс к подражанию. Чтобы не прослыть душой.

Смешно? Не верится? Что ж, давайте снова совершим небольшое путешествие в «параллельное время», в общество второго витка. Перед нами недавно переведенная на русский язык книга «Игровая терапия: искусство отношений». Автор — Г. Л. Лэндрет, известный американский психотерапевт. «Позволять ли ребенку мочиться на пол в игровой комнате — это большой вопрос», — пишет он. И в качестве личного мнения добавляет: «Не следует разрешать детям писать в бутылочку с соской, а потом пить мочу».

Вы думаете, что речь идет о пациентах, страдающих тяжелой умственной отсталостью? Ничего подобного! Имеются в виду так называемые «дети с проблемами»: чересчур застенчивые, расторможенные, не умеющие контактировать с людьми и т. п. То есть дошкольники и школьники с разнообразными невротическими признаками. Живут они в семьях, как правило, достаточно обеспеченных, потому что игротерапия, модное сейчас на Западе направление, — удовольствие довольно дорогое, по признанию самого автора книги. Иными словами, это опять-таки не маргинальные семьи, а средний класс.

Что же еще фигурирует в списке ограничений на занятиях игротерапией, которые, по убеждению авторов этого метода, способствуют установлению нормального контакта между взрослым и ребенком? В списке целых 54 пункта, но мы приведем лишь несколько. Итак, в игровой комнате запрещается: курить, бить окна, поджигать вещи, писать на доске грязные слова, бить терапевта, брызгать в терапевта водой. (Впрочем, последние два пункта далеко не всегда соблюдаются. Мы в Германии видели девятилетнего мальчика, который на сеансе игротерапии бил терапевта-женщину ногами и не просто брызгал, а окатывал ее водой из ведра.) Но продолжим. Нельзя полностью раздеваться, справлять нужду на пол, открыто мастурбировать (втихаря, стало быть, можно; в игровой комнате обычно предусмотрены укромные уголки, чтобы ребенок мог при желании уединиться). Сам по себе ни один из этих пунктов не вызывает возражений. Действительно, нельзя бить окна, поджигать вещи, накладывать кучу на пол. Но, согласитесь, наших детей с непомраченным рассудком не надо об этом предупреждать. Им просто не придет в голову, явившись на занятия, вытворять что-то из перечисленного. Такое может быть только в том случае, если барьер между взрослым и ребенком фактически разрушен. Если возможен следующий диалог (цитируем все ту же книгу Г. Л. Лэндрета):

Терапевт. Роберт, я вижу, ты и в самом деле на меня рассердился.

Роберт. Да! И сейчас точно тебя пристрелю.

* Свежее примечание. Цитируем газету «Тверская, 13» № 11 за 1997 год. «Вернувшись с московского семинара, один 15-летний мальчик сказал отцу с матерью, что у них во время полового акта не та поза» (статья «Растление малолетних. Как это делается»). Речь идет о семинаре по сексологии, проходившем в 986-й московской школе, куда привезли подростков из г. Александрова).

Терапевт. Ты так сильно рассердился на меня, что готов меня застрелить. (Роберт к тому времени уже зарядил игрушечное ружье и начинает прицеливаться в терапевта.)

Роберт. Ты не можешь остановить меня! Никто не может! (Прицеливается в терапевта.)

Терапевт. Ты такой сильный, что никто не может тебя остановить. Но ты можешь представить себе, что кукла Бобо — это я, и выстрелить в Бобо.

Подобные примеры можно приводить до бесконечности, но, надемся, «вышеизложенного» вполне достаточно, чтобы нарисованная нами картина последствия белорусского спектакля не показалась такой уж фантастической карикатурой. Разумеется, один спектакль не в состоянии разрушить столь фундаментальные иерархические отношения, как отношения взрослого и ребенка. Но если таких спектаклей, фильмов, книг будет много, если они станут нормой, то отчего же нет?

Нам кажется, что сейчас наступил момент, когда в самом прямом смысле слова от каждого из нас зависит восстановление или, наоборот, окончательная потеря иммунитета. Иммунитета к самым разным социальным болезням, в том числе и к разрушению традиционных культурных норм, уничижительно именуемых «совковой психологией». И ссылки на государство, занятое совсем другими делами, на бессилие слабого, бесправного человека не могут служить оправданием. В конце концов никто сейчас, держа пистолет у виска, не заставляет перенимать западные образцы поведения и воспитания. Как никто не мешал красным от стыда родителям взять своих детей за руку и вывести из минского ТЮЗа прямо посреди веселого «просветительского» спектакля. Но ни один этого не сделал. Видимо, боясь показаться замшелым и дремучим.

Что ж, хозяин — барин. Только не забывайте, что за «А» всегда следует «Б». И это только начало алфавита.

Новая гармония

Человек нашей культуры, прочитавший предыдущую часть, вправе возмутиться:

— Что ж, по-вашему, проблемы эбьюза вообще не надо обсуждать? Пускай взрослые развращают детей, пускай дети живут с тяжелой травмой в душе, с изломанной психикой, пускай гадкие скоты знают о своей полной безнаказанности, а общество будет трусливо молчать? Вы к чему призываете — к заговору равнодушных?! Хватит! У нас это уже было! Сыты по горло!

Представитель же западной цивилизации, носитель общечеловеческих ценностей, которого мы условно назовем «общечеловеком», даст менее экспансивный, но более обстоятельный комментарий:

— Подобный подход к болезненным социальным проблемам характерен для обществ переходного периода. Тоталитарные тенденции еще очень сильны, и люди склонны замалчивать вопросы, которые им кажутся неприличными для обсуждения. Но через это надо пройти. В демократическом обществе не может быть запретных тем. И тема эбьюза должна обсуждаться широко и открыто.

Все это звучит настолько аксиоматично, что вроде и возразить невозможно. Но тем не менее мы попробуем.

Нам кажется весьма спорным тезис о том, что надо все и везде обсуждать, и чем откровеннее, тем лучше. Особенно когда речь идет о традиционных культурах, к которым, нравится это кому-то или не нравится, принадлежит и русская культура. Более того, специалисты-этнологи относят ее к типу культур репрессивных, т. е. таких, в которых происходит бессознательное подавление и вытеснение целого ряда чувств, тем, явлений и т. п. По-видимому, это восходит к основам православия. Прекрасно высказался на эту тему отец Павел Флоренский. Он писал, что есть «внутренние слои жизни... которым надлежит быть сокровенными даже от самого Я. (Не то что от других! — И. М., Т. Ш.) Таков по преимуществу пол» (разрядка наша).

Впрочем, в последнее время мы все чаще задумываемся: а так ли уж полезна и для рационального западного общества «тотальная» гласность, публичные обсуждения того, о чем еще совсем недавно и у них полагалось молчать? Вообще рассуждения по типу «или — или», «или все — или ничего» чем дальше, тем больше напоминают наживку, на которую рассчитывают поймать (и до сих пор ловят, хотя и в меньших количествах) простодушных людей. Или все, как по команде, обсуждают эбьюз (а также поочередно проституцию, гомосексуализм, заражение СПИДом,

жизнь «воров в законе», «опускание» уголовников, дразги в среде музыкантов), или опять-таки все общество об этом «трусливо молчит».

Конечно же, если в жизни ребенка произошла такая трагедия, как совращение взрослым, то надо сделать все, чтобы смягчить последствия этой ужасной травмы. Но почему все дети должны быть вовлечены в эту орбиту? Зачем им получать далеко не безобидные знания о том, что их, слава Богу, не коснулось? Почему не учитываются негативные последствия такого всеобуча? Мы задали этот вопрос немецкому специалисту, делавшему доклад на соответствующую тему. Но сперва решили кое-что уточнить.

— Вот уже несколько лет, — сказали мы, — в Германии ведется широкая просветительская работа по проблемам сексуального надругательства над детьми. Можете ли вы утверждать, что в результате такой работы эбьюзов стало меньше?

Ответ был отрицательным. Нет, напротив, все больше и больше.

— А не опасаетесь ли вы, — задали мы свой основной вопрос, — что широкое обсуждение этой темы может привести к совершенно незапланированным последствиям? Например, породить неловкость и страхи в отношениях детей и родителей? Вызвать нездоровое любопытство и фиксацию на той теме, которая многим людям и в голову бы не пришла? Допустим, девятилетняя девочка, посмотрев спектакль «Секрет», приходит домой, и отчим, у которого и в мыслях нет ничего такого, привычно целует ее в щеку, сажает на колени. А у девочки, которая до сих пор воспринимала это как нормальную родительскую ласку, немедленно возникают в голове сцены из спектакля. Там-то все началось именно с этого!

Докладчик задумался, а потом сказал дословно следующее:

— Да, конечно, такое тоже может иметь место, но положительные результаты должны перевесить отрицательные.

Должны — и никаких гвоздей! Почти по Маяковскому.

И все же позволим себе поставить под сомнение истинность этого императива. Мы думаем, что при широком обсуждении традиционно запретных тем в общественном сознании происходят очень серьезные сдвиги. Процесс этот длительный, поэтапный.

Патология, не только сексуальная, а вообще самая разнообразная, появилась, как вы понимаете, не сегодня и не вчера. Но процесс изменения сознания начинается только тогда, когда что-то (к примеру, инцест) подается не как отдельный вопиющий факт, предполагающий, разумеется, сочувствие к жертве и уголовное наказание для виновного, а как распространенное и все более и более распространяющееся явление. Общественное сознание сперва испытывает шок, а потом, если не может, оправившись от шока, противодействовать такому внедрению... примиряется с ним. И начинается процесс адаптации.

Во время нашей полемики по поводу эбьюза был приведен аргумент, смысл которого мы поняли еще до того, как нам успели его перевести на русский язык: «Идьот! Наташа Филипповна!» Дескать, нечего изображать оскорбленную невинность! У вас тоже есть и был эбьюз.

Да, конечно, и мы еще раз повторим, что всякое на свете бывает, но Достоевскому и в голову не приходило подавать эту историю как нечто пусть негативное, но заурядное.

Когда маргинальные феномены активно проникают в общественное сознание, происходит очень интересная вещь: они перестают быть маргинальными, т. е. окраинными, и смещаются ближе к центру. А если активно муссируется идея об их распространенности, они, стало быть, захватывают все большие территории. И постепенно люди начинают считать, что порок повсюду. Не в отдельных (непросвещенных или, наоборот, слишком просвещенных, богемных) слоях общества, а именно везде и повсюду. В самых обыкновенных семьях, у самых обыкновенных людей. (Помните, как при Горбачеве, в эпоху песни «Путана», нам активно внушалась мысль, что девочки из вполне приличных семей страстно мечтают стать проститутками? Приводились ошеломляющие цифры опросов.)

Но все это еще полбеды. Самое страшное начинается тогда, когда постепенно стирается, размывается представление о норме. Конечно, в наш либеральный век нелегко провести такую уж четкую границу между нормой и патологией, между пороком и добродетелью. Процессы диффузии, знакомые нам еще со школьной скамьи, вполне переносимы и на сферу морали. Но говорить, что границ вовсе не существует, что у каждого своя мораль, что и норма-то — понятие весьма спорное и относительное («Покажите мне, где она, ваша норма?») — характерная полемическая реплика — это, может быть, очень демократично, но и очень безответственно, ибо взрывоопасно. Все равно как курить у бензоколонки.

Чем чревато утверждение, прозвучавшее из уст психотерапевта в фильме «Кое-что об Амелии»? Обращаясь к отцу, который два года сожительствовал с дочерью, человек в белом халате безапелляционно заявляет (вероятно, чтобы ободрить своего пациента):

— Нет такого отца, которому бы не приходили в голову мысли об инцесте.

А у телевизора сидят отцы, много отцов. И скорее всего до просмотра фильма мало кому из них приходила в голову подобная мысль. А тут, если уж специалист сказал... Ему виднее. На то он и специалист. Хочешь не хочешь, а задумаешься. Пороешься в глубинах своего подсознания, Фрейд вспомнишь с его пансексуальностью, вспомнишь, и как дочку любил купать, когда она была маленькая. И как прижимал к груди, укачивая. Только ли ее успокаивал? А может... И ведь по дрему чести своей думал, что это чистое отцовское чувство! А на самом деле, видно, боялся себе признаться. Подавлял, вытеснял...

И уже не только в общественное сознание, а и в сознание каждого отдельного человека запускается мысль о том, что и в нем подспудно живет тяга к запредельному пороку. И это нормально.

А тут еще статистика подтверждает. Мало того, что практически все об этом думают, но уже каждый четвертый (в лучшем случае пятый) перешел к делу!

И процесс идет дальше. Да, эта статистика, разумеется, подается под знаком патологии. Но цифры-то говорят совсем другое! Если 25 процентов, т. е. четверть всех молодых женщин, в детстве подвергались сексуальному эбьюзу, то это уже не патология, а новая норма.

Сознание пока еще не может с этим примириться, но уже делает шаг навстречу. За инцест, который во все времена считался одним из самых страшных преступлений, виновному сегодня вовсе не обязательно полагается уголовная кара. Альтернатива тюрьме есть! Это... курс занятий с психотерапевтом. Причем на первый план выходит вроде благородная задача — сохранение семьи. Той самой, где все это произошло. И вот через полгода семья в полном составе вновь собирается у камелька для безоблачной счастливой жизни: отец, который, находясь в здравом уме и твердой памяти, несколько лет подряд день за днем растлевал свою дочь, жена, которой муж изменил не с кем-нибудь на стороне, а с их общим ребенком; этот ребенок, у которого, если говорить серьезно, с раннего возраста и на всю жизнь непоравимо искажена картина мира; и остальные дети (если они есть), которые, разумеется, в курсе произошедшего, то есть прекрасно знают, что их папа, самый лучший папа на свете, спал с их сестрой. Этакая идиллия после Содома!

Все равно как убийцу, зарезавшего своего ребенка, малость подлечить, разобрат на сеансе групповой психотерапии, какие бессознательные механизмы лежали в основе этого неблагоприятного поступка, что было вытеснено, что сублимировано, как при этом страдало либидо, — и запустить обратно в ту же семью. И считать, что это и есть оптимальный способ решения серьезных социальных проблем.

Чувствуете разницу? Хотя формально не придерешься. Смотрите: проблема сожительства взрослых и детей, проблема адаптации эмигрантов, проблема безработицы, проблема загрязнения окружающей среды, проблема творческого самовыражения. И еще много-много других, столь же или почти столь же серьезных проблем.

Ну а, как известно, где проблема, там и поиски решения. А где есть решение, там автоматически снимается трагедийный накал, ибо трагедия — это неразрешимость (во всяком случае, в пределах жизни земной). А раз нет трагической глубины, трагического пространства, то и чувства соответственно мельчают и уплощаются. И запредельно страшное перестает быть запредельным. И уже вроде бы не такое страшное. И уже не «быть или не быть?», а «что делать?». А раз «что делать?», то какова последовательность действий? С чего начать? Что выделить как главное? А вот это уже большой вопрос. Однородные члены предложения, они, знаете ли, могут меняться местами. Сегодня одна проблема выступает на первый план, завтра иная. И, конечно же, немало зависит от индивидуального восприятия.

Помните, что сделал царь Эдип, когда узнал, что невольно вступил в кровосмесительный союз с собственной матерью? Он отказался от престола, бежал из Фив и, не дожидаясь кары богов, покарал себя сам — выколол себе глаза. Но это, как принято теперь говорить, его проблемы.

Перед героиней романа Вудса «Под озером», явно претендующего на незаурядный психологизм, в аналогичной ситуации встают проблемы, более актуальные и для сегодняшнего дня, и для данной личности. Журналистка Скотти Макдональд ведет независимое расследование, в результате которого выясняется, что главный преступник — это местный шериф. У Скотти — а она девушка горячая —

возникает с ним мимолетная сексуальная близость. Что, впрочем, нисколько не вредит независимости ее следовательской и журналистской работы. Кульминационная точка в развитии сюжета — Скотти узнает, что шериф на самом деле ее родной отец. Журналистка потрясена. Но что больше всего волнует современную мисс Эдип? Что вызвало самые сильные эмоции, бурный поток слов? «Проблема инцеста»? Ну, в общем, нельзя сказать, что она осталась совсем незамеченной.

«— Честное слово, мне очень жаль, Скотти,— сказал Бо,— но я просто не знал... (Имеется в виду: не знал, что она его дочь.— **И. М., Т. III.**)

— Я верю, Бо,— кивнула Скотти,— и постараюсь взять себя в руки».

Из прелестных глаз дочери выкатывается несколько слезинок, но уже через пару минут эти вполне зрячие глаза по-прежнему бодро и оптимистично смотрят на мир. Никаких эдиповых комплексов!

Гораздо больше Скотти волнует другое. Тут находятся и слова отчаяния, и восклицательные знаки. Это проблема профессионализма, а она, в свою очередь, предусматривает журналистскую объективность.

«— Журналист обязан быть объективным и отстраненно воспринимать события! (Имеется в виду, что дочерние чувства могут ей помешать — все ж таки родная кровинка! — написать правду о преступной деятельности шерифа. Забегая вперед, скажем, что не помешало.— **И. М., Т. III.**) А я по уши завязла в этом дерьме! Я попала в западню собственной истории! Какой редактор этому поверит? Разве читатели поверят мне? — Скотти всхлипнула».

— Вы еще пожалейте, что дыбу отменили! — возмутится оппонент.— Слава Богу, что сейчас и человек, и общество в целом стали легче ко всему относиться. А вы все варварство оплакиваете! Смягчение нравов свидетельствует как раз о развитии культуры. В том числе и сексуальной.

Что ж, вопрос интересный. Даже отчасти философский. И спорный. В каких-то случаях смягчение нравов — это свидетельство развития культуры, а в каких-то — совсем наоборот. Вот что говорит крупнейший западный этнолог и культуролог XX столетия Клод Леви-Стросс, изучивший множество самых разных, в том числе и архаических культур: «Запрещение инцеста — первоэлемент (разрядка наша), на котором строятся все без исключения культуры, до сих пор существовавшие на земле, включая самые примитивные».

Нет, западное общество пока не отменило запрет на инцест. Напротив, принимается много конкретных мер, создаются специальные службы, пишутся инструкции, снимаются фильмы, ставятся спектакли... Но их создатели (и, конечно, потребители) попадают в ловушку. Вот уж где на редкость уместно вспомнить, чем вымощена дорога в ад! Широкое приобщение всех от мала до велика к обсуждению строго табуированных тем (когда, например, даже шестилетняя девочка из фильма об Амелии бросает своей старшей сестре упрек: «Почему ты сразу не отказала отцу?!» Или — уже в реальной жизни — американские школьники спрашивают совершенно незнакомого русского профессора, пришедшего к ним в класс: «Как вы относитесь к проблеме эбюза и сексуальной защиты?») — это отнюдь не безобидные игры с коллективным бессознательным.*

«Не будите спящую собаку», — предупреждает английская поговорка. Русская звучит еще более определенно: «Не буди лиха, пока лихо спит». Впускать в сознание, уплощать и рационализировать запредельное, преступное — значит (если уж мы обратились к фольклорным примерам) уподобляться зайцу из сказки про ледяную и лубяную избушку. Как известно, лиса, которую заяц по наивности впустил в свой домик, в конце концов вытеснила хозяина. Не с первого, правда, захода, а с третьего, поэтапно. Но выжила.

Коллективное бессознательное в чем-то очень напоминает сказочную лису. Заяц, гостеприимно распахнув двери перед лисой, был уверен, что она немного поживет на положении гостя, а потом, вежливо поблагодарив за постой, уберется восвояси.

Так и коллективное бессознательное. Пока оно в своей «лисьей норе», на дне души — все в порядке. И даже когда оно время от времени совершает тайные ночные вылазки — еще тоже ничего. Ошибка зайца заключалась в том, что он пустил лису на порог. С этого момента он перестал быть хозяином в своем доме. Так и человек. Впустив коллективное бессознательное на территорию сознания, он должен быть готов к тому, что рано или поздно (скорее рано, чем поздно) гость, нару-

* «Коллективное бессознательное» — термин крупнейшего швейцарского психоаналитика К. Г. Юнга, означающий архаические пласты человеческой психики.

шая все правила этикета, поведет себя как распоясавшийся оккупант. И сознание вынуждено будет потесниться, съезжиться. В конце концов оно окажется загнанным на периферию. А что если именно в этом кроется истинная разгадка распространения эбьюза — сдвига, который все-таки, сколько ни объясняй, сколько ни выстраивай причинно-следственные связи, остается уму непостижимым кошмаром?

Можно привести и другую аналогию. Не из сказки, а из жизни. Обычно человек ходит, не задумываясь о последовательности действий, автоматически. Ум его в это время свободен как для мыслей о хлебе насущном, так и для поэтического вдохновения. Но если из подошвы вылез гвоздь и впился в ступню, тут же появляется «гвоздь в голове»: как поставить ногу, как переместить центр тяжести, чтобы не наступить на больное место. Эти мысли становятся доминирующими. С поэтическим вдохновением уже, конечно, хуже. Ну а мысли попроще — что ж, они вполне возможны. Но уже в присутствии или даже под руководством «гвоздя». «В случае, когда ребенок стремится обниматься с терапевтом, забираться к нему на колени и т. д., следует проявлять осторожность и попытаться понять мотивы, руководящие ребенком... Терапевту захочется ответить ребенку тем же, но тут следует быть осторожным. Подвергался ли этот ребенок сексуальному насилию? — пишет Г. Л. Лэндрет в уже цитированной нами книге «Игротерапия: искусство отношений». — Может быть, ребенку объясняли, что если ты кого-то любишь или кто-то тебе нравится, то продемонстрировать это можно только в сексуальных проявлениях?.. Сексуальные посягательства достигли сейчас таких эпидемических (разрядка наша. — **И. М., Т. Ш.**) размеров и стали настолько эмоционально значимыми проблемами в нашем обществе, что больше уже нельзя дать никакой четкой рекомендации относительно реакции на поведение ребенка, кроме как быть очень осторожным».

Другие специалисты высказываются по данному вопросу гораздо более категорично и вносят в список ограничений следующий пункт: «Ребенку нельзя сидеть на коленях у терапевта».

Не правда ли, это уже какая-то другая реальность? В присутствии «гвоздя». Реальность, в которой запрещения мочиться на пол, открыто мастурбировать и сидеть с терапевту на колени — рядом, в одном списке. Особенно если вспомнить, что речь идет о детях с хрупкой психикой, а значит — с повышенной жадой ласки со стороны взрослых. Ну а чего стоит фраза о сексуальных посягательствах, которые достигли эпидемических размеров?!

— Да все они преувеличивают! — с раздражением воскликнул уже не воображаемый оппонент, а вполне реальный наш приятель, только что вернувшийся из поездки в Штаты. — Я разговаривал там со знакомой, она врач-педиатр. Неужели, спрашиваю, тут на самом деле так много этих эбьюзов? Что, все с ума посходили, что ли? И она мне все объяснила. Что ты, говорит, это вопрос чисто финансовый. Знаешь, тут сколько баб завяляют по этому поводу в суд на своих мужей, лишь бы содрать с них деньги? А заинтересованных много. Это ж кучу рабочих мест можно организовать! Считай, новое направление и в терапии, и в педагогике, и в юриспруденции... А вы, — сказал нам приятель, — наивно верите этим дутым цифрам, этой рекламной шумихе.

Даже если и так, даже если «все врут календари» и почтенные коллеги на международных научных конгрессах сообщают ложные цифры... Тогда уже неизвестно, что хуже. Муж-извращенец или жена, способная так оклеветать близкого человека? Отец-совратитель или мать, говорящая дочери: «Малышка, твоей маме сейчас очень нужны деньги. Я не хочу, чтобы лучшие годы нашей жизни прошли в этой дыре. А дом в приличном районе сама знаешь, сколько стоит. Нам не хватит даже на первый взнос». Ну а дальше объясняет, что надо сказать в суде про папу, чтобы с него в судебном порядке взыскали недостающие денюжки.

Как будет себя чувствовать девочка, если она на это согласится? Как сложатся в дальнейшем ее отношения с отцом? А во взрослом возрасте — с мужем? С собственными детьми? Что испытает за время следствия и суда отец? Пойдет ли он в тюрьму или, выложив кучу денег за несовершеннолетний эбьюз, все-таки наскребет (а ведь это тоже немалые средства!) на полугодовой курс психотерапии и вернется в семью? В улучшенные жилищные условия?

Честно говоря, в этом не хочется разбираться. Новая реальность, реальность «второго витка», настолько запороговая, что ее лучше и оставить за порогом сознания. Оторопь наших соотечественников, потрясенное «Не может быть!» — это и есть нормальная защитная реакция. Нас, к сожалению, уже просветили. Мы уже не можем защититься восклицанием: «Не может быть!» Знаем, что может. И бывает. И есть. Но мы тоже имеем право защитить свое сознание. И поэтому смеемся. Ведь существует такое понятие — «охранительный смех».

Не вживаясь в образы персонажей новой реальности, по соображениям психической безопасности не желая влезать в их шкуру, мы все же обратим внимание чи-

тателей на ту особенность, которая сразу, без дополнительного анализа, бросается в глаза. Это пресловутое одиночество, которому посвящено великое множество произведений западной литературы и искусства. Оно, одиночество, теперь тоже перешло на какой-то новый виток. Еще недавно частым мотивом было: нас двое, против нас — весь мир. Но мы выстоим! То есть в мире индивидуальной борьбы, в мире самостояния все же сохранялись малые очаги общности, единства. На уровне семьи.

Теперь — мы утверждаем это с уверенностью — картина принципиально изменилась. Когда табу, составляющее первооснову любой культуры, как бы расскречено, выведено из сферы коллективного бессознательного в сознание, человек уже отделен от другого человека, в том числе и от самого близкого, стенкой подзрительности, остороженности. Друг тебя обнял за плечи. А не голубой ли он? Гость, войдя в дом, поцеловал ребенка. Может, он педофил? Отец переносит на кровать заснувшую в кресле у телевизора десятилетнюю дочь. А у матери невольно мелькает мысль: не испытывает ли он в этот момент вожделения к девочке? И что самое обидное: у большинства в ноге «гвоздя» нет, а в голове уже засел.

Кто-то скажет, что все эти «марсианские хроники» для нас совершенно не актуальны. Если бы так... Но в последнее время мы все чаще слышим от родителей подобные тексты: «Мой сын так любит возиться с мальчишками! Борется, катается по полу. Скажите, у него нет скрытых гомосексуальных наклонностей?» (Иногда говорят «гомосексуалистических» — вероятно, по аналогии с социалистическими.) И это те самые родители, которые непритворно ужасаются, когда слышат о западной «проблеме номер один». Но ведь они точно так же ужасались и не верили, слыша, что в некоторых странах разрешены однополые браки. И это было совсем недавно.

«Проблема» у порога. И от того, откроет ли наше общество двери избушки-сознания или все же удержится от такого небезопасного гостеприимства, зависит... А впрочем, чтобы избежать обвинений в излишней патетике, лучше процитируем несколько строк из книги Ксении Касьяновой «О русском национальном характере»: «Репрессивные культуры очень сильно сопротивляются всякому изменению. Когда же наконец происходит сдвиг сознания, он касается ни много ни мало абсолютных точек отсчета. Тогда культурные скрепы распадаются вообще, изменение приобретает неконтролируемый, страшно разрушительный характер».

Особенно это актуально, если вспомнить, что сегодня на роль хозяев жизни, а следовательно, законодателей этических норм, претендуют люди, обладающие немалыми деньгами. А многим «новым русским» размышлять, раздумывать, мягко говоря, недосуг. Им трудно будет осознать, осмыслить содеянное. И кто с ними вступит в борьбу? Общественное мнение? Или мощные социальные институты? Или, как выражался Гоголь, «неподкупные головы Фемиды»?

Если же учесть русскую масштабность, страсть к размаху, то можете не сомневаться: отечественный эбюз затмит свой западный прототип. А вот с правовым государством выйдет, как всегда, заминка. В общем, будут и «временные трудности», и «все не так однозначно».

Между прочим, везде все не однозначно. Помните, мы обещали давным-давно, в первой части этого опуса, поговорить о финале фильма про бедняжку Амелию? Думаете, забыли? Нет, просто тоже к финалу припасли. Вот мы писали «одиночество», «самостояние»... Глупости все это! Учили нас умные люди, что человек — животное общественное? Так оно и есть! Новая реальность — новая общность. Иногда, ностальгически вздохнув, думаешь: «Куда все делось? Братство, оптимизм и солидарность... Где дружба народов? Неужели о ней нынче напоминает только безводный фонтан на ВДНХ?»

И вдруг — о чудо! — милые призраки оживают вновь на маленьком пространстве голубого экрана. Последние кадры «Амелии»... В нарядно убранный зал, как на фестиваль дружбы народов, прибывают супружеские пары. Белые и черные, китайцы, индейцы, индусы, латиноамериканцы. Кто-то в общеевропейском одеянии, а кто-то в национальном костюме. Пары входят рука об руку, рассаживаются и ослепительно улыбаются собраниям по эбюзу. Их объединяет общая цель, общее дело. Индивидуальная психотерапия позади. Впереди групповая. Теперь они вместе преодолеют последние преграды к счастью! Почему же, черт возьми, не звучит гимн? (См. заглавие.)



Литературная критика

Панорама

Состояние независимости

•
Евгений Шкловский. ЗАЛОЖНИКИ. Рассказы. М., РИК «Культура», 1996.

•

Сегодня, как, впрочем, и всегда, одна из проблем искусства — показать, что оно способно существовать, пренебрегая конъюнктурными переменами, невзирая на постоянно происходящий передел мест рядом с властью имущими, наперекор тем писателям, которые считают себя обманутыми жизнью: слишком мало посидели они у сытного корыта. Оказалось, что новой власти нужны не живописатели ее установок, как в советское время, и не «мудрые советчики», как в горбачевский и ранний ельцинский период, а простые развлекатели: шоумены и постмодернисты. Отсюда возникает тиражируемая растерянность, разочарованность, жалобы, что писателя «выталкивают в маргиналы»... Некоторые уверяют, что вынужденный зарабатывать на жизнь писатель потерял способность творить. Предлагают переждать время, когда снова литературный труд будет в цене. Очевидно, что никогда. Напомню, что убитый на дуэли Пушкин оставил после себя десятки тысяч долгу. Достоевский до конца жизни еле сводил концы с концами. А нищий Платонов!.. Бедствовавшая Ахматова!.. Можно подумать, что сидение в президиуме когда-либо способствовало творчеству. Очень по-рабски забывается, что *писатель — всегда был и есть маргинал*, иначе он не писатель, а Секретарь Союза. Именно поэтому в текстах пишущих ищешь сегодня (не меньше, чем вчера) прежде всего *состояния человеческой и творческой независимости*.

И когда находишь — это радует. Оказывается, можно писать, как будто дело художника остается самым главным делом, *независимо* от успеха, тиража, газетной шумихи. Есть художник и его модель — изображаемый им мир. Не все журналы с охотой берут такие тексты. Критики тем более не откликаются: это ведь не забытая чернуха про какого-нибудь про-

столюдина. Раньше мы любили образ благостный, теперь — хорьковский. Но все равно — про «настоящую жизнь». Мне же кажется, что настоящей жизнью и предметом искусства в не меньшей степени остаются блуждания ума и сердца. Вот об этом и пишет Евгений Шкловский. Пишет неспешным слогом, без особой интриги, будто уверен, что его и так прочтут. А не прочтут — так и ладно: читатель может и через несколько лет явиться. Давно было сказано: «И как нашел я друга в поколении, читателя найду в потомстве я».

Правда, среди выверенных, психологически точных текстов я натолкнулся на два или три очевидно неудачных, созданных, как кажется, на потребу бессмысленной актуальности. Скажем, многозначительно названный рассказ — «Страшный Суд» — трактует навязшую в зубах тему о том, как плохо с нашей экологией, как хороший человек решил было бороться за чистоту «окружающей среды» (чуть не написал «наших рядов»), но его перекупила Москва, высокое начальство, дав выгодную должность: он бросает свою борьбу и уезжает. Остается во всем разуверившийся юноша, который было воспылал и воспарил «на бой, на бой, в борьбу со тьмой». Похоже, что сборник составлен из текстов, писавшихся в разные годы. Со времени своей первой книжки «Испытания» (М., 1990; тоже рассказы, кстати) автор, безусловно, стал работать и глубже, и самобытнее, поэтому отбор должен бы быть строже. Хотя как упрекать писателя, мало публикующегося в периодике! Ему, как и всякому артисту, нужна оценка публики, обозначающая успех или неуспех в выборе и разработке носящихся перед ним тем.

И, к счастью, рядом с вторичными или проходными текстами (уже упоминавшийся «Страшный Суд», «Медовый месяц», «Добрые люди» или «Недуг») остальные рассказы представляют класс художественной подлинности, собственного взгляда и незаемного слова. Как говорили в старину критики, каждый настоящий писатель (не говорю сейчас о мере таланта — не нам судить) приходит в литературу со своей темой, со своей проблемой. С чем же пришел Евгений Шкловский?

Проблема вроде бы старинная, но с существенными обертонами. Как живут его

герои, описываемый им круг интеллигенции? Каждый хочет пуститься «в вольное плавание, будь такая возможность, вместо того, чтобы тащиться каждое утро в контору», завидует тем, кто обладает подобной решимостью. Но — все остаются на своих местах. Раньше подобные герои корили себя за нерешительность, за то, что не способны они стать землепроходцами, революционерами, совершать героические поступки. Эти понимают, что иначе они не могут, что тогда они станут другими. И повествователь (в рассказе «Состояние невесомости») замечает: «Ведь наша была жизнь, не чья-нибудь, наша, и она проходила — неслаась, как бешеный конь, шут его знает, как так получалось. Ну да, дети рождались, жены менялись, старики умирали — кто-нибудь звонил, просил помочь, приехать, еще что-нибудь... Господи, жизнь как жизнь, другой не видели, не знали, войны не было, к стенке не ставили — что еще?» В рассказах нет лобово поданной истории, но герои живут в *конкретном* историческом времени и ох как знают, что значит выпасть из житейской и социальной нормы, к каким катастрофам это приводит! И они существуют, как будто нет политики, идеологических страстей, борьбы группировок. Можно предположить, что они просто не хотят ощущать себя зависимыми от чужих концепций жизнеустройства.

Поколение опытом своих предков выстрадало нормальную жизнь без катаклизмов. Вместе с тем исторически для российского человека привычнее — без нормы. Поэтому тянет болезненное любопытство заглянуть: а что там, в пропасти? И находятся люди среди этого поколения, которые готовы взять на себя роль — нет, не первопроходцев: пропасти слишком известны жителям нашей обширной державы, — а так сказать, *проверяльщики*. А вдруг там *интересно* жить? И появляется этакий Л., которого «невозможно было звать в гости» (рассказ «В промежутке»). Где и как он живет — не очень ясно. Но он создает своим друзьям выход в романтику *щели, промежутка, подворотни*, когда холодно, дверь в подъезд забита, а негнушимися от холода пальцами друзья разливают в стаканчики за встречу. «Лирика, ностальгия, вот по чему только?» А вот по этому самому, по оставшейся в подсознании пропасти, в которую когда-то рухнула вся страна. По жизни без тепла и уюта, без библиотеки, семейного очага и бесед за чашкой чая. «Об Л. всем было известно. Про каждую такую встречу с ним вспоминали и рассказывали как о захватывающем романтическом приключении (куда забралась и о чем говорили). Заброшенный, готовящийся к слову дом, незаконченная стройка, бетонные блоки для канализации — все что угодно могло стать «нейтральной

территорией», временным пристанищем, местом приземления». Разумеется, подобный стиль жизни, как и у старой большевички из рассказа «Западня», может иметь только один исход — так называемую «преждевременную смерть». Так и случается. «Труп Л. был обнаружен только спустя две недели после смерти — на чердаке дома в Малом Харитоньевском переулке». Для героев Шкловского персонажи, подобные Л., — очевидные маргиналы. Сами они просто так своей жизнью кидаться не будут. Они не хотят быть заложниками чужих экспериментов.

Скажем, в одном из рассказов подруга героя пытается сделать его объектом своих «экстрасенсорных» наблюдений. И у того включается сразу механизм самозащиты. Он чувствует вдруг «отчетливо... свою твердую непреложную отдельность от Ники, непреодолимую границу между собой и ей, словно его заново вылепили, словно к нему вернулась его непроницаемость» («Заложники»).

Непроницаемая монада — почти по Лейбницу. Таковы эти люди. Хорошо это или плохо?

Интересно, что формируется этот тип людей выходцами из разных социальных слоев и кругов. Даже дети бывших функционеров входят в ареал внимания писателя, когда он видит их душевную незащищенность, слабость, способность к сопереживанию и состраданию, если замечает у них незаемное собственное чувство (рассказ «Прощание»). С самого детства они ощущают свою невстроенность в «дворовый мир», пытаются в нем укорениться, но надолго не выходит. Тогда начинают искать себе подобных, а оставленные бывшие друзья пакостят по возможности (рассказ «Свой»). Конечно, натуры это не сильные. И любой сильный человек мнет их, как пластилин. Нет, сначала кажется, что не по сути. Просто следуют, например, персонажи рассказа «Холодные руки» за приехавшим на несколько дней из Америки эмигрантом, их бывшим одноклассником Силиным (обратите внимание на говорящую фамилию), и рады подчиниться его внешней напористости, умению все сделать и достать, то есть тому, на что сами они не способны. А ведь он когда-то был одним из них. Кстати, только поэтому и получил доступ в этот круг, инстинктивно оберегающий себя от чужих. Но Силин уже стал *другим*. И кончается рассказ сценой мимоходного соблазнения жены друга: просто в этот момент Силину *так захотелось*.

Вообще человек, уехавший *туда*, — более сложная и тревожная для героев Шкловского проблема, чем привычные чужие *наши*. Поясню: наиболее близкие писателю персонажи настолько ощущают свою неукорененность, что каждый уезжавший сужал круг до катастрофической

непоправимости. Все свое свободное время проводили они «в какой-нибудь набитой людьми маленькой квартирке, полной сизоватого табачного дыма, где читались стихи разных непризнанных поэтов, где всякие подпольные философы излагали свои фантастические супергениальные идеи и рассуждали о конечности российской истории, а прозаики соперничали с Прустом и Кафкой (куда тем!), где воздух призывали разряды религиозных открытий и где о чем только не говорилось, без страха посторонних ушей или пусть даже со страхом, в том числе, конечно, и об эмиграции, о том, что надо уезжать (или не надо), что у этой страны нет будущего, не органы, так народ, этот долготерпеливый, загадочный народ, наконец не выдержит и возьмется за топор, и быть тогда (не приведи Господь!) бессмысленному и беспощадному...» (рассказ «Последние»). Люди нового поколения входят в этот мир иначе. Народа они не боятся, скорее презирают его. Как когда-то большевики. Они прагматичны и бесцеремонны. Зато входят во власть («Простой человек Василий»). Кстати, поначалу термин «новые русские» возник в двадцатые годы и относился к «активно функционирующим» большевикам в «кожаных куртках».

Описываемые Шкловским персонажи, ненужные истеблишменту (административному и культурному), поставлены перед жестокой необходимостью отъезда: «Мы все были как обреченные». Но как быть, если не могут они избавиться «от странной привязанности» к «куску пространства»? И понятно им, что, уехав, они станут *другими*. За невовлеченность в дела мира сего, за независимость платить приходится очень большую цену — чувством мировой оставленности, заброшенности, одиночества. Плата кажется непомерной, но без нее чувство независимости недостижимо.

В. КАНТОР

Гольдштейн и прочие

●
Олег Юрьев. ФРАНКФУРТСКИЙ БЫК. Шестиугольная книга. Издательство бр. Захариади, Санкт-Петербург — Москва — Афины, 1996.

●
«Внезапно прорезался Гольдштейн, который четыре месяца не давал о себе

знать: неподъемно писал роман о жизни сзуду наперед — затея, по суждению Гольдштейна, глупая и достойная братьев Стругацких...» — так двойник, рассуждая о двойнике, изначально перечеркивает нечто принципиально важное для самого себя (впрочем, поди разберись в тождестве и различии), так пишет Олег Юрьев, не роман в опровержение Гольдштейна, а рассказ, посему о братьях Стругацких речи нет. Речь о книге Юрьева, называющейся «Франкфуртский бык», а подзаголовок ей — «Шестиугольная книга», три угла, значит, смотрят скорее вниз, три — скорее вверх, как бы найти и то и другое. Издательство братьев Захариади начало ею свою деятельность — пожелаем им успеха.

Бытование иудейского мира, окруженного и пронизанного миром иным, когда христианским, когда языческим, — тема давняя, от Бруно Шульца до Фридриха Горенштейна или от Густава Майринка до Бориса Хазанова преобразившаяся не раз и не два и у Юрьева в книжке — главная (сказал бы — единственная, но что-то мешает; потом поищем, что именно). И в этом отношении, безусловно, рассказы, не населенные Гольдштейном и двойниками, более показательны. «Игра в скорлупку» — недаром замыкающий текст — демонстрирует давно не выданное — *reg astra ad astra* — даром что на узкоконфессиональном материале, в несуществующем мире, где Германия одолела-таки в войне Советский Союз, но спустя годы неизбежно размягчается былой дух воинственности и ангел предчувствует возрождение избранного народа, а впрочем, и убивает последних в Праге евреев и еврейку, демонстрируемых как музейные экспонаты — «*мужская особь*» и «*женская особь*»: «...Нет у меня больше сил — просто вскрою их разом обоих...» (простите великодушно за спонтанный пересказ, не хотел ведь делать ничего подобного).

Вот еще чудесная черта в юрьевской прозе — говорение, нет, лучше — умение сказать о таких вещах, какие, будь они преподнесены чуть более прямолинейно (прямолинейность — не синоним открытости!), превратились бы в лучшем случае в публицистическое сочинение на рискованную тему (лишь бы только не разжечь национальную рознь или что там еще), в худшем... Не будем, однако, о том, как можно было бы испортить хорошую вещь. Вопрос в том, что делает яркий текст — ярким, многомерным — много-

мерным; тут-то перед нами опять появляется Гольдштейн. «Первые месяцы Гольдштейн студнем дрожал и сиднем сидел в черном жестком кресле у самого западного окна», пропустив мимо ушей мимолетный отсыл к поминавшемуся уже Майринку, посмотрим на самого героя, коли не унизит его столь громкое наименование, принятое в нескромном литературоведческом обиходе, а еще лучше на «его длинные босые ступни, похожие на костяные коньки» — и выше, выше, скользя взглядом по всему Гольдштейнову туловищу, сидящему или полулежащему, — до самых век, до глазных яблок под ними. Все детали человека в наших руках, но поди составь его целиком, так, чтобы, познав тело, познать и душу! Гольдштейн не сдается, не желает показаться полностью, соединенным и целостным. Он внеличностен — и надличностен. Ему даны возможности перетекать из возраста в возраст («Хорошая жизнь Гольдштейна»), из человека в отражение («Гольдштейн невидимый»); лишь в рассказе «Гольдштейново детство» он относительно устойчив, но и эта устойчивость обманчива.

Гольдштейн — да и почти всякий персонаж прозы Юрьева — неуловим, потому что существует в первую очередь в частности, а не вообще. Если он действует, то действует эпизодически, а если он действует непрерывно, то он не действует вообще, а наблюдает — соглядатайствует. Вот бык из рассказа, по которому названа книжка, — в каком эпосе его поселил бы иной! У Юрьева же не эпос — странствие наблюдателя, активного, но исход активности его предопределен. Повествование в будущем времени дает почувствовать это с особой силой: «Пуля, вертеться, вылетит из дула и пробьет мне лоб — по самой середине, чуть выше глаз...» Всякая жертва — а здесь, в этой книге, живут одни жертвы — не столь пассивна, сколь склонна к наблюдению. Наблюдатель не пассивен по определению, ибо видеть мир — значит творить его. Но видишь всегда мелочи, поэтому мир творится из мелочей. Если мелочей очень много, из них получается вселенная.

«Нет забвения и никогда не будет...» — пишет Юрьев в своих стихах (взяты из «Камеры хранения», вып. 4-й). Верно: забвение в подобном мире невозможно физически. Забвение — это обобщение, это жертвование частным во имя общего, общим — во имя более общего... Есть, быть может, два подхода к жизнестроительству (и к писательству): либо державинский пафос постепенного разъедания бытия бытием, идея постепенного самоубийства всего сущего — «Река времен в

своем стремлении...» и т. п. (сами знаете), либо юрьевская мысль (не только его, но и его), что раз нет всеобщего — нет и гибели чего-то одного, ибо, если нет образца смерти, нет и смерти — есть лишь дискретные приключения маленьких существ. «Давай, пожалуйста, времени уже нет» («Качели»). Действительно, нет.

Данила ДАВЫДОВ

Знакомый незнакомец

●
Ирина Паперно. СЕМИОТИКА ПОВЕДЕНИЯ: НИКОЛАЙ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ — ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ РЕАЛИЗМА. М., «Новое литературное обозрение», 1996.

●
Книга Ирины Паперно — выпускницы Тартуского университета, ныне профессора университета Беркли (Калифорния) — дополненный и переработанный вариант издания на английском языке, вышедшего в свет в 1988 году. Филологам-русистам было и раньше известно это исследование. (Впрочем, официозные ученые идеологи, посвятившие всю свою энергию возвеличиванию Чернышевского — предтечи социалистического реализма, книгу Ирины Паперно предпочли не заметить.) Эта книга будет интересна не только литературоведам, но, может быть, прежде всего читателям, готовым к размышлениям о судьбах русской словесности и культуры прошлого столетия, стремящимся понять Чернышевского как выразителя и отчасти создателя настроений и идей эпохи шестидесятых годов девятнадцатого века.

Чернышевский в изображении Ирины Паперно — не только писатель (далеко не блистательный, замечает Ирина Паперно о своем герое) и идеолог (малооригинальный, часто повторяющий мысли французских христианских социалистов). Ирина Паперно пытается постичь его личность в единстве индивидуальной психологии, идеологических императивов и литературного творчества. Книга о Чернышевском — ответ на задаваемый ис-

следовательницей вопрос: как плодотворный и деятельный, но лишенный высокого дара литератор смог стать властителем дум поколения 1860-х годов, культовой, мифологизированной фигурой? Почему он оказался человеком, которому приписывали исключительное влияние на политическую ситуацию и общественную атмосферу в стране не только его почитатели и приверженцы, но и заклятые враги?

Ключом к разгадке тайны становится семиотический подход. Семиотика — наука о знаковых системах, в частности, о языках культуры. В работах российских семиотиков (прежде всего Ю. М. Лотмана, на которого много раз ссылается Ирина Паперно) и литературные тексты, и бытовое поведение людей одного поколения или эпохи представлены как система знаков, способ передачи закодированного смысла. Так, Ю. М. Лотман показал, что декабристов роднили не только идейные представления, система ценностей, но и система правил поведения, диктующая поступки, которые отличали их от окружающих. Ирина Паперно делает еще один шаг. Она стремится выявить знаковую, особенный язык поступков в жизни одного человека — Николая Гавриловича Чернышевского. Она прослеживает, как социальные обстоятельства, индивидуальный характер, социальные, психические, сексуальные комплексы Чернышевского преломляются в создаваемом им языке новой интеллигентской культуры; как переживания, зафиксированные в дневниках и письмах Чернышевского, становятся основой создаваемых им романов, приобретая надличностный смысл, формируя образец для подражания и тиражирования. Ученый, поставивший перед собой такую цель, должен быть одновременно и филологом, и историком общественной мысли, и социологом, и психоаналитиком. И при этом избежать опасности «растворить» литературные тексты своего «подопечного» в его биографии или эмоциях, подменить анализ произведения рассуждениями об идеях и чувствах его автора. Иными словами, вместо ключа воспользоваться отмычкой, которая на самом деле ничего не отмыкает.

Ирина Паперно счастливо преодолевает неизбежные на ее пути угрозы и соблазны. Социальное «изгойство», «неприкаянность», неразвитость эмоциональной сферы, рационалистический и энциклопедический склад ума, неуверенность и робость, испытываемые перед женщиной, боязнь ее измены и мечта о гармонически-идеальном браке, в котором «третий» никогда не окажется лишним, — все эти

черты личности Чернышевского изображены Ириной Паперно как импульсы, диктовавшие автору романа «Что делать?» стиль и модели поведения, воплотившиеся — неполно и порой превратно — в его жизни и отчетливо — в его сочинениях. Разрешение конфликтов социальной жизни, противоречий сознания и культуры — исходный посыл, первоисток всей деятельности Чернышевского. Воплощением разрешенных противоречий стал роман «Что делать?». «Как произведение искусства, роман являет собой модель реальности. Мир организуется в терминах оппозиций двух контрастирующих признаков, понятий или лиц — таких оппозиций, которым присущи неограниченные возможности трансформации одного признака, понятия или лица в другое. В этом смысле можно сказать, что роман построен как миф. Общая концепция мира, проецируемая романом, такова: реальность состоит из элементов, которые, в каждой ее точке, могут трансформироваться в нечто другое. Таким образом, фундаментальным принципом, выдвинутым романом, является трансформация (будь то переустройство, превращения или революция) того или иного свойства или формы бытия. <...> Созданная Чернышевским структура обладает потенциальной способностью проецироваться на различные жизненные ситуации. Роман изобилует конкретными деталями обыденной жизни, опознаваемыми читателями-современниками. Воспринятая сквозь литературу, обыденная жизнь осознается как символически нагруженная и универсально значимая, в, казалось бы, тривиальном выявляется телеологический порядок вещей».

Роман «Что делать?» и арест, гражданская казнь (ассоциировавшаяся в сознании современников с распятием Христа) и сибирская ссылка создают символический образ Чернышевского — учителя жизни, доживший до наших времен в виде (недавно) официальной и официозной легенды.

Порой Ирина Паперно слишком настойчива в стремлении объяснить едва ли не все детали биографии Чернышевского установкой на сознательное создание нового типа поведения. Наблюдения молодого Чернышевского над собственными «странными» чувствами, меркантильные и холодно-рациональные описания в дневниках увиденного и испытанного прямого отношения к выбору «стратегии поведения», кажется, не имеют. Не прояснено брошенное вскользь суждение о неправомерности определения его идеологии как атеистической. Натянута и несколько

курьезно сближение символа нигилизма — «распластанной лягушки» — с распятием Христа. Тексты Чернышевского свидетельствуют, что он не только создавал модель «брака втроем», но и порой пытался представить иной вариант гармонических отношений мужчины и женщины, чрезвычайно болезненно ощущая угрозу женской измены. Но это частности.

Книга Ирины Паперно читается и как литературоведческое исследование, и как «интеллектуальный детектив», и как насыщенная фактами биография автора «Что делать?», и как портрет эпохи. Читатель вместе с автором проходит весь путь постижения личности Чернышевского: мнения исследователя не навязываются, а естественно рождаются из свидетельств дневников и писем Чернышевского и его современников.

Андрей РАНЧИН

Маленький человек из Мекленбурга

●
Филипп Ванденберг. ЗОЛОТО ШЛИМАНА. Пер. с нем. Смоленск, «Русич», 1996.

●
*Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
 Я список кораблей прочел до середины...
 О. Мандельштам*

Жизнеописание... Чертовски трудно творить его, если равнодушная река времени донесла лишь скомканные клочки жалких сведений о герое. Но куда труднее рассказывать о человеке, который «любезно помог» своим будущим историкам, оставив после себя «60 тысяч писем (некоторые утверждают, что 80 тысяч), 18 дневников, 10 книг, среди которых одна автобиографическая, и бесчисленное множество статей в немецких, английских, американских, французских, итальянских и греческих газетах». Дабы узреть собственно героя за этими бумажными монбланами, автору нужно иметь не столько скрупулезность архивного букведа, сколько пронырливую дотошность детектива-энтузиаста, способного отли-

чать истину от фальши, презирать своего героя и одновременно восхищаться им, удивляться ему, заражая удивлением читателя.

Потому что не удивляться Шлиману невозможно.

Сын спившегося мекленбургского пастора отнюдь не с детства грезил мечтой о сокровищах легендарного Илиона: идея разыскать Трою пришла в голову не полуголодному юноше Шлиману, но Шлиману-миллионеру, достигшему пика стремительной карьеры удачливого коммерсанта. В этом человеке на редкость причудливо переплелись тщеславный гений Наполеона, целеустремленная расчетливость графа Монте-Кристо и работоспособность десятка паровозных котлов; движимые «комплексом маленького человека» (рост его едва превышал полтора метра), эти качества сделали Генриха Шлимана одной из интереснейших личностей XIX века.

Несмотря на то, что о нем писали целые поколения биографов, его судьбе без малого сотню лет суждено было оставаться в глазах потомков не более чем стереотипной легендой о купце-энтузиасте, открывшем гомеровскую Трою. И начало этой традиции положил не кто иной, как он сам, тщательно отредактировавший собственную биографию. Ну, кому еще придет в голову, рассказывая о приезде в Америку, запросто присочинить эпизод встречи с президентом США и его семьей и впоследствии «выдавать эти сказки за правду»! Даже личные переживания, связанные с грандиозным пожаром в Сан-Франциско, были заимствованы Шлиманом из газетных публикаций месячной давности. Иных это возмущает, иных смешит, Ванденбергу же «совершенно ясно, что Шлиман был грандиозным актером. Его потребность подчеркивать собственную значимость переходила все границы. И он, маленький человек из Мекленбурга, всю свою жизнь искал великие имена и значительные события, которыми украшал себя и на фоне которых мог встать во весь рост».

Мраморные пьесталы притягивали его, завораживали, но, быть может, именно непомерное тщеславие и породило благотворный энтузиазм, который в конце концов явил изумленному миру легендарные «сокровища Приама». Ванденберг беспощаден к своему герою, но его беспощадность справедлива: обнаружив очередную ложь, автор тотчас стремится по возможности объективнее разъяснить ее причины. Но в одном Ванденберг категоричен: «Мнение, что Шлиман с юношеских лет носился с мыслью раскопать Трою, лишено всяких оснований». В кни-

ге тому приводится множество доказательств — как, например, то, что Шлиман, изучив с легкостью десяток языков, лишь в 1856 году обратился к греческому, а затем к древнегреческому...

Трудно сказать, кто был более велик в Шлимане: коммерсант, романтик, археолог-любитель или авантюрист. Ясно лишь, что крутой поворот от жизни миллионера к жизни охотника за знаниями произошел никак не раньше времен Крымской войны. Шлиман, подобно бунинскому господину из Сан-Франциско, тогда еще не жил, но лишь начинал жить. Он так и не получил полного классического образования, однако невероятная тяга к знаниям, помноженная на феноменальную память, однажды взяла верх над всем остальным, усадив сорокачетырехлетнего миллионера сначала на студенческую скамью в Сорбонне, затем, сподобив на авантюру с покупкой докторской степени, в Ростокском университете и в итоге подняв на вершину холма Гиссарлык в Малой Азии.

«Деньги, которые в первой половине жизни значили для Шлимана много, если не все, теперь постепенно теряли свое значение. Да, он мог быть доволен достигнутым, но недостаток образования ощущался все острее, и Шлиман, и без того закомплексованный, болезненно осознавал это», — комментирует автор. Блажь ли это, комплекс или благородный порыв беспокойного сердца — в любом случае столь высокая требовательность к себе заслуживает искреннего уважения. И как знать, подумает живущий в меркантильную эпоху читатель, открыл бы Шлиман свою Трою, если б видел смысл существования исключительно в стремлении стать «Вторым Ротшильдом»...

Книга «Золото Шлимана» в чем-то сродни советской перестроечной публицистике: она решительно ликвидирует «белые пятна», разоблачает, сыплет новыми фактами, ломает ложные стереотипы и т. д. Но главное в ней не это. Еще в 1984 году Ванденберг «поразился тому, что Шлиман в действительности был совсем другим, непохожим на того, чей образ хотели навязать» авторы, которые «взяли за основу своих произведений и признали неоспоримыми как составленные самим Шлиманом собственные жизнеописания, так и ту биографию, что в двадцатые годы вышла из-под пера немецкого писателя Эмиля Людвига по поручению вдовы Шлимана, Софьи». Однако даже то, что Ванденберг убедительно доказывает вымышленность целых этапов жизни Шлимана, отнюдь не делает личность последнего менее привлекательной и, если хотите, симпатичной. Наоборот: Генрих Шли-

ман оказывается фигурой столь яркой и насыщенной, что уже только это превращает историко-биографическое исследование в почти художественное произведение — законченное и захватывающее, в духе лучших романов Жюль Верна.

Такому восприятию способствуют и особенности авторского стиля, и композиционная структура книги, действие которой открывается маем 1945 года — важной датой в судьбе добытых Шлиманом сокровищ: после взятия Берлина советскими войсками они исчезли почти на полвека, чтобы лишь в 1994 году вновь «возникнуть» в Москве, в запасниках Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина...

Отношение Ванденберга к своему герою однозначным назвать трудно. Он то отечески строг к нему, то дружески фамильярен, то снисходительно насмешлив, отчего книга, несмотря на массу документальных источников и серьезность темы, читается легко и с удовольствием. Сам автор говорит так: «Мои чувства к этому человеку колеблются от высочайшего восхищения до глубочайшего презрения. Но именно из таких противоречий и рождаются книги».

Валерий ВОЛКОВ

Вот другая история

ПОДЛИННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ВЫМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ. Валерий Хазин. РАССКАЗЫ. ЗАПИСКИ КОМЕДИОГРАФА. Кирилл Кобрин. АРТУЛЬСКИЕ ХРОНИКИ. Нижний Новгород, «Деком», 1995.

В справедливости утверждения: удачно выбранное название является ключом ко всей вещи в целом — убеждаешься с первых же страниц. Временами чувствуешь острое желание пойти на поводу у лукавого автора, поверив в то, что белое есть черное, и соответственно наоборот, но, увы, внезапно обнаруживается, что при определенном ракурсе предметы способны с легкостью изменять свои цвета, размеры и форму. Пресловутые границы между окружающей реальностью и лите-

ратурным вымыслом раздвигаются настолько, что даже весьма искушенному читателю нелегко с абсолютной уверенностью сказать, какой из этих миров воистину настоящий — тот ли, который мы ежесекундно можем лицезреть, едва лишь поднимем взор от книги, или те, что созданы прихотливым воображением авторов, но, несмотря на это, представляются ничуть не менее (а иногда даже более) видимыми-знаемыми-осязаемыми, нежели так называемая действительность.

Особо примечательны в этом смысле рассуждения героя рассказа «Рэндзю», принадлежащего перу В. Хазина: «Вообще замечено, что мы гораздо охотнее идентифицируем себя с каким-нибудь литературным героем, чем с кем-либо из своих знакомых, как будто гораздо почетнее иметь сходство с неким символом, нежели походить на живого человека, тем более — на самого себя... Не происходит ли это от заурядного страха перед реальностью? И не здесь ли коренится неодолимое стремление к чтению и сочинительству романов?»

Вот оно: «заурядный страх перед реальностью». Да, возможно, именно благодаря ему Лисс, Зурбаган, Средиземье, Тлён, Артулия приобрели свою чарующую притягательность, и нет нужды в том, что они, в сущности, все же являются отражениями того самого поднадоевшего изрядно «настоящего» мира. Но страх перед реальностью не та паническая боязнь быть заверченным в воронке житейских трудностей и неурядиц, что проистекает, как любовь когда-то говорить, от нехватки жизненного опыта; скорее это неудержимая тоска по событийности, стремление не то что избежать — напроочь отказаться от рутинности, неизбежного повторения привычных и этой привычностью набивших оскомину действий, вроде унылого просмотра рекламных роликов по ТВ (вы прошли тест на улыбку «Пепсодент»?).

Жажда событий непреодолима, хотя и губельна; делая первые несмелые шаги по весьма твердой земле «вымышленных территорий», с недоумением замечаешь, что, во-первых, лучший способ поладить со столь нелюбимой реальностью — это смириться с ней, иначе обидчивый Фатум отомстит тебе, как отомстил он Джелио, герою одноименного рассказа Кирилла Кобрин; и, во-вторых, миром правит цикличность, история повторяется больше чем дважды, и не только как фарс...

Оба этих положения весьма ярко, со впечатляющей убедительностью доказываются в кобринских «Артульских хрониках» — более чем тысячелетнем своде летописей загадочного государства Артулия, находящегося, судя по всему, где-то

на северо-западе Европы... О, разумеется, нет смысла искать прямых и даже косвенных аналогий; столь же безнадежно проводить всевозможные историко-географические (агиографические — тем паче) параллели. Гораздо больший интерес представляют собственно действующие лица, нежели окружающие их реалии, которые, по существу, есть всего лишь декорации. Сценическая терминология не случайна, поскольку персонажи «Артульских хроник» (как и подобает, это особы высокопоставленные, артульские летописи чем-то сродни норвежским «королевским сагам»)... так вот, возникает странное чувство, будто герои «Хроник» существуют сразу в двух ипостасях, являясь каждый одновременно исполнителем некоего причудливого церемониала, последовательность действий которого диктуется им на ушко (не важно кем, возможно, Судьбой), а, кроме того, еще и зрителем, наблюдающим более или менее затянувшуюся пьесу кукольного театра, — с самим собой в качестве марионетки. Наряду со зрительскими они сочетаются в себе и вполне определенные режиссерские, лучше сказать, надзирательские качества: как только «марионеточная» половина «эго» героя, забывшись, пытается вдруг привнести в действие черточки стихийной индивидуальности, его вторая часть, играя роль «перста наказующего», мгновенно выбирает для себя ту или иную кару.

Зловещая природа двойственности: в каждом из нас находятся сразу и доктор Джекил, и мистер Хайд; в каждом докторе Джекиле, в свою очередь, — еще один Джекил и, что еще более впечатляюще, еще один Хайд... и так чуть ли не до бесконечности. Этакий «Дом, Который Построил Джекил».

История, повторяющаяся вновь и вновь, дробится во множестве зеркал, и некоторые из них к тому же кривые. Возникающее в конце концов отражение порою напоминает зрелище, представшее глазам злосчастного узника «зеркального ада» Эдогавы Рампо. Восстановление первоначального «чистого образа» — задача чрезвычайно трудоемкая. При этом никогда неизвестно, когда будет сорвана последняя (она же первая) маска, да и не окажется ли то, что выглядит как бесстрастная алебастровая личина, подлинным лицом?..

Именно эта заключительная непредсказуемость — главная особенность рассказов, собранных в книге. Повествование, рвущееся к единственно, казалось бы, возможному ожидаемому концу, внезапно замедляется на долю секунды, чтобы тут же возобновиться опять, но за эту долю секунды читателя посещает сомне-

ние в неизбежности, не-вариативности предугаданного, кажется, финала. При всем при том коль историй, как все помнят, существует только четыре, то и концовок соответственно столько же. А именно: 1. Все действующие лица жестоко наказываются. 2. Все действующие лица поощряются и награждаются. 3. Зло покарано, Добродетель торжествует. 4. Зло ликует, Добродетель в слезах удаляется в изгнание.

Самые запутанные сюжетные коллизии в итоге ведут к одному из вышеперечисленных вариантов. Однако, досочинив конец новеллы по своему вкусу, вдруг начинаешь чувствовать себя то ли Розенкранцем, то ли Гильденстерном, якобы выполняющими важную миссию, а на деле являющимися ширмой, за которой вершатся простые, но великие дела. Ибо в конце концов оказывается, что свобода выбора — очередная фикция, будто бы произвольно выбранная развязка на деле являлась единственно возможной и подходящей для данной истории концовкой и автор-шутник давно это предусмотрел. Остроумный ход, вполне достойный Борхеса.

Но, кстати, невзирая на нескрываемую подверженность влиянию третьего «великого слепца», трудно обвинить В. Хазина и К. Кобрину в откровенной вторичности либо излишней «литературности». Авторские медитации на тему неограниченной вариативности событий и предметных явлений породили новый захватывающий и странный жанр (уже не «борхес» в чистом виде, как обозначил его в послесловии Алексей Пурин). Жанр, которому в равной степени присущи отстраненность от происходящего — поскольку речь ведется от лица Библиотекаря, или Хрониста, не являвшегося непосредственным очевидцем и участником описываемых событий, — а также изящно построенная интеллектуальная игра с читателем в духе Умберто Эко плюс динамичность повествования, пожалуй, даже кинематографичность — не случайно ведь «Love's Labour's Lost» В. Хазина имеет подзаголовок «Конспект киноромана», а одна из новелл К. Кобрина, «Джелио», определена как «киносценарий для чтения»...

Итак, читатель облегченно уверился в справедливости собственных предчувствий и подозрений, наивно полагая, что отныне смутные очертания городов, раскинувшихся на «вымысленных территориях», будут столь же отчетливо явлены его взору. Но не тут-то было: вся эта картина вмиг мутнеет, заволакивается дымкой, с необыкновенной быстротой отдаляясь,

так что уже и не разобрать под конец: был ли это навязчивый морок?.. Обман зрения?.. Обычный сон?.. Или перемещение, погружение в этот удивительный мир, столь мгновенное и неосязаемое, что и не успеваешь его осознать?

Впрочем, о читатель, никто лучше тебя самого не знает: а так ли важно для тебя непременно получить ответ на свой вопрос?

Наталья КОРНИЛОВА

Верлен сегодня

Поль Верлен. ИЗБРАННОЕ. Перевод с французского, предисловие и примечания Георгия Шенгели. Составление и послесловие Вадима Перельмутера. М., «Московский рабочий», 1996.

На суперобложке, в изящной рамке — силуэт мужчины в цилиндре и с дымящейся сигарой в руке. Над ним — скромно и с достоинством — Избранное и выше — Поль Верлен. Кто из ценителей поэзии устоит перед такой книгой? Перелистывая ее, с возрастающим удовольствием отмечаешь качество бумаги и шрифта, богатый иллюстративный ряд, завершающийся броским автопортретом переводчика, чье имя только последние лет семь как «вернулось» в литературу. Становится понятно: это книга, составленная и оформленная не просто на высоком профессиональном уровне, но и с истинной любовью.

Каждый находит то, что ищет. Вадим Перельмутер, работая в архиве Г. А. Шенгели, обнаружил папку с машинописью готовой книги переводов Поля Верлена. В поэтическом наследии Шенгели, оригинальном и переводном, Верлен был «засекречен», и неожиданная находка побудила Перельмутера произвести почти детективное расследование; исследователь опирается на факты безусловные, отчего его версия — почему Шенгели хотел издать Верлена сразу после окончания войны — выглядит убедительно. Поверив, что после тоста «За великий русский народ!» товарищ Сталин даст много-

страдальному народу некоторую долю духовной свободы, Шенгели решает выпустить книгу лирики Верлена, «реабилитируя» тем самым и жанр лирики, и первых переводчиков Верлена, поэтов-символистов. Увы! В августе 1946 года вышло Постановление ЦК ВКП (б) по литературе, жертвами которого стали Ахматова и Зощенко, а между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции пал «железный занавес». О Верлене нечего было и думать...

Прошло полвека. Дополнив шенгелиевского Верлена переводами русских поэтов серебряного века (раздел — Приложение), Перельмутер успел выпустить в свет книгу в *год столетия* со дня смерти гениального французского лирика. Факт важный. «Избранное» являет собой целый этап существования Верлена в русской поэзии.

Бытует мнение, что Верлен «непереводим»: говорят, красота его поэзии таится в самой стихии французского языка, который по структуре весьма отличен от русского. Однако действительно ли непереводим? Достаточно назвать имена первых переводчиков Верлена: Иннокентий Анненский, Федор Сологуб, Валерий Брюсов. Неужели такие мастера, будучи младшими его современниками, не почувствовали души «бедного Лелиана»? Читаешь их переводы и понимаешь: это настоящее, это высокая поэзия.

«Гениальность Верлена в том, что ему было дано увидеть и ощутить мир совершенно по-своему,— пишет Шенгели во вступительной статье,— но так, как стали видеть и ощущать его последующие поколения поэтов, вплоть до наших дней... Верлен утвердил правомочность смутного и нерасчлененного, полифонического и полихромического восприятия мира, сделал мгновенное переживание поэтическим объектом. Это оказалось мощным освобождающим фактором в сфере внутренней жизни человека. Пусть поэтические «дети» и «внуки» Верлена переживали не то, что переживал он, но переживали они приблизительно *так*, как он».

Шенгели точен в формулировке, говоря о «правомочности смутного», о полифонии, о «мгновенном переживании» поэтов, в том числе, понимай, и русских, начиная от поэта-предтечи символизма и акмеизма Иннокентия Анненского. И сам Шенгели не случайно включил перевод «Чувствительного объяснения» в первую свою книжку «поэз» (памятка краткого его пребывания в эгофутуризме) «Розы с кладбища» (Керчь, 1914). Позднее, в начале 30-х, в поэме «Пиротехник» Шенгели дает выразительный образ Верлена:

Из угла подымается сгорбленный, сумрачный, дикий —
Локти прорваны, лацкан засален — лохматый старик,
К волосатой ноздре прижимает букетик гвоздики
И дрожащей рукою застегивает воротник;

Под огромным челом два огромные темные глаза,
Точно камер-обскуры, где все, обратившись вверх дном,
Превратится в тончайшую — в скиниях синего газа —
Самоцветную роспись под матовым белым стеклом.

Таким был поэт в последние свои годы, когда в сердце все чаще, все горше звучало: «Скажи, скажи, что сделал ты с юностью бедной?» А в литературной среде Парижа его называли уже гениальным.

В жизни каждого художника есть обстоятельства и факты биографии, повлиявшие на его творчество. Для Верлена это была встреча с Артюром Рембо. Он «вышиб» Верлена из привычной атмосферы, увлек его за собой, способствовал «второму рождению» его как поэта и обрек на страдания и тюрьму.

Известно также, что Верлен служил в Парижской мэрии во времена Коммуны. Однако представлять поэта как сознательного коммунара было бы преувеличением. Оружия в руки он не взял. Писал сочувственные стихи о коммунарах, но не они принесли ему славу.

Эволюционируя в творчестве от поэтики группы «Парнас» (Теофиль Готье, Леконт де Лиль, Теодор де Банвиль, Эредиа), где во главу угла ставилось зрительное, пластическое изображение мира, испытав влияние проклятого Бодлера, Верлен выработал свою программу. Она изложена в стихотворении «Поэтическое искусство»:

Лишь музыку ищи и лови!
Сделай стих летучей игрою,
Чтоб чувствовалось: он послан душою
В иное небо, к иной любви.

Пусть в утренний бриз, коль небо хмуро,
Он предсказаниями веет, пьян,
Вдыхая с ним мяту и тимьян...
А прочее все — литература.

Итак: не живопись словом, а музыка в слове. Всякие социальные веяния, всякое «содержание» из стихов улетучивалось. Одна из книг Верлена не случайно называлась «Романсы без слов». В ней запечатлены шорох листья под налетом легкого ветра, нежный шум дождя по камням мостовой и по крыше, растворяющийся зимний пейзаж в смутном мерцании снега, мучительное созерцание алых роз, грозящих разлукой... Разумеется, некие внешние очертания мира в стихах Верлена оставались не размыты. Но они служили часто лишь фоном, на котором звучит то нежно-печальная, то саркастичная и резкая музыка настроения.

Переключка с Верленом есть и в русской поэзии. Вспомним: параллельно ему создавал свои музыкальные стихотворения Афанасий Фет. «Боль невесты о чем, что вечно в сердце ноет» томила и Анненского. Наконец, Георгий Иванов в книге «Отплытие на остров Цитеру», как и Вер-

лен, скрыто спорил с галантной картиной Ватто в мелодичных и горьких как полынь стихах.

Надо отдать должное Шенгели, его «Избранное» Верлена исполнено не только мастерски, но и с объективной широтой: включены стихи из восьми книг поэта. И все же Шенгели, по сути, опустил один из характерных мотивов в творчестве Верлена — мотив религиозного покаяния. И это объяснимо. Всякий отбор для перевода более или менее субъективен. А Шенгели по взглядам на мир был позитивистом, и, кроме того, книгу он предполагал издавать в атеистическом государстве, что нельзя не учитывать.

Французская критика еще при жизни Верлена писала, что его творчество — это отражение постоянной борьбы плоти и духа. Причем побеждает то одно, то другое. Однако такой важный свидетель, как Анатолий Франс, писал: «Св. Франциск, несомненно, признал бы его своим духовным чадом и, пожалуй, особо отметил бы среди своих учеников. И как знать, может быть, Поль Верлен стал бы под властью великим святым, как он среди нас стал великим поэтом?»

Вот я и рискну предположить, что со временем найдутся переводчики, которые откроют нам «молитвы» Верлена. Тогда он предстанет перед читателями в полном объеме.

В Люксембургском саду в Париже есть аллея, которая украшена памятниками выдающимся поэтам Франции. Скульптор Родо Недерхаузерн выполнил памятник Верлену в мраморе: лысая голова поэта возвышается над тремя фигурами — мальчика, юной женщины и женщины-матери. Они символизируют три воплощения души Верлена: детское, чувственное и религиозное.

М. ШАПОВАЛОВ

Парад уродов

●
Михаил Ямпольский. ДЕМОН И ЛАБИРИНТ. М., «Новое литературное обозрение», 1996.

●
 Вообще говоря, рецензия на книгу помещена в ее конце, в «Заключении», самим автором. Там он пишет: «Тело движется в лабиринте, в пространстве, расчерченном маршрутами. ...Тело исчезает

в лабиринте и оставляет вместо себя двойника, демона. ...Иногда этим двойником является сам повествователь, его alter ego, ведущее рассказ. Но чаще всего этим невидимым демоном является сам читатель...» Я бы хотел дать собственную рецензию, с позиции читателя, которого по лабиринту этой книги ведет ее демон-автор, но так как лабиринт все-таки музейный, библиотечный, в каком-то смысле публичный, а автор — вожатый, гид, экскурсовод, то и читатель рассматривает картину с безопасного расстояния туриста, не вовлеченного в насильственную и неотменимую игру сил, присущих магическому месту, и потому не становится демоном.

В книге восемь глав, и рассказывают они о том, как:

1-я — Гоголь смешит, потому что сам не смеется, а подобно собственному памятнику во дворе на московском бульваре сидит, тяжело нахохлясь;

2-я — Рильке пускает своего героя по следу эпилептика, отчего теряет себя и вместе с ним и вместо него переживает опустошающий припадок;

3-я — Гюго пускает Жана Вальжана по лабиринту парижской канализации, сносящей в царство мертвых, или, если угодно, в стоки истории, реальный Париж;

4-я — Чехов, уютно поеживающийся от озноба пережитой смерти, примеряет на себя последовательно уточняющую телесность с тем, чтобы наконец превратиться в собственный, растиражированный интеллигенцией дагерротип;

5-я — французская актриса, дублирующая Грету Гарбо, превращает свое лицо в придаток голоса, а ее — в лошадиное, притом что всякий рот и его артикуляция (принципиально несовместимые из-за его инстинкта поедать произносимые слова и ее предназначения извергать в виде слов то, что поглощено телом) превращаются в *Арто*, одержимого почти видимыми демонами;

6-я — Растрелли лепит голову Петра Великого, отчего сам становится материалом ваяния, скульптурой и маской, не то своей собственной, не то царской;

7-я — лицо киноактера Мозжухина, оставаясь неизменным, наполняется содержанием того, что попадает в поле его «зрения»;

8-я — балерина Лои Фуллер, танцующая, лишается тела, за счет чего обретает пространство.

В этих главах говорится и множество других вещей, и более значительных, чем перечисленные, и некоторые из глав называются, например, важно «анаморфо-

за» или «мимесис», но обаяние книги — в том обаянии, которое имеют для автора именно вещи перечисленные или подобные им. Это книга, по которой гуляет, как Нос по Невскому проспекту, толпа из мистеров Глаз, мсье Ртов, фрау Голосов, синьорин Ушей — ищущих свои Тела и на время поисков, на то время, пока они разделены, блуждающих близ Них, как сгустки-разрежения физического Пространства. Обретаемые и немедленно теряемые Тела то сращиваются, как Крысиный Король, то распадаются до клеточного, до молекулярного состояния.

В этой толпе все друг другу чужие, вплоть до того, что тело чужо самому себе, не говоря уже о том, как чужо ему рот, голос, глаз, лицо. Телу принадлежат, телу остаются — а можно сказать и: от тела остаются только кости, костяк, зубы, когти. Глаз действует как палец, глаз пальцем формует скульптуру того, что он видит. В пределе — это глаз Циклопа, единственный и потому сводящий пространство к поверхности, причем одноглазо, то есть одновременно отражая видимое и поглощая его и, стало быть, поляризуя ее; поверхность сводящий к линии — прочерченной с разным нажимом; линию к точке — постоянно мерцающей. Губы... губы действуют, как все, что хотите: глаз, палец, мембрана голоса, занавеска зубов, декорация кости, укуса, атаки, ужаса. Рука бьется в конвульсиях, рождая текст знаков, из которых некоторые прочтываются как связанная речь, но вовсе не обязательно, что они самые выразительные. Все говорят чужими голосами, а заговорив собственным, меняют вид.

Все друг другу чужие, и именно и только эта всецелая и безызынная чуждость всех объединяет, всем дает знание того и веру в то, что они друг другу свои, единой семьи, общего рода, именно и только ею они это доказывают. Это род, которому жизнь, по самому понятию этого слова, причиняет каждую минуту новую боль, от нее выплывают глаза, раздираются рты, скрючиваются конечности, цепенеют мышцы, сворачивается в трубку язык, поэтому если все это проделать отдельно от боли, изобразительно, то зритель в результате ощутит в себе боль. Это — наш род, людей, и оттого, что наши тела могут так себя вести, мы выживаем. И при этом все притворяются не собой, а другим, то есть друг другом. Никто в точности не знает, где кончается он и начинается не он, и потому инстинкт самосохранения от каждого распространяется на всех. Так человечество спасает себя, то как крыси-

ный король, то на уровне протоплазмы и молекул.

Тело — плоть, но также и след от самого себя, и зияние после того, как след стерся. Пространство проявляется и регулируется взаимодействием пустоты с вытесняющим ее телом. Тело ведет себя и как часть пространства, и как его сконцентрированную, сконцентрированностью изгибающую его. Как поверхность ступни отпечатывается на поверхности песка, трехмерное тело отпечатывается в трехмерном пространстве. Заборы, стены, колонны зданий, равно как и огороженные ими пустые площади, отпечатывают пространство в виде города. Река уже не может течь сквозь него с прежним произволом. «В гранит оделась Нева, мосты повисли над водами, темно-зелеными садами ее покрылись острова». Это портрет городской сумасшедшей, напавшей на себя задубеневший малахай, обвесившей бусами, с кустящимися вокруг родинки волосами. «И всплыл Петрополь, как тритон», как чудовище, как химера. Город отпечатывается в реке, река в городе — и так становятся матрицей, по которой формуется пространство. Отныне это иероглиф культуры, буква, отсчитанная на белизне листа: А, Аз, Альфа, Алеф — пересечение нескольких простейших линий, за которыми можно увидеть зарождение организации и ее конечный результат.

Когда тело — человеческое, оно еще и организм, другими словами, организация, доведенная до бесконечно мыслимого предела. Пространство, формуемое им, не может ей не соответствовать. Тело — живое, активной своей ипостасью глядящее и говорящее, пассивной — видящее и слушающее. Пространство в нем оживает и им наблюдает самое себя. Его воздух — это материал дыхания и говорения, глотания и облегчения, всего нагляднее потреблявшийся Мандельштамом, который его ел и им произносил стихи. Внешнее пространство поглощается, внутреннее выворачивается наружу. О том, как это происходит и почему не может не происходить, о том, что из этого происходит: передразнивания, повторение, кривляние; монстры, химеры, одержимые, истерички, уроды — эта книга.

Книга — лабиринт, автор — демон, и, отделяясь от тебя, он проделывает за тебя всю работу, а тебя, освободив от тягот труда, оставляет получать удовольствие от наблюдения за ее процессом и результатами. Когда все-таки устаешь, тебя уже ждет попавшая в текст цитата — как

пронзительное нежное музыкальное ин-термеццо в роскошном, но слишком на-пряженном, чтобы постоянно наслаж-даться, философствовании, которое не ведет к идее, тем более к системе идей, тем более к идеологии, которое философ с тобой и ты с философом весело разде-ляешь. Это — книга, творчески вдохнов-ляющая, побуждающая к творчеству, и в конце ее, в разделе библиографии, ты полу-чаешь в подарок несколько прекрас-ных полок с книгами, библиотеку, кото-рой хватит — с неизбежными изводами из нее — на всю жизнь.

Поскольку жанр рецензии предпола-гает критический абзац, замечу — и не за-метить этого невозможно, — что фило-софствует автор на не вполне русском языке: «деформации в лице возникают в результате контакта с материализован-ной формой тактильного зрения» — рус-ское слово «лицо» высовывается из не-русских, как лицо из толпы не узнавае-мых в лицо иностранцев, иначе говоря, из стаи безликих, воспринимаемых слепыми, «слепешарыми», как выражались в шко-ле, монстров. Высовывается — и мы узна-ём мысль. Мы ее не узнаём, когда без предупреждения и без объяснения стая набрасывается на нас из засады: «Отсут-ствие или квазиотделение проявляются внутри произведения не потому, что одежды отделяются, а потому, что они отделяются с трудом; в *parerga* их превра-щает не просто их положение внешнего привеска, они связаны с отсутствием вну-три *ergon*'а структурной связью». Впро-

чем, философствовать только и можно на иностранном языке — если только ты не эллин, иностранец по преимуществу. По-этому главные слова в книге — «некий» и «как бы». Ибо если попытаться написать эту книгу на русском, тем самым ввести в нее критерии этические в ущерб некото-рым эстетическим, ее название, возмож-но, изменилось бы на «Черт и след», а это, согласитесь, не одно и то же: демон — это *некий* черт, а лабиринт — это *как бы* след, не так ли?

Из чувства благодарности автор рецен-зии решил посвятить автору книги стихи: они вызваны к жизни исключительно по-требностью и личным опытом автора ре-цензии, однако, записанные, понятны в первую очередь народу этой книги.

Надеваю на сердце, на грозди желез
свод хребта, из ключиц и из ребер каркас:
миг — и стебли притерлись, и сердце вжилось
в ствол корсета, хотя был прикинут на глаз.

Надеваю рубаху, лелею тепло
коченеющей кожи, нагого плеча:
миг — и тело к льняным рукавам приросло,
и пора уже прятать их в крылья плаща.

И тогда, под одеждой нахохлясь, как дрозд,
остается напяливать сверху избу
вместе с ветром над крышей, бросаемым в дрожь
перед тем, как он сумраку сдастся и сну.

Вот теперь и скажи-ка себе самому,
что такое душа, если все это дом
и желанье его — только кутаться в тьму
всем узором спасенным нутра, всем нутром.

Анатолий НАЙМАН

Вячеслав КУРИЦЫН

Медленно, иногда внимательно

Мне часто приходилось писать о пользе литературных премий. Благодаря премиям с их «короткими» и «длинными» списками, а теперь — благодаря истории «Гандлевский — Антибукер» — еще и со скандалами создается хотя бы иллюзия интереса к отечественной словесности: предполагается, что произведения, выдвинутые на премию, получившие премию, оказываются ближе к центру читательского внимания. Они хотя бы упоминаются в перечислениях, о них хотя бы по несколько слов пишут обозреватели. Евгений Попов говорит, что пошел в Букеровское жюри прежде всего из возможности прочесть три десятка современных романов: трудно специально вызвать в себе такой прилив любопытства к русской литературе. Я в прошлом году состоял в жюри Антибукера по номинации «Братья Карамазовы» (премия за прозу) и тоже узнал для себя много нового и интересного. В частности, познакомился с романом Константина Елевтерова «Выныривающий».

Это большая пятисотстраничная книга, изданная «Террой», написанная человеком 1965 года рождения (это и мой год рождения), о котором в скромной аннотации сообщено лишь, что он живет в южном российском городе, работал в разных газетах, сторожем в ателье, «убеждений не имеет».

Эта книга посвящена повседневному, ежесекундному течению жизни, прерываемому — уже в пространстве текста — плавными ассоциативными провалами в память, в тень, в несобственно прямую речь, в затуманенные (но без пафоса, без напряжения) зоны сознания. Отзвуки «Улисса», «Утраченного времени», легкие щепотки «Других берегов». Замедленное и подробное повествование о мелких предметах, о застывающих на негативе сетчатки жестах, о подробностях чувств и ощущений.

«Ты подумал, что полезла за сигаретами, но Алиса вытянула из сумки пузырек и вату, открыла, ойкнув от натуги, и хлопнула пробкой, и запахло ацетоном, и только теперь вспомнил, что она не курит, болван. Стерла маникюр на каждом пальчике аккуратно и с шорохом, опять взяла в сумочке квадратный лак с золотым ободком, и ты узнал, пока она откручивала крышку, смотря на тебя, что это самый модный цвет, но можно купить легко, потому что мода еще не дошла, а вот через год посмотришь, что это начнут продавать по три цены в Москве, но я уже буду красить другим, посмотри, и намазала в три приема каждый ноготь алым и жирным лаком, покачивая ногой, и глаза ее зеленели и сужались. Скрепки на редакторском столе пахли, если их растереть в ладонях, как фолкнеровская Кэджи. Ты вдруг вспомнил, что давно сидел на коленях у матери и любил обдирать лак с ее ногтей...» Сцена с Алисой затянется на шесть неторопливых страниц. Всякое телесное и душевное ощущение автор, прежде чем сложить в ящичек текста, бережно повертит в пальцах и осмотрит со всех сторон. Странно читать книгу, написанную человеком, которому будто бы совсем некуда торопиться.

«Ты еще не успел свернуть и покинуть открытую часть двора, и резиновый мяч прикасается к пятке. Черные туфли сто лет как дырявые, и выходит в них можно только во двор, но еще плотная и крепкая их пятка, и мяч подкатывается так медленно, что ты не осязашь его, а как бы предчувствуешь. Это, конечно, тот самый мяч. Из резиновых, кожаных, пупырчатых, матерчатых, пятнистых, полосатых, маленьких, больших, хоккейных, футбольных, жестких, мягких, украденных, лопнувших».

Обстоятельства наши сложились так, что всю перестроечную и постсоветскую эпоху была популярна литература, так сказать, экстенсивная. Социально активная,

расширяющая пространство правды и гласности условно «огоньковская» словесность — от статей о пламенных революционерах в 1986-м до «Генерала и его армии» в 1995-м (критик Басинский порадовал меня следующим: вот, говорит, не было в русской литературе романа о генерале, а теперь есть). Литература духовных глубин, уходящая в эти глубины с головой и решимостью, как шахтеры в забой: это и руссколюбивая словесность «Комсомольского проспекта», и поэзия, допустим, Жданова, и проза Солженицына или совсем еще юных Алексея Варламова и Олега Павлова. Метафизическая экспансия Бродского. Стилистическая экстенсивность постмодернизма, расширяющего контекст, скрещивающего литературу с музыкой, изобразительным искусством, журнализмом, политикой. В последних грехах я замешан и сам и даже имею этой своей замешанности идеологическое обоснование: литературе, мне кажется, интересно быть написанной «здесь и теперь».

Знакомство с романом Елвтерова оказалось для меня хорошим уроком — вот приятная, интересная, внушающая всемерное доверие книга, написанная вне времени. Это нужно пояснить: написанная без большой заботы о контексте ее восприятия, в том числе и о том, где и как ее будут печатать и кто и как ее будет читать. В общем, «Терра» вполне могла и не клонуть на такое неочевидное с точки зрения общественного резонанса произведение. Но Елвтеров очень внимателен к внутреннему времени описываемого объекта: как он лежит на столе, как отбрасывает тень. В частной тихой жизни происходит огромное количество событий: достаточно замедлить, зависнуть над ними, довериться течению текста памяти.

Замедленность, тихое путешествие по своим физическим и лингвистическим впечатлениям часто встречаются в сегодняшней прозе. В одном из прошлогодних выпусков «Записок литературного человека» я рассказывал о Светлане Богдановой с ее тонкими описаниями «на краю вещей». В «Новой юности» и «Волге» печатались сочинения Станислава Гридасова, полные тихих стилистических разборок с запахами, уличными звуками и пространствами. «Толстым тюленем, грязным брюхом в кровавых царапинах от цветных бутылочных осколков соскользнуть в воду, в родную, ткнуться глупой доверчивой мордой, комедия завершена, мне — на север, я тех краев, у нас вместо сердец — льдинки, ты же — Атлантичка, ты южных морей, ты затонула там, где мне тебя не поднять, ну и ладно, все кончено». Книжка Галины Ермошиной «Время Город» (Самара, 1994) познакомила меня со «следом ветки» («ты останешься здесь в этом тяжелом августе, где зеленая чешуя брызжет с весла и опускается на дно вместе с кувшином черного меда ос, чье жужжание медленно густеет в чужом затянущемся вздохе серебряного воздуха») и с красными словарями с остатками слов, развешанными на крючках в ванной.

Юлия Кокочко, постоянный автор «Урала» и «Несовременных записок», вяжет-плетет плотную пеструю литературу, полную узоров-вещей, узоров-вздохов и узоров-узоров: литературу, тоже посвященную искусству плетения. «А едва начнут плести меры сумерки — поддеть рогами юпитеров, спрыснуть спрутами люстр — золотой тушью, опоить всеми гроздьями фонарей и вычесать барханным гребнем свечей... что поможет нам как-то прободствовать до новых красных, пунктуально себя накатывающих на все более ранних фронтах. И — вид на август из трамвая, накануне сентябрьского кольца: досмотрщик ветер, отверженные отвороты, вдруг вспыхнувшие шпионской звездой...»

На фоне нынешнего незавидного статуса лирической поэзии эти «стихотворения в прозе» могут рассматриваться и как сохранение традиций трепетной русской лирики — от Пушкина до Пастернака и далее.

Что же касается актуальности и соответствия ветрам эпохи, то испорченный публицистикой ведущий рубрики и эту лирическую, утонченную литературу склонен рассматривать в широком социальном контексте. Наблюдая за современной русской молодежью, за теми, кому нынче от пятнадцати до двадцати пяти или чуть больше, я часто и иногда увесисто ей завидую: отсутствию напряжения в жестах и идеях (расслабленности), явной дистанцированности от «новорусской» горячки (гиперинтерес к деньгам, наблюдаемый в последние годы у части российского общества, сменяется вполне ровным отношением к материальному благосостоянию: эти люди не хотят быть богатыми, а хотят быть просто средним классом, которого, по легенде, у нас нет и который именно из этих людей и формируется), отсутствию больших творческих претензий, авторской истерии (они понимают, что потреблять культуру не менее «почетно», чем ее производить) и — самое главное — открытому интересу и любви к миру, полному всяческих интересных штучек, неожиданных ощущений и способов описания себя.

Вот эта означенная *расслабленность* и кажется мне принципиально важным достижением нашей новой государственности: невыплаты пенсий, упадок производ-

ства, смертность, нищета окраин — все это имеет место, но одновременно оказывается, что появилось место и для тихой, частной культуры. Той, что, собственно, и означает социальную стабильность. Так что президент объявил 1997-й годом национального согласия и примирения, имея на это некие основания, как минимум надежды.

О домашней-интимной культуре, об островках ментальной стабильности в бурном океане монетаристской действительности мы неизбежно продолжим разговор в следующих выпусках рубрики. А пока я представляю вашему вниманию небольшой текст самарской учительницы Галины Ермошиной, который оказался у меня благодаря любезному посредничеству Ильи Кукулина. Кстати, что это текст в тихом, правильном, медленном жанре письма.

Галина ЕРМОШИНА

LETTER

Письмо — такое событие, что разговор происходит между. Две зимы, расходясь, расходуются от центра, края соприкасаются, внутри — воздух. Это как способ подумать о другом, даже не оклик, а взгляд. Рассказ молчания о пути к нему, где можно обойтись без условий.

Клетчатый листок. Ну что ему стоит побывать в воде, откуда иначе зеленоватый след, складывающийся в буквы. Стола не хватает, когда растечется вечером.

Письмо состоит из промежутков между словами — тот воздух, из которого и берется. Безднадежные и легкие прогулки, шаги по городу, висящие в воздухе дворы и перила, уходящие в воду, а дальше — звонок в твою пустую квартиру, предметы удивленно замолкают. Такое жаркое лето.

Есть любимые города, где было хорошо просто так, потому что ветер или желтые цветы акации, где зимние воротники окружают водокачку. Зависть ли это или хрупкость. Но легкий мост с другого берега — вся та незавершенность и открытость, что уместилась в скобках. Так совмещается время — перелет бабочки, взмах ресницы, и не выдумать тот почтовый ящик, где сквозь отверстие высвечивается солнечный лучик. Когда не хватает другого мира (знания о внешнем и несущественном) — легче, идя на поводу у воображения, досоздать нехватящее только за счет самого себя. Столкновение с реальностью вымывает те воздушные, легкие зерна, что конденсируют несомость. Протяженность речи, связанная не со временем, расходимым на написание и про-хождение, а при-хода — письма, не может быть остановлена потом уже никакими силами. Голос начинает звучать, меняя интонации, и больше зависит от погоды за окном, чем от знания.

А лестницы есть везде, где их хочется увидеть. Они ведут к дверям в виде капли, собирающейся упасть, но раздумавшей и висящей вместе с лестницей. Так бывает всегда, когда слова собираются вместе, не тревожась о смысле и знаках препинания, и выбирают свою дорогу, поэтому так странно сменяется цвет, будто опять не хватило чернил.

Так и слова приходят почти ниоткуда, и хочется думать, что уходят туда же, чтобы потом незаметно появиться в письме из другого города.

Какие-то тайные родники появляются из прочитанных книг, чтобы потом неявно пробиться в разговоре коротким словом, вспышкой, отражением глазного дна. Такое родство приходит и из тех вещей, что становятся общими, как и слова, живущие в них. Глаза обращаются внутрь, изменяя мир, — не помешать увидеть. Так и узнавание не всегда значит знание и понимание, а лишь воспоминание, припоминание, выход из забытья.

Может быть, не как извинение за опоздание — да и можно ли здесь опоздать, если время ничего не значит, исчезает и начинается только с приходом письма, — а как продолжение диалога о невозможности обиды или жалости — все происходит только в глазах, до-времени, в пространстве, умещаемом конвертом. А то, что сверху, — как дар, коричневая отметка на наводнении, затопившем по горло. Может быть, то, что называется осенью, спряталось в стволы и холодный ветер просто не может пробраться мимо, чтобы не залезть в кольца березовых веток и не проверить их на отсутствие родственных воздушных жителей. Так и ходит от дерева к дереву,

забыв о снежных облаках и понижении температуры. И все-таки болезнь — это благо, хотя бы в том, что не заставляет выбирать, а предлагает следовать за ней, сама определяя и путь, и поворот назад. Усталость — торопливый наркоз, оправдывает сонные мысли и прерывистость. Так проявляется любимое занятие — следовать за карандашом, — куда уж приведет. Это как ключ, данный в руки, которым грех не воспользоваться.

Рука на лбу — лишь повод для узнавания сна. Зима бережет лучше; и вода укажет путь, стекая. А правил на самом деле нет, кто их может придумать, если дороги еще не было, пока не появилось письмо. Любой шаг будет вне правил, куда бы он не был направлен. Это след, оставленный на воде. Только так и происходит небывшее. Ну как же еще можно сказать слово «благодарность», не называя его? Сны совпадают со временем, когда легкая синяя мышь скребется у виска, зарываясь в травяную подушку.

Чтение с любого места, начало пути с любого шага, слово — с любой буквы, оказавшейся под рукой. Ничего не может помешать, время просто исчезает и где-то копится для того самого долгого и неспешного разговора. Таким может быть только доверие, обходясь без. Даже не ответ, а момент взгляда, грея пальцы у настольной лампы.

Настороженность вещей увлекает за стеклянные перегородки, касание куда-то прячется, и уход дня не означает прощание, а лишь начало нового времени суток, предметы позволяют сумеркам растворить себя. Им не больно. Оболочка — лишь условность, условие этого мира, а там, где живет небывшее, все происходит наперекор логике.

Ничто не может отменить другого. Тень ничего не закрывает, и ночь только позволяет, не обещая и не придумывая отсрочек для более долгого времени.

Никто не тянется взглядом, и карандашу хорошо и просторно заглядывать во все уголки листа. Возраст уменьшается, с ним становится легко и весело, он притворяется непрочитанной книгой и летучим призраком города, который можно вытащить из любого сна. Шершавые рукава поделятся известкой и водой. Летом расстояния между минутами становятся длиннее, а время уменьшается и становится несущественным.

Посещение городов — как вечерняя прогулка. Остановка взгляда может быть произвольной, и безразлично, с чего начинать ответ — с ответа или со слова. Строчки легко перепрыгивают свой порядок, и часы заблудились в пустой комнате со свернутым ковром. Страницы потеряли номера, и читать их стало просто и легко, придумывая свое продолжение. Здесь не объяснение — это такой свет, полоска из-за двери. Скажешь — вода — придет, обхватит у висков, не отпустит — да и сам не захочешь уйти — сквозь зеленую глубину: тень придавлена подводным горячим камнем.

Все и будет ответом, вопросы тоже, забегая ненадолго, оставляют речной ключик. Тень воды не пугает рыб, плывущих на уровне света вчерашнего утра. Потом придумается и придет другое слово — земля или камень, или воздух, еще хорошо вспоминать горячую глину, ведь все равно остановишься на половине. Это маленький знак: когда заканчивается письмо — перегорает лампочка. Пытается ухватиться за середину и не помогает остановиться, а расшатывает знаки препинания. Только обрез листа запрещает переходить границу. Так забывают себя воздушные буквы, в летнем воздухе их набралось на целый алфавит. Письмо распространяется на предметы и вещи, зеркала, окна и ветер удваивают и уносят их к другим городам и рекам, минув поезда, самолеты, самокаты и роликовые коньки.



Витёк и Алик

Когда бы мы знали, из какого мусора растут статьи, не ведая стыда, мы бы их не читали. Но друзья присылают журнал, потому что там «про Ахматову», и я, как они справедливо считают, должен прочесть по долгу, так сказать, биографии. На этот раз — статьи Виктора Топорова («Постскриптум», 1996, № 4) и Александра Жолковского («Звезда», 1996, № 9).

Виктор и Александр зарекомендовали себя злыми мальчиками. Принимаясь за их сочинения, читатель всякий раз ждет чего-нибудь неприязненного, и оно не замедляет появиться. Это так привычно и кажется уже таким естественным, что то, как неприязненно они пишут, соотносится в нашем сознании исключительно с заявленным ими раз навсегда реноме, а никак не с обсуждаемым предметом. Особенную неприязнь в них вызывают предметы возвышенные, потому что Виктор и Александр — прежде всего ниспровергатели авторитетов. На бумаге, однако, это выглядит несколько иначе, а именно как попытки излить ничем не утоляемую злость (чтобы не сказать — злобу), уже не «мальчиковую», людей умеренно одаренных на людей очень одаренных, точнее — на то, что они таковыми признаны. Я не говорю, что так и есть, но так это выглядит. Комбинация умеренной одаренности с неумеренной умственностью, развитой через множество прочитанных книг, приводит к тому, что жало почти автоматически направляется против всего такого, что мешает им открыть миру глаза на их в мире подлинное место, не заслоненное чьими-то репутациями, сложившимися удачливо, но, по их мнению, незаслуженно. Иначе говоря, против *всего*.

Виктор, тот из сиюминутного, хотя и малоаппетитного блефа другого «злого мальчика» по имени Надежда Яковлевна Мандельштам вывел торжествующий тезис об Ахматовой — старухе процентщице. Н. Я. обожала, когда играла в литературный преферанс по маленькой, блефовать. Например, объявить, что Ахматова наживалась на литературных переводах, ссужая ими нуждающихся друзей. Дескать, стишки стишками, а подстрочники в издательстве возьмет, другому в работу отдаст, своим именем подпишет, и деньги — пополам. Из любви к поэзии мужа Н. Я. и из сочувствия к ее судьбе ограничусь замечанием, что блеф ни разу не прошел и, напротив, только за последние три года трижды публично был опровергнут (последний раз в «Книжном обозрении» № 41, 1995). Но пафос статьи Виктора публицистический, а публицистика всегда немножко блеф, хотя бы и уже разоблаченный.

Пафос, он же прикид, статьи Александра — структурально-деконструктивистски-семиотический, то есть более изысканный. Дескать, дискурс литературоцентристский демифологизации прагматической канонизируется биографизмом стратегически, о'кей? Зато научная методика, как бы сказать попонятнее, жуликовата. Положим, Найман, на которого Александр ссылается, написал — в контексте о записях, которые делали мемуаристы, — что «Ахматова была и такая, и другая, и, как любила она говорить, "еще и третья"», а дальше: «К тому же и Ахматова подозревала, что за ней записывают, и иногда она говорила на запись, превращаясь из Анны Андреевны в эрепернниус-пирамидальциус». Александр оперирует этим достаточно ясным замечанием так: «Непрерывно позировала для скрытой камеры, «говорила на запись» (Найман) и вообще с искусством лепила свой имидж». Это я демонстрирую чистый прием, оставляя в стороне бесконечное кромсание цитат пилочкой отточий, меняющих смысл цитируемого на какой угодно вплоть до противоположного. И все исключительно ради того, чтобы убедить, что Ахматова — это Сталин в юбке. (А «Шолохов... — мощный репродуктор, ... судьбоносно ... озаренный ... звездным часом ... нобелевских ... огней рампы»). Не нервничайте, я просто демонстрирую стиль Александра: выписываю, что и как хоч, с первой страницы его статьи.)

С полгода назад показывали по телевизору встречу политиков Жириновского Владимира и Анпилова Виктора. Оба, на студенческом жаргоне сорокалетней давности, «полный мар-разм», но Жириновский при этом существо все-таки одаренное.

Пока Анпилов тархтел свое пролетарское, он, скрестив на груди руки, поглядывал на него высокомерно, как дуче на коммуниста, и время от времени коротко назидал. Ведущий программы в конце предложил им, если они согласны, обменяться рукопожатием. Анпилов стал что-то невнятное трендить, что Жириновский перебил неожиданно радостным: «Да я его обниму! Витёк, дай пять!» Слово, которое в продолжение всей передачи висело в воздухе, определило, прозвучав, смысл происходившего: это был «Витёк», и никто другой.

Короче. Оставляя Жолковского и Топорова соображать, кто в какой словарь уже попал, а кто еще нет, а также, каким способом кого из попавших обмарать, чтобы это выглядело как умное, а не как завистливое, оставляя лиц, заинтересованных в публикации этого товара, его печатать, скажу так: сейчас ваше время, ваши песни. Но из времени другого, того, когда я был в возрасте юном, а вы — кто в таком же, а кто в отроческом и Ахматова была жива, равно как и из того, когда меня не будет и вас тоже: Витёк! Алик! Кончайте!

Анатолий НАЙМАН



ЛАВКА БУКИНИСТА

В силу разных причин многие книги, изданные несколько лет назад, остались без отклика рецензентов и критиков. Этим книгам и посвящен новый раздел нашей рубрики. Он, на наш взгляд, поможет читателю лучше ориентироваться на букинистических прилавках и полках библиотек.

П. П. МУРАТОВ. ОБРАЗЫ ИТАЛИИ. Полное издание в трех томах. М., «Галарт», 1993—1994. 10 000 экз.

«Являясь под разными обличиями, обнаруживая знакомство с самыми различными предметами, соответственно меняя приемы исследования и письма, будучи писателем истинно многосторонним, Муратов, однако же, остается самим собой. В научном труде умеет он сохранить вкус и темперамент художника, в беллетристике он смеет быть умен и образован... в публицистике независим и смел, ибо мыслит самостоятельно. Примечательно: всегда и везде, от работ по расчистке икон до статьи о кинематографе, Муратов прежде всего предстает человеком современности, которой влияния, тревоги и надобности ему никогда не чужды» — так говорил об авторе этого классического труда, где слиты воедино своеобразная художественная журналистика, историография, искусствоведческий трактат и высокая проза, его друг В. Ходасевич. К сожалению, читатели, разбалабанные возвращением в литературу громких имен, оказались не подготовленными к встрече с писателем малоизвестным, однако своеобразным и значительным. Наверное, следовало бы сначала переиздать чрезвычайно любопытные рассказы и переводы Муратова, а уже затем книгу, где причудливо отразилась Италия, какой ее увидел влюбленный в нее русский литератор (не зря же посвящена она Б. К. Зайцеву «в воспоминанье о счастливых днях») и оставлена на третьем томе. Продолжения не последовало, ведь счастье не длится до бесконечности).

Патрис ПАВИ. СЛОВАРЬ ТЕАТРА. М., «Прогресс», 1991. 50 000 экз.

Словарь использует достижения гуманитарных наук, в частности лингвистики и семиотики. Это подтверждает уже «Систематический указатель», состоящий из разделов «Драматургия», «Текст и дискурс», «Актер и персонаж», «Жанры и формы», «Режиссура», «Структурные принципы и вопросы эстетики», «Восприятие спектакля», «Семиология». Необычайно обширная библиография свидетельствует о том, что автор не считает свою точку зрения ни единственной, ни окончательной: объект находится в вечном развитии (пытаться отменить «Поэтику» Аристотеля так же смешно, как думать, что она неопровержима).

ЦАРИЦА-СУББОТА И ЕЕ ПОДДАННЫЕ. [Б.м.], 1990. 30 000 экз.

Прочитавшему собранные вместе и свободно пересказанные легенды, нравоучительные истории, сказки и фрагменты из святых книг будет легче понять еврейскую культуру во всей ее широте — от Экклезиаста с его утвердительной интонацией до одесского анекдота с его интонацией постоянного вопроса. Впрочем, где кончается притча и начинается анекдот? Так, два жителя Хелма (что-то вроде пошехонцев) выясняли, как растет человек. Один утверждал, что снизу вверх, и приводил пример — год назад купил сыну штаны, тогда они за ним чуть не волочились, а теперь едва достают до лодыжек. Другой резонно возражал: люди растут сверху вниз. Взять хотя бы солдат в строю — головы у них на разном уровне, а ноги на одном.

Хулио КОРТАСАР. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ. СПб., «Северо-Запад», 1992—1994. [1—3 тт.— 50 000 экз., 4 т.— 25 000 экз.]

Четырехтомник подводит итоги долголетней и трудной судьбе произведений Кортасара на русском языке. Все романы известны читателям, равно как и многие рассказы (частью представленные в новых переводах). Стихотворения в свое время выходили отдельной книгой. Издательство и составитель расписались в собственном бессилии: понимая слабость вступительной статьи, они переиздали давние статьи И. А. Тертерян, чьими стараниями и пришла в Россию латиноамериканская проза.

ПЕРСОНАЖИ СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ (рисованный словарь). Киев, фирма «Корсар», 1993. 50 000 экз.

Книга предвосхитила множество аналогичных словарей, вышедших чуть или значительно позже. К сожалению, ни составители, ни иллюстратор не воспользовались своим преимуществом: картинки убоги, описания мифологических персонажей коротки, сумбурны и часто основываются на заимствованных из самых разных источников цитатах (от переложения русской сказки до статьи В. Н. Топорова), помещенных на той же странице. А ведь как замечательно звучат одни лишь названия — коргоруши, планетники или клетник (помощник домового, живущий в кладовке). Впрочем, хотя в последующие годы подготовленные специалистами и снабженные иллюстрациями словари изданы, рисованный словарь, представляющий особый интерес, так и не появился.

Томас ДЕ КВИНСИ. ИСПОВЕДЬ АНГЛИЧАНИНА, УПОТРЕБЛЯЮЩЕГО ОПИУМ. М., «Ad Marginem», 1994. 5000 экз.

Стараниями переводчиков книга, изящная и тонкая в оригинале, превратилась в скучную и косноязычную. Желание передать колорит эпохи сделало ее неудобочитаемой. К тому же кое-какие пассажи вызывают подозрение, достаточно ли переводчики владеют иностранным языком. Знаменитый доктор Джонсон представлен истинным бедняком, навсегда запомнившим «тот единственный раз, когда он наелся досыта». На самом же деле английский лексикограф у Де Квинси выглядит ненасытным чревоугодником, ведь он «никогда в жизни — кроме одного-единственного раза — не мог съесть столько шпалерных фруктов, чтобы ему показалось доволью». Книга снабжена якобы глубокомысленными статьями Н. Шепгулина, П. Пеперштейна и В. Кондратьева, должныими, по-видимому, придать ей «научность».

Поль ВАЛЕРИ. ЮНАЯ ПАРКА. Стихи, поэмы, проза. М., «Текст», 1994. 30 000 экз.

Надпись «Впервые на русском» лукавит, ибо большинство стихотворных переводов сделано Б. Лившицем и А. Эфросом (которому принадлежит и предисловие). Заново переведены поэма «Юная парка» (для сравнения даны фрагменты в переводе Б. Лившица) и проза. Сейчас особый интерес вызывает «Вечер с господином Тестом», герой которого обладал столь сильным и организованным умом, что мог бы представлять угрозу для человечества. Автор на десятилетия предвосхитил мотив гипнотической мощи интеллекта, обретший почти мистическое звучание в фильме Ф. Ланга о докторе Мабузе.

Юрий ДОМБРОВСКИЙ. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ. М., «Тerra», 1992—1993. 25 000 экз.

Лишь сейчас, когда есть возможность перечитать подряд том за томом, куда включены не просто романы, рассказы, статьи, очерки и стихи, но и воспоминания о Домбровском, когда романы «Обезьяна приходит за своим черепом» и «Факультет ненужных вещей» дополнены материалами, составляющими обязательную часть этих книг, когда роман «Хранитель древностей» напечатан с эпиграфом из Тацита и посвящением, а также с фрагментами, исключенными по цензурным причинам, ясно, что это был за писатель. Может быть, яснее всего его понимание мира и искусства видно не из рассуждений о христианстве, не из открытых писем и даже не из личной переписки, а из стихов, сопоставленных с биографией. Около двух лет в лагере, а потом в клинике пролежал он «без ног». Ноги отнялись. Так почему же в презрительном стихотворении, обращенном к Вертинскому, «старому шуту», вдруг появляются строки:

Соседи спят, в постели ночь,
На сердце лай собак;
Но ты способен мне помочь,
Кривляка и пошляк...
Явьсь ко мне и упокой
Безногую мечту...
И как отходную ей спой
«Магнолию в цвету»!

Не потому ли, что автор песни «Безноженька» понял, а Домбровский оценил его правоту: жалость, пусть к самому себе,— самое сильное человеческое чувство. Оно сильнее ненависти.

Б. ФИЛЕВСКИЙ

Газета № 1
по числу читателей

ТРУД



**Наш
подписной индекс:**

**32428 — ежедневный
выпуск**

34265 — «Труд-7»



Справки: (095) 299-3906.
Реклама: (095) 200-0338.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*До конца 1997 года «Октябрь»
предполагает опубликовать:*

Анатолий АНАНЬЕВ. Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России. Книга вторая.

Ролан БЫКОВ. Дочь болотного царя. Современная сказка.

Игорь ВОЛГИН. «Родиться в России...». Достоевский и современники: жизнь в документах. Книга вторая.

Даниил ГРАНИН. Повесть.

Исаак ЗИНГЕР. Рассказы.

Владимир ЗУБЧАНИНОВ. Увиденное и пережитое. Документальное повествование.

Всеволод ИВАНОВ. Дневники.

Вяч. Вс. ИВАНОВ. Воспоминания. Иосиф Бродский.

Борис Пастернак.

Юрий КАРЯКИН. Дневник русского читателя.

Бахыт КЕНЖЕЕВ. Письма к Господу Богу. Роман.

Юнна МОРИЦ. Рассказы.

Анатолий НАЙМАН. Славный конец бесславных поколений. Рассказы.

Владислав ОТРОШЕНКО. Рассказы.

Григорий ПЕТРОВ. Рассказы.

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. Сказки.

Михаил ПРИШВИН. Дневники.

Михаил РОЩИН. Рассказы. Эссе.

Уильям САРОЯН. Рассказы.

Борис ХАЗАНОВ. После нас потоп. Роман.

Алексей ЦВЕТКОВ. Просто голос. Поэма. Продолжение.

Асар ЭППЕЛЬ. Рассказы.

Следите за нашей рекламой!
